



ЮНОСТЬ

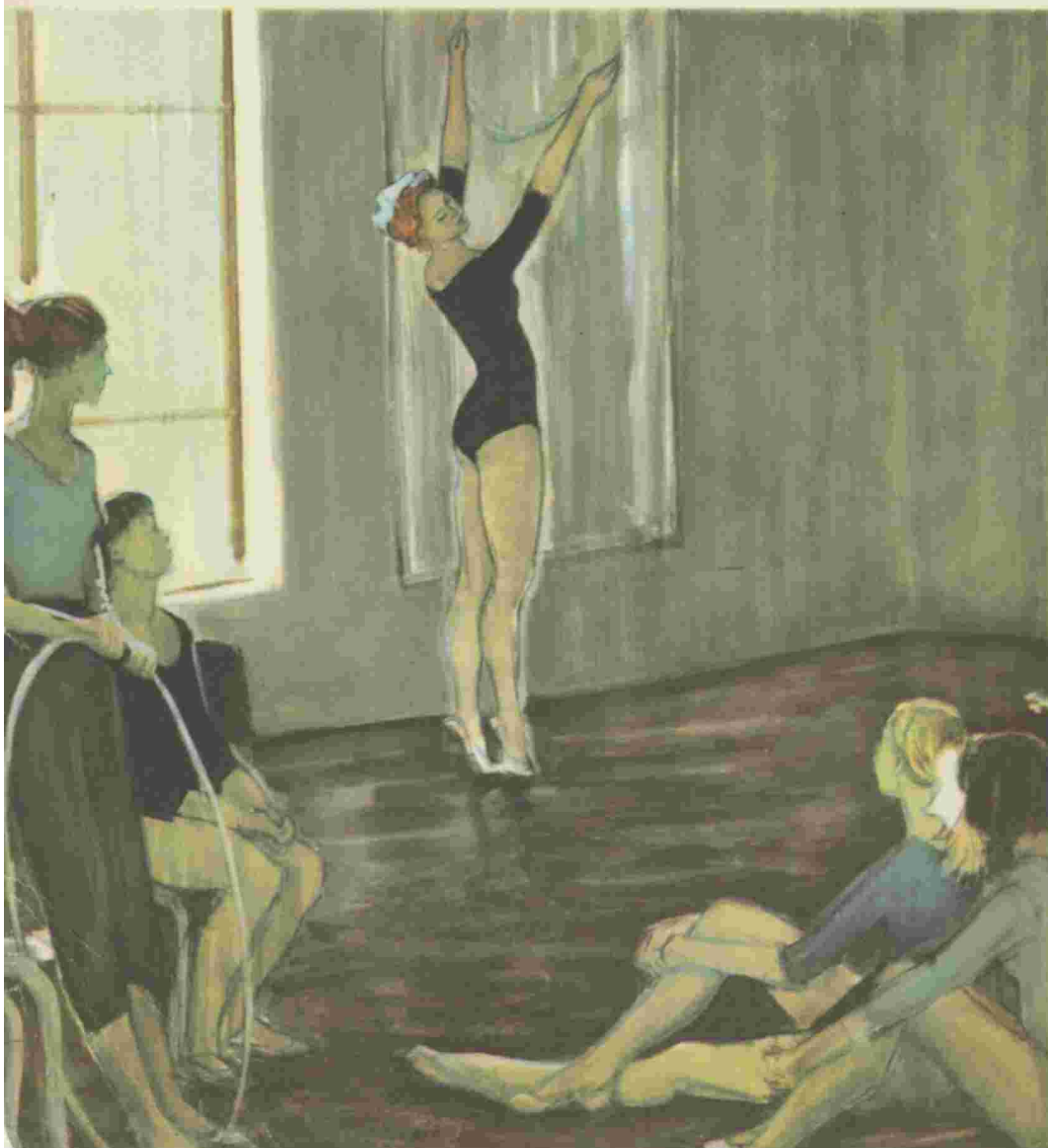
1

1966

89



↑ На беговой дорожке.



Монотипии
М. РОЙТЕРА.

В гимнастическом зале.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

*С новым годом,
дорогие друзья!*

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

Я Н В А Р Ь

1966

1

[128]

ГОД ИЗДАНИЯ
ДВЕНАДЦАТЫЙ

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей АНТОНОВ. Разорванный рубль. Повесть **3**

Леонид МАРТЫНОВ. Проза Есенина. Единая стезя. Диалектика полета. Твист в Крыму. «Есть люди...». Вдохновенье. Стихи **48**

Евгений ЕВТУШЕНКО. Римские цены. Процессия с мадонной. Жара в Риме. Фанкино. Итальянские автографы. (Из цикла стихов об Италии) **49**

Ливиу ДАМИАН. Прозрение. Продавцы книг. Зрители. «Да, мама, моря ты не видела, родная!» Стихи. Перевод с молдавского Н. Коржавина **53**

Анатолий ЖИГУЛИН. «Я сыну купил заводную машину...». «Сухой красноватый бурьян на заре...». Кордон Песчаный. «Я спал, обняв сырую землю...». Стихи **54**

Булат ОКУДЖАВА. Промоксис. Рассказ **55**

Ал. ЛЕСС. Невыдуманные рассказы: 1. Дебют. 2. Дуэль. 3. Тост. 4. Невозвращенный долг. 5. Пропавшая рукопись **77**

Николай ЧУКОВСКИЙ. В осаде. (Из воспоминаний) **80**

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

О. ИВАНОВ. Устремленные в будущее **64**

● ПУБЛИЦИСТИКА

А. М. РУМЯНЦЕВ. Предвидимое Завтра **65**

Б. ЯКОВЛЕВ. Многогранен, как жизнь... (Заметки о впервые опубликованных письмах В. И. Ленина) **71**

А. ВАСИНСКИЙ. Письмо на «гражданку» **99**

● НАУКА И ТЕХНИКА

Л. БОБРОВ. Шестое чувство? **93**

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

* С. ЛУКЬЯНОВ. Дом № 3 на Кудринской площади. * А. ПЕТРОВ. Дежурства в тот вечер не было. * Арк. АРКАНОВ. Восемь с половиной **102**

● СПОРТ

Людмила БЕЛОУСОВА и ОЛЕГ ПРОТОПОВ. «Поллуда грации» **106**

● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

В. ГОРЯЕВ. Микроскульптура Игоря Морозова **110**

● ПЫЛЕСОС

Арк. АРК. Возьмут или не возьмут (Фельетон-пародия) **111**

П. СМОЛЬНИКОВ. Моя бригантина **112**

На 1-й и 4-й страницах обложки акварель Н. ЦЕЙТЛИНА. На матне. Портреты С. Антонова (стр. 3) и Б. Окуджавы (стр. 55) — худ. В. КРАСНОВСКОГО.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 02145.

Подп. к печ. 28/XII—1965 г. Тираж 2.000.000 экз. Изд. № 39. Заказ № 3220. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Разорванный рубль

● Сергей Антонов



Рисунки П. Пинкисевича.

И где-то читала, что места наши называются полустепью.

Встанешь на горушку, глянешь на четыре стороны — весь куст видать: и Мартыниху, и Закусихино, и Новоуглянку, и Евсюковку — весь наш колхоз «Светлый путь», и луга, и уголья, и рощицы, и реку с протоками и луговинами.

Чего можно в такой полустепи достигнуть, показывает пример наших соседей — колхоза «Красный борец». У них там чуть не в каждой избе телевизор, и в часы досуга колхозники глядят оперы, слушают лекции и доклады. Раньше, бывало, и у них отдельные комсомолки норовили сбежать из колхоза, но теперь, по словам ихнего председателя Черемисова, уже который год расставаний не поют.

Правда, им повезло. Возле них там недалеко огорожена усадьба писателя Тургенева, и в парке есть стол, на котором Тургенев сочинял роман «Рудин».

Каждый день поглядеть усадьбу и стол едут экскурсии и туристы. И наши едут и из-за границы. Недавно, говорят, были два настоящих японца.

Некоторые туристы заезжают и в колхоз. Там у них, в «Красном борце», жил старичок, выдавший лично самого Тургенева. Как приедет кто поважней, — снимут старичка с полатей, посадят на лавочку, причешут и велют рассказывать, как его отец служил у Тургенева в кучерах, как замечательный писатель уважал своего кучера и учил его по-французскому...

И нам перепало от славного писателя. Недалеко, на шоссе, поставили павильон для туристов. В павильоне дают вино, консервы, печенье. И наши му-

жики бегают туда обмывать аванс, или после бани, или так просто.

Чаще других повадился в павильон фермач Бугров Федор. Станет к прилавку и пускает слух, что Тургенев, мол, вывел его родного брата в каком-то сочинении. На него накидываются кто поглупей, ублажают, угощают, не учитывая того, что Бугрову сорок лет, а писатель Тургенев скончался бог знает когда, еще при царском режиме.

По причине частых наездов гостей «Красному борцу» отпускают в кредит то шифер, то олифу-оксоль, и дома у них выглядят чисто и аккуратно.

У нас ничего такого нет. Хотя Тургенев, говорят, охотился и в наших местах, мы относимся к другому административному району.

Впрочем, обижаться нам нечего, и наш «Светлый путь» за последние годы набирает силы. В прошлом году выполнили план по мясу, поставили новый телятник. Развели кроликов. Собираемся завести водоплавающую птицу. Растет кривая удоев.

Недавно в церкви оборудовали клуб и на крыльчке поставили две белые статуи — пионеров с горнами.

Однако — чего греха таить! — много еще у нас нерешенных вопросов, и темпы развития отстают от поставленных требований. Бывает, соберем правление, бьемся, бьемся, ищем, ищем, за какое звено уцепиться, да так с чем пришли, с тем и расходимся.

Сложное дело — сельское хозяйство.

Людей наших взять — народ не хуже, чем у других, талантливый и трудолюбивый. Среди нас выросли достойные труженики, например, уважаемый маяк Зиновий Павлович, товарищ Белоус. Двоюродный брат Денисовых, из деревни Мартынихи, в войну дослужился до большого генерала, а мой родственник, правда, дальний, Игорь Тимофеевич Алтухов живет в Москве, хорошо зарабатывает, заслужил какую-то ученую медаль.

ПОВЕСТЬ

Председатель Иван Степанович нам достался удачный. Непьющий. Пришел он из армии, работает третий год бесшумно и пользуется заслуженным авторитетом не только у нас, но и у старшего поколения. А расписывается до того ловко, что зигзаг под фамилией у него отработан в виде голубя мира.

Первый из всех председателей Иван Степанович стал относиться к нашему хору с должным вниманием. При нем нам пошли нарядную форму. Председатель как-то сказал мимоходом, что от хора колхоз может извлечь больше дохода, чем от свинофермы. Это, конечно, было сказано в порядке шутки и не для всеобщего сведения. Но когда наши песни зазвенели в районе и в области, когда в Москве мы получили диплом первой степени, районное руководство стало относиться к колхозу мягче и не так песочило за медленный рост поголовья. А у Ивана Степановича установилось понимание со снабжающими организациями.

Действительно, хор у нас хороший, а производительность еще не достигла должного уровня.

Я обдумывала причину и считаю, что в какой-то мере виновата привычка, оставшаяся в нашем кусте еще с давних прославленных времен: больно уж у нас гулять любят. Как подходит престольный праздник, так бригаду не собрать. И в бога не веруют, а каждого святого обязательно надо помянуть, за каждого надо выпить. Не знаю, как у других, а наши праздничное похмелье уважают больше праздников. Попы давно отпраздновали, а наши все пьют да пляшут, и унять их нет никакой возможности.

Взять хотя бы троицу. Проходит неделя, веточки березовые давно завяли, а тракториста Митюку Чикунова на работу не дозовешься. Все «троит». Дождемся, когда опомнится, постыдим его по комсомольской линии, однако с такими праздниками, как троица или пасха, совладать трудно. Да еще особенно повальным праздником в нашем кусте является усупение.

Недавно обсуждали вопрос, как сбить эту вредную моду. Бригадир Виталий Пастухов подал хитроумную идею. Поскольку избежать веселья невозможно, он предложил в самый день усупения — 28 августа — назначить наше современное, советское торжество, например, прилично, без особой пьянки, с докладом, с премиями, с выступлением хора, отметить окончание полевых работ. Стали думать дальше. Товарищ Белоус припомнил, что в этом году исполнится тридцать лет нашему колхозу. И правда, наш колхоз организован летом 1929 года, только назывался он тогда «Смерть кулакам». Вот мы и надумали отметить день рождения родной артели и сбить тем самым церковный праздник.

Председатель Иван Степанович сперва наотрез отказался поддержать нашу инициативу. Во-первых, такого еще в районе не бывало; во-вторых, праздник неизбежно привлечет районное начальство и прессу, а этого Иван Степанович очень не любил.

Однако идея Пастухова просочилась в область. Областные организации ее одобрили, и не только одобрили, а даже решили взять подготовку в свои руки: обещали выделить средства, привезти гостей из других колхозов, широко осветить празднование в печати — словом, сделать его показательным и поучительным для всей области.

Председатель «Красного борца» Черемисов пытался перебежать нам дорогу и специально ездил в область с просьбой, чтобы празднование перенести к нему, поскольку им тоже стукнуло тридцать лет и у него выше производственные показатели.

Но из этого у него ничего не вышло.

Конечно, мы понимали, какую брали на себя ответ-

ственность. Была поставлена задача: подтянуться, выйти к августу с отличными показателями, укрепить трудовую дисциплину и начисто искоренить хулиганство. Короче, предстать перед гостями без пятнышка и добиться такого положения, чтобы колхоз «Светлый путь» действительно оправдывал свое название.

А с застрельщиком этого дела Виталием Пастуховым носились как с писаной торбой: вызывали в область, хвалили, поместили портрет в газете.

И, словно на смех, первым нарушителем порядка в колхозе стал сам Виталий Пастухов, бригадир комсомольской второй бригады, культурный парень со средним образованием, «Раскладушка», как его прозвали девчата.

2

Сегодня вечером у нас состоится выездной суд, и председатель Иван Степанович вызвал меня заранее, чтобы я подготовила клуб как полагается для серьезной процедуры.

Судить будем Пастухова по 149-й статье уголовного кодекса за умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан, а проще сказать, за поджог.

В кабинете председателя сидели на табуреточках родители Пастухова, прибывшие из Москвы. Оба седенькие, похожие друг на дружку. У него очки на нитке, она, несмотря на летнее время, в перчатках.

Иван Степанович не уважает канцелярско-бюрократического стиля: подпишет бумажки, нырнет в свой малиновый «Запорожец» и едет по бригадам осуществлять практическое руководство.

Только мы занялись, как всегда не вовремя сунулся дедушка Алтухов.

Прошлый год его контузило громом, и с тех пор он стал забывчив: заспешит куда-нибудь да по пути дело и забудет. Встанет поперек дороги и стоит, как телка. При всем том сохранилась в нем хитрость, — как услышит, что в правлении приезжие из Москвы или из обкома, так и бежит поскорей что-нибудь выпрашивать. При свежих-то людях ему отказать труднее... Вот и теперь прибеж, кривоногий, в белой панамке.

— Здравствуй, Иван Степанович, — проговорил он притворным, слабым голосом.

— А-а, Леонтич! — сказал председатель приветливо. — Не помер еще?

— Не помер.

— Ну, чего у тебя?

— К вам я...

— Обожди... — сказал председатель и некоторое время разъяснял мне, сколько и как поставить стульев для судьи, для заседателей, для прокурора и не забыть послать в школу за колокольчиком, чтобы судья мог позвонить в случае шума. — Скамейку подсудимого отгороди стульями. А то насядут посторонние, и не разберешь, кого судят. Ну, так чего тебе, дедушка?

— Лошадку бы мне... Дай лошадку... А я тебе чем хочешь услужу.

— Так тебе же выделили. В порядке помощи престарелым. На прошлой неделе выделили.

— Так то за глиной. Печка было вовсе развалилась. Спать на ней было страшно.

— А ты там на печи легше кувыркайся со своей старухой...

— Так ведь это не от трясения... Это, я так мечтаю, от грома. В том боку знаешь, где печурка, где спички складены да сткляночки всяки, после грома трещина вывилась... Ладно, еще дыма не было. А к пасхе дыра разошлась с палец толщиной, кирпич задышал, сам по себе вываливается, без причины.

— Замазал?

— Замазал. Спасибо тебе...

— Ну и хорошо.

— Хорошо... Теперь ладно...

Дед забыл, зачем пришел, и хлопал глазами на все стороны.

— Ты, дедушка, давай вечером в клуб, на суд, — сказал председатель. — И супругу гони.

— Да я ж хворый... Спину ломит по самую шею. А старухе недосуг... Пироги стряпают... Сынок приезжает...

— Игорь Тимофеевич? — спросил председатель с уважением.

— Игорь Тимофеевич.

— Чего ж его к нам тянет? Ему бы по его калибру на пляж куда-нибудь. В какую-нибудь Алупку.

— Отца с матерью не забывает... Каждый год ездит проведать... — Дедушка вдруг вспомнил, зачем пришел, и застонал снова: — Я к тебе насчет лошади, Иван Степанович... Мне бы на станцию...

— Сегодня никак невозможно. Весь конский парк мобилизован. Срочно надо перевезти удобрение. Это тебе известно?

— Неизвестно.

— Как же так? В протоколе записано, а тебе неизвестно... Вот люди сидят, тоже из Москвы, а на такси прибыли... и ты бы так. Окажи сыну почет: разорись на такси.

— Да где ж у меня рубли-то! На такси!

— На трудовни дели?

— На трудовни дали! Курей не прокормить.

— Сроду ты такой, Леонтич. Колхозом недовольный, а с колхоза тянешь. Хныкаешь все!

— Да я не хныкаю, — перепугался дедушка. — Я не жалуясь. Разве я жалуясь?.. Жизнь хорошая стала, да я-то плох... Болезнь одолела. Застыл весь... — Он показал родителям Пастухова руку. — Пальцы вон какие синие... Как в стужу...

— К старухе чаще приваливайся, — сказал председатель. — Она согреет.

— Тебе все смех... Рука, гляди, какая синяя... Как баклажан.

С ним можно говорить до вечера, с этим Леонтичем, не сходя с места, и все равно ни до чего не договоришься.

Хотя ему и объяснили обстановку с конным парком, он все равно не отставал. А тут и Митька Чикуннов прибежал с объявлением, что мотор у транспортера сгорел.

— Как же это он так у тебя сгорел? — спросил председатель.

— Метла в транспортер попала.

— По собственному желанию?

— Как?

— Сама, мол, попала? По собственному желанию?

— Кто ее знает!

— Виноватого, значит, не нашли?

— Где его найдешь?

— А не найдешь — рублем отвечать будешь.

Они долго пререкались, а дедушка непрерывно просил лошадей, и все же председатель ухитрился среди этого шума диктовать указания: на первый ряд никого не пускать, оставить его для приезжих родителей, выделить комсомольца — сгонять ребятшек и выпивших, продумать вопрос с ночлегом: суд, очевидно, затянется, и судьи останутся ночевать...

Иван Степанович диктовал указания, Митька кричал, что он не виноватый, а дедушка непрерывно, как заведенный, просил лошадей.

Председатель снова переключился на Митьку, а я стала глядеть в окно. Небо дымное, тяжело свисло. Тучки серые, закопченные. Женщины перебегают под дождем от избы к избе.

Я глядела в окно, и мне все жалче становилось нешего Раскладушку. Хотя он и провинился, и вина его укладывается в статью, и надо его, конечно, проучить, и никто он мне, этот Пастухов, — а все-таки жалко его почему-то.

Мне вспоминается, как я первый раз увидела его в прошлом году, кажется, в августе, когда он приехал к нам наниматься, и вежливо сидел на этом самом месте, где сейчас я, долговязый, худущий, с длинной шеей и с большим кадыком. И лицо его казалось с непривычки дурашливым. На нем были узкие, как порчатки, бледно-синие штаны на двойном шве, с карманами на блестящих гвоздочках.

Иван Степанович медленно вникнул в личное дело, медленно перечитывал заявление.

Подробно я не смогу процитировать, но помню, что заявление было с огоньком: веселое было заявление. Пастухов обещал поехать в любой колхоз — куда пошлют: куда, мол, ткнете пальцем на карте, туда и поеду, — и всю свою жизнь обещал посвятить подъему сельского хозяйства. Помню, Иван Степанович собрал всех, кто в ту пору околачивался в правлении, и зачитал заявление вслух, с ударением, так оно ему понравилось. Кому-то пришла идея послать заявление в прессу, но Пастухов категорически стал возражать, даже рассердился. Ивану Степановичу понравилось и это. Он написал резолюцию, вычертив хвостиком своей фамилии особенно красивого голубка, и склад документы в папку впредь до заседания правления. Потом велел всем выйти, налег на стол и уперся в Пастухова своими острыми, калмыцкими глазами.

— Так, — сказал он. — Значит, у тебя в Москве отдельная квартира?

— Отдельная.

— Сколько комнат?

— Четыре.

— А семья?

— Трое: отец, мать и я.

— Из каких же это соображений тебе такие хоромы выделили?

— Это не мне. Это отцу. Он нейрохирург.

— Кто?

— Заслуженный врач. Профессор. По мозгам.

— Хорошо зарабатывает?

— Хорошо.

— На книжку, небось, кладет?

— Кладет.

— Ладно, — вздохнул председатель. — Поскольку у нас с тобой формальности закончены, скажи мне теперь, по какой причине ты выписался из Москвы. Говори, как на духу, не изворачивайся. И не бойся. Спрашиваю я тебя исключительно для контакта, поскольку нам с тобой вкалывать рядом не один год. Давай. Дальше меня куда не пойдешь.

Пастухов долго смотрел на председателя с изумлением.

— Так ведь... — сбивчиво начал он. — В заявлении ведь указано...

— Недопонимаешь, — терпеливо прервал председатель. — Я тебя причины спрашиваю, ясно? Личные причины. Ясно? Может, баба?

— Какая баба? — спросил Пастухов с недоумением.

— Обыкновенная. Женского полу. Бывает — от баб

бегают. От алиментов. Вон у нас одного нашли. Стрекнул аж с Курильских островов...

— Что вы! — Пастухов вспыхнул, как светофор. — Ну, правда... Действительно... Каким бы смешным вам это ни показалось, а правда. ...Я прочитал материалы Пленума... Обращение к молодежи. И принял для себя решение...

— Опять недопонимаешь, — остановил его председатель. — Я не политграмоту экзаменую, ясно? Парень ты эрудированный, это заметно... По линии выпивки как у тебя?

— Никак. Я непьющий.

— Случаем, не сектант?

— Случаем, нет.

— А ты не кусайся. Нам вместе работать, вот я и интересуюсь. У нас вон на отчетно-выборном собрании отмечаю достижения за минувший год, а энный товарищ из зала подает реплику: «Горько!» Крикнул, как на свадьбе. Ничего такого у тебя в техникуме не было?

— Ничего не было. — Пастухов взглянул осторожно, не забавляется ли над ним председатель.

Но председатель не забавлялся.

— Как хочешь, — сказал он грустно. — Народ со мной беседует открыто. А к тебе у меня претен-

зий нету. Хотел сразу контакты наладить, а не доверяешь — твое дело.

Пастухов подумал немного и спросил:

— Можно идти?

— Ступай. Жить будешь в избе у Бугрова. В боковушке. От него жена убегла, он один. Тебе в самый раз будет. Я тебе туда свой телевизор снес. Все равно глядеть некогда. Только ты Бугрову не давай ручки крутить. Сам пользуйся.

Пастухов остановился у порога, подумал и вернулся.

— Ладно, поделюсь, — тихо проговорил он. — Поделюсь, зачем приехал.

— Ну вот. Так-то лучше. Сам знаешь: истина все равно выйдет наружу, не сейчас, так после.

— У меня мечта есть, — сказал Пастухов, потупившись, как невеста. — Заветная.

Председатель глянул на него недоверчиво.

— Да, мечта, — повторил Пастухов твердо, не поднимая глаз, — мечта о том, чтобы поднять производительность в колхозе. Резко и решительно. В один год.

— А-а-а! — протянул председатель скучным голосом. — Такая мечта имеется у каждого сознательного труженика.



И стал собирать бумаги.

— Нет, уж теперь подождите! — заволновался Пастухов. Худое, скуластое лицо его покрылось пятнами. — Раз уж на то пошло, дослушайте... А то я в дурацком положении...

— Ну, давай. Только короче.

— У вас сколько тракторов?

— Ну, двадцать.

— И «Беларусь» есть и «ДТ-54»?

— «Беларуси» — четыре штуки, дизелей шесть.

— А вы задавались вопросом, на каких скоростях работают у вас эти тракторы? — спросил Пастухов медленно. — На каких скоростях вы пашете, сеете, культивируете?

— Как положено по инструкции, — сказал Иван Степанович, проглядывая бумаги. — На второй.

— Другими словами, техника на колхозных полях плетется так же тихо, как сивка с сохой. Так?

Иван Степанович сел и внимательно посмотрел на него.

— Разве можно с этим мириться? — спросил Пастухов.

— Погоди. — Иван Степанович подумал. — А из каких соображений, по-твоему, делают тихоходные тракторы?

— Неправильно делают!

— Ну-ну! Ишь какой бунтовщик!

— Никакого бунта здесь нет. Скоро поймут и станут выпускать скоростные! А пока их нет, надо пробовать «Беларусь» и дизеля на третьей и на четвертой. Представляете выгоды: вдвое быстрее скорость — двойная производительность, меньше горячего, сжатые сроки...

— А ведь верно! Вот когда мы вставим перо «Красному борцу» и лично товарищу Черемисову! — Он потер руки, но спохватился: — Погоди, погоди... А где так делают?

— Пока нигде. Ну и что же? Мы попробуем первыми. — Пастухов понизил голос. — Вы только пока не разглашайте, а на целине я уже пробовал. Тайком.

— И как? — Иван Степанович оглянулся и сказал: — А ну, закрой дверь!

Пастухов плотно прикрыл дверь, и как повернулся дальше разговор, я не слыхала. Слышно было только, что Пастухов говорил много, а председатель мало. А примерно через полчаса оба вышли из кабинета с секретными лицами.

Председатель поехал по бригадам, а Пастухов встал посредине комнаты, оглянулся по сторонам и спросил меня, поскольку я находилась к нему ближе, чем другие:

— У вас в деревне светлячки есть?

— Есть, конечно. А на что вам?

— Да так. Я еще никогда не видал светлячков...

Он улыбнулся нежно, как маленькая девочка, и пошел на волю.

И вот не прошло с той поры и года, а Пастухов уже угодил под суд. И председатель Иван Степанович чего-то сегодня уж чересчур расшутковался, — видно, и ему тяжело, видно, и ему жалко своего непутевого бригадира.

Он отослал Митьку, кончил разговор и, задумавшись, прикрылся рукой — и сразу постарел лет на десять.

Потом услышал Алтухова, поднял глаза:

— Ты еще здесь?

— Тут. Просьба к тебе, Иван

Степанович. Сынок приезжает. Лошадку бы. А я тебе чем хошь услужу.

Председатель задумчиво посмотрел на него и спросил:

— У тебя в избе танкеток нету?

— Чего это?

— Ну, клопов.

— Что ты! Сегодня старуха всю избу перемыла. Под каждую лавку слазила.

— Так вот, передай старухе: возьмет защитника на квартиру, тогда ладно, выделим лошадь.

— Куда нам защитника! К нам сын приезжает!

— На одну ночь. Чай, места не пролежит.

— Ну, если на одну ночь, тогда ладно.

— Шлея есть?

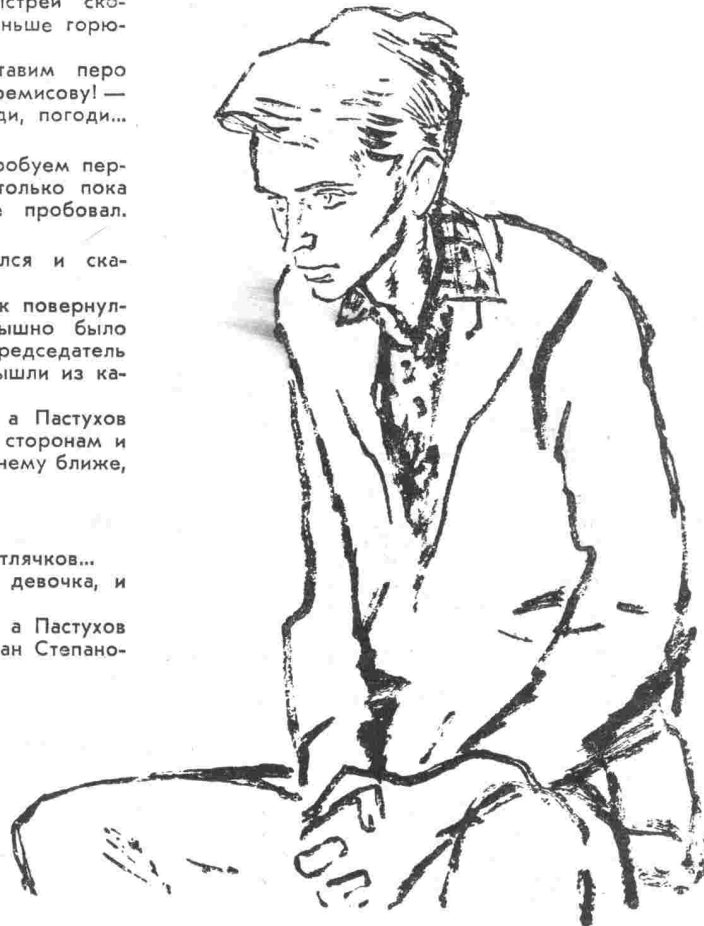
— Шлею добудем. Была бы лошадка, а шлею найдем.

— Небось, ворованная у тебя шлея. Артельная, — проговорил председатель, но не попрек был в его голосе, а страшная усталость. — Скажи там, пусть запрягут Красавчика.

— Ну, хорошо! Вот спасибо. — Дед пошел было, но спохватился: — Да он же не дойдет, Красавчик-то! Он на ходу засыпает. Его не добудишься!..

Но председателя уже не было. Слово ветром его дуло. Леонтич глянул на Пастуховых родителей и продолжал:

— Разве он с моста вытянет? Нипочем не вытянет. Что меня запряги, что Красавчика.



Родители печально смотрели на него и молчали. Поняв, что с них не будет никакого проку, дедушка перестал представляться, злобно сверкнул глазами, выругался длинно матом и вышел. А на дворе — ни день, ни ночь. Дождь все сыплет и сыплет. Машины скворчат по мокрому асфальту, как яичница на сковородке. Небо заунывное. Грустно.



Народу на суд собралось много. Пришли и из ближних бригад и из самой дальней деревни Евсюковки. Даже слепого Леонида Ионыча привели из Закусихина. Лавок, конечно, не хватило. Люди стояли в дверях и мостились на подоконниках. Родители сидели тихо. Мать, между прочим, в перчатках, несмотря на летнее время.

Пастухов сидел отдельно от всех, опустив голову. И колени и локти острее, чем всегда, торчали у него во все стороны. Он то и дело отвлекался, высчитывал чего-то, кажется, даже и рисовал, а иногда, востроенувшись, оглядывался вокруг, словно не понимал, зачем это в такое горячее время собралось попусту столько народа. А потом снова выставлял свои острые колени и принимался считать на булке.

Судья была женщина, но наши колхозницы расстроились, когда узнали, что фамилия ее была Погибель. В общем-то всем хотелось, чтобы Пастухова не очень засуживали, хотя поджог не шутка.

Дело состояло в следующем. В конце мая сего, 1959 года Пастухов велел Таисии Пашковой, трактористке, свезти в РТС культиваторные лапы. Пашкова — одиночка, живет в Евсюковке. Бабенка завидующая и несобранный. Она и на тракторные курсы в свои тридцать лет пошла только из-за того, что ей посулили золотые горы. А когда золотых гор не оказалось, стала она, как обыкновенно, отлынивать. Как только выяснилось, что лапы не отвезены, Пастухов поехал к Пашковой объясняться. Приехал — изба заперта на замок. А соседний мальчишка, отличник Ленька, говорит: «Она в район уехала, в поликлинику». Пастухов собрался было назад — тут попадает ему на пути Лариска Расторгуева. Лариска и говорит: «Да она дома». «Как же дома, когда на дверях замок висит». Лариска ухмыльнулась и говорит: «Хотя ты и бригадир, а плохо наших лентяев изучил. Она замок вывесила, обратно через окно влезла и спит». Пастухов разъярился, слез с лошади и поджег солому, которую Таисия прошлой осенью сложила у задней стены. Солома занялась. Повалил дым. И Таисия с криком: «Горим!» — вывалилась из окна на улицу, да так неловко, что вывихнула ногу.

Шутка получилась плохая. У Таисии обгорела боковая стена и швейная машина.

Обвинитель правдиво обрисовал картину, но ругал не только Пастухова, но и руководство колхоза за то, что плохо поставлена воспитательная работа.

Потом стали вызывать свидетелей.

Отличник Ленька сильно пугался судебной обстановки, но все ж повторил, что от него требовалось. Виталий Владимирович действительно сказал: «Ладно, поглядим, в какой она поликлинике. У тебя спички есть?» Ленька сбежал домой, принес спички. Виталий на его глазах поджигал солому, но она была

прелая и не горела. Тогда Виталий Владимирович велел Леньке принести газету. Ленька сбежал домой, вынес газету. Виталий Владимирович разворочил солону, сунул свернутую в рожок горящую газету. Повалил густой дым. Окно распахнулось, стекла зазвенели, и на улицу выпрыгнула Таисия в исподней рубахе, а за ней выскочил участковый Бацура, босой и без портупси.

Судья зазвонил в колокольчик и сказал, что участковый к делу не относится.

Тут надо отметить, что Таисия уверяла судей, что Виталий приехал на коне сильно выпивший. Сама видела в окошко, как он упал, когда слезил с лошади, и долго не мог вынуть из стремени ногу. В общем, Таисия была баба добрая и перепугалась за Пастухова. Она и хромать старалась перед судьями поменьше, чтобы хоть за это ему не особенно попало. «В трезвом виде такого хулиганства он бы никогда себе не позволил», — говорила Таисия. — В трезвом виде он у нас ласковый, здоровается за ручку. Измучился он с нами, из-за нас и стал пьяница огорчающий. И я даю свое полное согласие, чтобы простили нашего бригадира, чтобы не губили его молодую жизнь. Пусть только возместит он мне швейную машину, хоть сразу, хоть в рассрочку, и бог с ним».

Председатель Иван Степанович выступал два раза. Оба раза судья его прерывала, велела закругляться, а он говорил и говорил. После его показания отношение суда резко изменилось в пользу Пастухова, чего председатель и старался добиться.

Поднялся он на сцену не торопясь, словно вышел на отчетный доклад. И когда ему задавали вопросы, прохаживался строевой походкой и поворачивался на месте, будто показывал моды.

В тон предыдущим свидетелям он начал серьезно: похвалил бригадира, сообщил, что Пастухов за год пребывания в колхозе хорошо освоил хозяйство, к людям требователен, справедлив, теоретически подкован и морально устойчив. Работает Пастухов с огоньком — тут председатель не утерпел и для контакта с аудиторией подпустил шутку, — но иногда и с таким огоньком, что приходится вызывать пожарников.

Аудитория засмеялась, и судья позвонила в колокольчик.

— Но есть у Пастухова один недочет, — отметил председатель, — больно уж он торопится вперед людей проскочить, пролезть, как бы сказать, не замаравшись, в историю. Не нравятся ему быть, как все люди. Этого ему мало. Помню, только приехал — прямо с порога запустил гранату: скоростная механизация, и больше ничего! А если не согласны, значит, вы отстальные консерваторы и петроградцы.

— Петроградцы, — тихо сказал Пастухов со своей скамейки.

— Петроградцы или петроградцы — все равно нехорошо, — сказал председатель.

Аудитория засмеялась, и судья опять позвонила.

— За две недели он и фракцию сколотил: гляжу, уж и Чикунов о повышенных скоростях бредит. Ну, Чикунов, понятно, — моряк, а за ним и Пашкова Таисия туда же, на повышенные скорости, чтобы на базар пораньше поспеть... И комсомол нажимает. Что делать? Перепугался, собрал правление. Негоже вроде подаваться в консерваторы и в петроградцы. — Тут председатель скопился на Пастухова, сжидая реплики. Но реплики не было. — Посоветовались в райкоме и согласились — из педагогических сособрешений, чтобы не давать авторитетом и не глушить инициативу снизу — разрешить скоростную жатву на небольшом участке. Не

секрет, что на наше решение повлияло и то, что Пастухов показал вырезки из печати, где указано, что на целине уже косят на космических скоростях. А на поверку ничего похожего там нету. Косят так же, как и весь советский народ. В общем, дали мы Пастухову «добро». А чтобы это дело не пускать на самотек, выделили тактично присматривать за молодежью нашего уважаемого маяка Зиновия Павловича Белоуса. Зиновий Павлович, сами знаете, с любой машиной на «ты». Ему любой трактор, как винтовка трехлинейная: разберет, смажет и соберет, как было.

Дали мы Пастухову участок жита за мостом.

После Белоус докладывал: вышли они на поле в пять утра. Пастухов надел костюм в полоску, в кармашке платок, а Пашкова даже накрутила кудри. То ли они ждали, что приедут их на кино снимать, то ли так — считали, что настала в сельском хозяйстве революция.

Примерялись они долго. Переоборудовали жатку, дополнительные звездочки ставили на валу мотвила и на валу транспортера. Еще чего-то там колдовали. Часов в шесть вечера Митька Чикунов обернул келку назад козырьком, как пилот все равно, и они двинулись. Чикунов здесь? Присутствуешь? Дай сигнал, если что не будет соответствовать действительности. Дело то было в прошлом году — могу и напутать. Запустил Чикунов пятую скорость — и лошло: трактор на каждой борозде скачет, лафетка скачет, и Чикунов на сиденье скачет, как мар-тышка. Келка на голове вращается. Изо рта папироска вывалилась. Из кармана блокнот выскочил... Пастухов следом бежит, собирает. Прошел Чикунов загонку — остановился. Слез — белый, как мука, руки трясутся. На твердой земле качается. И еще чудо совершилось: во время хода у Чикунова сами собой развязались шнурки на ботинках. Как после разъяснил Белоус, это произошло от какой-то мелкой вибрации. Вот что получается, если брать на себя волю обходить утвержденную техническую инструкцию...

Гляжу, на губе у Чикунова кровь. Пока его трясло там на тракторе, он себе язык чуть не напололам перекусил.

Сводили его к реке, ополоснули — снова лезет. Спасибо, подходит ко мне Белоус и докладывает: «Гляди-ка, Иван Степанович, какой валок у них получился. Такой валок подборщик не возьмет». И правда: стебли как-то чудно лежат, не вдоль, как обыкновенно, а поперек хода. Вот бы увидел председатель «Красного борца» товарищ Черемисов, что у нас творится, — вот бы обсмеял бы нас где-нибудь на ответственном совещании. Тут — называйте меня хоть петроградом, хоть кем, — а прекратил я эту порошную практику. Ну, ладно. Еду утром из четвертой бригады. Белоус докладывает: наши-то лихачи всю ночь самовольничали: спустили давление на шинах трактора чуть не до одной атмосферы, подпрессорили сиденье и в довершение всего утащили подушку сиденья с колхозного «газика». Таким путем они, значит, ликвидируют тряску. Еду в Евсюковку, где у них подпольная база, застаю их там всех. Пашкова спит, а эти два возятся. Кроме того, Пастухов еще двух мужиков из четвертой бригады привлек, заморочил им голову.

Я обратился к Пастухову с предложением прекратить калечить колхозную технику. А ему как об стену горох. Для него авторитетов не существует. Ему что Ленька, что я — одна цена. Не только самого родного председателя, но и отдельных районных руководителей позволяет себе высмеивать и наводить критику, где не положено.

Сижку, пришло время не уговаривать, а убеждать. Накричал я на них. А Пашкова говорит: «Ругайте Пастухова: сам со вчерашнего утра полные сутки ничего не ест, не пьет и нас загонял — с ног сбились». Скинули они комбинезоны, стали расходиться. А Пастухов в комбинезоне пошел. Я немного отхехал, остановился за кусточками. Уже рассвело, серенько и все видно. Гляжу: так и есть. Пастухов обратно крадется. Магнитом его к трактору тянет. Ничего человек не понял, ничему не научился. Я подошел, предлагаю спокойно: «Снимай рванье, поехали до дому». Он сел наземь, положил голову на руки и сидит. Никуда, мол, не поеду. Гляжу: под комбинезоном у него ничего нету. «Где, — спрашиваю, — пиджак?» «Нет пиджака. И брюк нету». «Как нету?» «Так нету. Отдал». «Кому?» «Ребятам из четвертой бригады». «Как отдал? Почему?» «За то, что помогали. Не станут же они за так ночь работать!»

Тут, надо признать, втравил он меня в дискуссию своим фанатизмом. «Ну ладно, — говорю, — ослабил ты шины, ликвидировал тряску. А шину на слабом давлении через час ходу у тебя сжует. Это ты учел? Трактор мне разумеешь, где я тогда резину возьму?» Молчит. «Второе положение: за сезон трактор нагоняет километраж примерно от Москвы до Новосибирска. Представляешь напряжение чувств тракториста, если с него требуют до самого Новосибирска вести агрегат ровно, как карандаш по линейке? А погони Пашкову быстрее, какое можно требовать с нее качество?» Опять молчит. «Ты что, спишь?» «Нет». Он поднял голову. Гляжу: слезы текут. Крупные, как ягоды. Пригласил я его в машину. Сел без звука. «Третье, — говорю, — положение: узлы машины настроены на определенную скорость, и насильное изменение режима сразу дает конфуз. Пусти патефон вдвое быстрее, Шалапин запоем бабой. Никакого удовольствия».

Пастухов сидит в машине, молчит по-прежнему и глядит вперед, как сова. И вряд ли чувствует, что у него вытекают слезы.

Я поглядел на него и сказал. «Ладно, — говорю, — шут с тобой. Жать галопом мы тебе, конечно, не позволим. А самая трудоемкая у нас операция — борьба с сорняками. Тут мы сроду в сроки не укладывались. Давай в масштабах своей бригады пробуй культивацию на скоростях. Последствия беру на себя. Пробуй. Пусть это будет твой последний экзамен, решающий опыт, который докажет всем, кто прав — ты или я. Только вперед обдумай все детали, подготовься как следует, посоветуйся с Белоусом, со мной. Времени много — почти год». С тем мы подъехали, и я сдал его Бугрову с рук на руки. Думал — за год с него блажь сойдет. Текучка заест.

Но оказалось не так. Всю зиму Пастухов не давал покоя, чертежи показывал, формулы. Подвел научную базу. А подошло время — выявилась неучтенная деталь. Лапы на наших почвах и так очень тупятся. А пусти культиватор на скорость, они еще быстрее станут изнашиваться. Пастухов — в панику. Но я ему подсказал выход из положения: наплавить на лапы сормайт, чтобы они не тупились в работе, а, наоборот, самозатачивались. Пастухов с вечера вызывает Пашкову, объясняет ей аварийное положение и дает наряд — везти лапы в мастерские. Везти надо рано утром, потому что он еле-еле уговорил главного инженера РТС принять внеплановую работу, да и то только оттого, что в РТС неожиданно появилось «окно». Днем приезжаем на стан, глядим, а лапы как лежали, так и лежат. На Пашкову, как с ней часто случалось, нашла хворь, и она не вышла на работу. Навьючил Пастухов эти лапы на лошадь — и галопом в РТС. А там не берут: вре-

мя вышло. Пришло указание все работы отложить и сосредоточить силы на ремонте комбайнов. Вот тогда Пастухов напился, приехал к Пашковой и совершил поджог. Обрисовываю положение подробно, чтобы суду было понятно душевное состояние гражданина Пастухова в момент преступления. Что касается культивации, то на днях Пастухов, уже находясь под следствием, самовольно стал гонять трактор на четвертой скорости, завалил землей рядки кукурузы, и его теория потерпела полный провал.

Гражданина Пастухова надо примерно наказать, но учесть, что время подошло горячее, каждый человек на счету. Наказать Пастухова надо условно или как-нибудь там с вычетом трудодней, но чтобы он работал в колхозе. А то вы его засудите, а на его место, небось, не пойдете...

Иван Степанович не упускал случая показать народу, что не очень-то преклоняется перед командированными с портфелями и хорошо знает, что они, при всей важности, не больше чем надстройка, а мы все — как-никак базис.

Только председатель сел, внезапно заявил ходатайство Пастухов. Он встал бледный, даже какой-то синеватый.

— Иван Степанович, — начал он сухим голосом. — Что скоростная культивация потерпела провал, — с этим я категорически не согласен. Чтобы ростки не присыпались землей, нужно установить на культиваторе небольшое приспособление, которое легко сделать своими силами. Вот тут у меня нарисовано, — он выставил чертеж и показал карандашиком, — к диску приварена ступица. Ступица свободно вращается на оси кронштейна. — Он опять показал карандашиком. — При помощи стопорных колец ступица устанавливается на нужную ширину. Прошу передать эскиз Ивану Степановичу.

Судья была до того озадачена речью бригадира, что взяла эскиз и долго смотрела на него. Потом спросила:

— Подсудимый, понимаете ли вы, что вы совершили преступление по отношению к Пашковой?

— Понимаю, — сказал Пастухов.

— Почему вы так поступили?

— Никакого сладу с ней не стало. Измучился. — Он подумал. — Понимаю, что совершил преступление. Трезвый бы поступил мягше. А был выпимши.

— Состояние опьянения не смягчает вины.

— Правильно, — сказал Пастухов. — Пьяницу надо, по-моему, еще крепче греть, чтобы почувствовал.

Судья покачала головой, а мать испуганно оглядывалась, когда ее сынок говорил по-деревенски: «никакого сладу нет», «был выпимши»...

Чем дальше шел суд, тем больше народа становилось на сторону Пастухова. К тому же оказалось правдой, что вслед за Таисией из окна выскочил участковый без портупеи.

И вдруг — для всех неожиданно — прокурор спросил Пастухова, в каких отношениях он находился с почтальоном Груней Офицеровой.

4

4 тобы посторонним людям было понятно, почему суд заинтересовался Груней Офицеровой, надо кое-что пояснить.

Нашему председателю колхоза Ивану Степановичу в глубине души очень хотелось внедрить пред-

ложение Пастухова, и он еще с осени потихоньку стал выведывать у механиков и районных руководителей, какого они придерживаются мнения. Все говорили разное: одни советовали рискнуть, другие пугали, третьи сулили орден, четвертые — тюрьму. Так в конце концов задумали голову человеку, что он отшел в сторону все советы и сделал запрос в Москву, в Министерство сельского хозяйства.

Писал он туда два раза — прошлой осенью и зимой. Но ответа не получил.

То ли прокурор копнул эту деталь, то ли еще кто, но оказалось, что бумажки из министерства в адрес председателя колхоза «Светлый путь» были посланы своевременно, на печатных бланках и под исходящими номерами. В обоих документах было сказано, что указанная тема внесена в перспективный план научного института и впредь до решения ученых менять установленный режим механизмов запрещается.

И вот оба эти письма министерства до адресата не дошли. Как в воду канули.

А почту в то время носила Груня Офицеровой. И, выпрашивая про Офицерову, прокурор хотел дознаться, не перехватывал ли Пастухов с ее помощью вредную для него корреспонденцию.

Конечно, лучше всего осветила бы этот вопрос сама Груня, но ее на суде не было: еще в феврале месяце она попала под поезд.

Хотя с той поры минуло больше трех месяцев, стоит перед моими глазами веселая наша писемноноска. Гордая была, статная, что талия, что ножки — все при ней. Недаром ей в хору поручали объявлять номера.

И пела хорошо. Голос у нее был богатый, полевой голос. Не будь Груни Офицеровой, вряд ли добился бы хор первого места.

Существовали, конечно, и у Груни недочеты. Во внутреннем положении она ориентировалась плохо, а как понимать события за рубежом, ей, как правило, было неизвестно. Об ее кругозоре можно составить понятие на таком факте: грома она боялась, а молнии — нет.

Летошний год сравнялось ей восемнадцать лет.

До того времени ребята не обращали на закусихинскую писемноноску особого внимания. Была она такая же, как все. А к осени словно вспыхнула вся, словно обновилась. Глаза стали черней, губки налились румянцем. Еще милее зазвучала чуть заметная шепелявка в ее голосе — будто у ней леденец на языке.

Что касается до отношений между Пастуховым и Груней, то никаких отношений вроде бы и не было.

Помню, через неделю после прибытия пришел Пастухов в клуб на танцы. Видно, спешил и, надевая пиджак, подвернул воротник. Так, с подвернутым воротником, и встал возле двери. А нам, конечно, интересно, что за фигура.

Грунька дождалась, когда заиграли простенькое, поднялась с лавочки. Медленно, как королева по сцене, дошла до Пастухова и встала перед ним. Он посмотрел на нее, будто не понимая, что ей надо.

Она поклонилась и пригласила его.

Он помотал головой и отвернулся. Даже не считал нужным отговориться, что не умею, мол, или ногу натер. Грунька стояла и ждала, а он, пока она стояла, все время был отвернувшись, ровно на него дуло.

Тогда она поправила ему воротник и села тихонько на место.

На этом и закончились ихние отношения.

Девчонки, конечно, возмущались таким поведением. Дескать, подумаешь, москвич, образованный,

брезгует. Одна Грунька нисколько не обиделась и уверяла, что парень повел себя нескладно не от чванства, а от излишней застенчивости.

Оказалось, ее правда. Пастухов был до того стыдливый и застенчивый, что инструктор райкома комсомола в своем докладе о любви и дружбе использовал его как положительный пример.

Все мы считали, что между Пастуховым и Грунькой ничего не было, тем более что после спевков Груньку регулярно провожал до Закусихина тракторист Митька Чикунов.

Но на суде открылось другое.

Поскольку Пастухов наотрез отказался рассказывать про Офицерову, вызвали свидетеля Бугрова, у которого бригадир стоит на квартире.

Бугров вышел важный, во всем праздничном.

— Факт, значит, получился в сегодняшнюю зиму, в январе,— начал он.— Приезжаю домой поздно. Собираюсь на покой. Умылся, как полагается, утерся рушничком, рушничок на скамью бросил, возле сеней, разбираюсь, ложусь. Воротился я тогда часам, может, к двенадцати ночи, два мешка комбикорма на свои деньги купил, приехал заморенный. Прилег и чую — что-то не то.

Надо сказать, Витька у нас простой. Его кто хоть голыми руками возьмет. Вот, к примеру, такой штрих: кампания подписки на газеты. Я подписался на районный «Авангард» за свои деньги — и будьте ласковы! А ему что ни предложат, за все платит. Газет ему идет штук десять, как в поликлинику. Вся изба забита. Плюс к тому — хоть не хоть — надо читать, оправдывать затраченные средства. Каждую ночь мучается: уж и радио замолчало и спят кругом, а он читает и читает, в одной газете читает коммюнике, в другой ту же самую коммюнике. А этот раз гляжу: света нет. Света нет, а он вроде шушукается там с кем-то. Шушукается — и притаится. Я спрашиваю: «Витька, у тебя там есть кто?» «Спи,— говорит,— никого нету». Ну, а мне ни к чему. Своих делов хватает. Нету так нету. А если есть, увижу. На волю мимо меня не миновать идти, а у меня сон петушиный, прозрачный. Услышу. Стал вроде задремывать — новое дело: Витька в сенцы пошел. Сколько ни живет — не было у него этой потребности. «Ты,— спрашиваю,— куда?» «Спутник,— говорит,— пойду погляжу. Сегодня запустили».

Витька вышел, а я слышу — дышит кто-то за перегородкой. Мне бы, дураку, пойти поглядеть — и дело с концом, а неохота. Сомлел под теплым одеялом, да, признаюсь, напало предчувствие.

Воротился Витька минут через пять, слышу, — сидит на койке, не ложится. А тишина кругом, словно нет на свете ни поездов, ни машин, ни собак — ничего нету. Все отменили. Я тогда подумал: «Навалило сугробов — от них и происходит такая жуткая тишина. Обязательно,— думаю,— свалится на меня в такую ночь неприятность». «Витька,— спрашиваю,— у тебя действительно, правда, никого нет?» «Да спи ты,— говорит,— чего привязался!» Замечаете, ответ уклончивый. Сами понимаете, какой после этого может быть сон! Лежу, переживаю. Вдруг слышу — на дворе замок скрипит, которым хлев у меня запертый. Я в ту зиму на свои деньги хряка приобрел. Хряк мичуринский, видный из себя, брут — его все знают. А тут такое дело. Будьте ласковы! «Ну вот, так оно и есть,— подумал я.— Ктой-то выкручивает замок». Дело не шуточное. Сами знаете — шоссе через нас идет длинная. Всякие ездят. Накинул я шубейку, валенки, рогач в руки — и на двор.

Гляжу — никого нету. А к дужке замка привязан рушничок. Мотается под ветерком — от этого и

бренчит замок. Витька привязал рушничок. Больше скажу: Витька специально для этого выходил, — иначе быть не может. Наставили его на эту идею, а кто — об этом скажу ниже. Немного задубел рушничок, прихватило его морозом. Отвязываю я его и слышу — шаги скрипят. Тогда, к рождеству, небось, помните, какие снегопады нас посетили. Вся Мартыниха скрипела, каждая тропка, не говоря об шоссе. Скрип до самого неба!

Вот и тогда слышу, вдоль улицы: хруст-скрип, хруст-скрип.

Выскочил я с ухватом на шоссе. Так и есть — жэнщина. Придерживается теневой стороны и идет. Ночь была светлая, видать далеко. «Нет,— думаю,— я этого дела так не оставлю. Витька — человек молодой, мальчик еще, переживает без родни на чужбине. Приспело время гулять — будь ласков, погуляй, пожалуйста, на виду. А тайком по клетухам спаньем заниматься у нас не положено.

Конечно, долго гнаться мне не пришлось. Не успел перейти на ту сторону — из-за нашего клуба, от того места, где эти чучелы стоят с дудками, выскакивает Митька Чикунов и хватает ее за шиворот.

Тут я сразу признал: да ведь это же Грунька! Грунька Офицеров, почтарка.

— Врешь! — сказал кто-то из зала. — Грунька в январе в Москве была, на смотре самодеятельности.

— Вот именно! — подхватил Бугров. — Как приехала, так к Витьке и прибегла. Стосковалась. Так вот. Схватил ее Митька за шиворот, а я затаился, гляжу.

«Где была?» — спрашивает Митька.

Она не стала врать, говорит, ходила к бригадиру.

«Зачем?»

«За книжкой».

И верно. Показывает книжку и поясняет:

«Очень хорошая книжка, Митя, «Былое и думы» Герцена».

Тут Чикунов взвился.

«Чего ты мне мозги забиваешь! Какой среди ночи Герцен! Долго ты меня морочить будешь? Договорились на октябрьские пожениться, а теперь январь!..»

— Ты, Митенька, не сердчай,— обратился Бугров в зал.— Я все время молчал, а теперь обязан по закону доложить сущую правду... Так вот, как эта змея объявила ему, что не может за него идти, и дурочка была, что обещалась, и что все это глупости, и что чужая она ему, он отпустил ее и выпулил, как баран все равно.

«Что значит чужая? — повторял он, словно чокнутый. — Что значит поздно?..»

«А то это значит, Митя, что полюбила я одного человека без памяти. Больше, чем маму, больше, чем дядю Леню. Заколдована я любовью».

«А я что, не люблю, что ли? Я из-за тебя, если хочешь знать, Нюрку упустил».

«Молчи, Митя. Тебе еще невдомек, что это такое — любовь... Может, поймешь когда-нибудь...»

Митька вовсе ошалел. Стал хлопать себя по штанам, по пальто, совать руки в карманы. Я думал — закурить ищет. А нет. Гляжу: достал маленький ножичек, складной такой ножичек, перочинный. Раскрывает ножичек, торопится, бормочет чего-то про себя...

«Вот я вас всех сейчас... Всех прикончу... Никому, так никому...»

Старался и так и эдак, даже зубами пробовал, но пальцы дрожали, ножик не раскрывался.

«Дай я попробую», — сказала Груня.

Она открыла ножик и передала ему. Я лично видел, как блеснуло лезвие,— сказал Бугров.

— Ну, дальше? — спросила судья.

— А дальше я пошел домой. Чего мне полную ночь возле них стоять? На мне что было-то? Один полушубок, а под ним нет ничего. Холодно...

Бугров хотел, видно, помочь своему бригадиру, но получилось наоборот.

Пастухов, который отвечал вежливо и радостно во всем признавался, после выступления Бугрова словно нарочно решил загубить себя, стал дерзить и от малчищаться.

Сперва он отрицал дружбу с Груней начисто: «Какая может быть дружба, когда жили в разных деревнях».

Пркурор спросил, действительно ли его прозвали Раскладушкой. Пастухов не стал отрицать, прозвали.

— И Офицерову вас так называла?
— И Офицерову.

— А не она придумала это название?

— Она.

— Это, что же, ласкательное название — Раскладушка?

Пастухов покраснел и перестал отвечать. Тогда прокурор принялся с другого бока: долго ли Груня находилась у подсудимого ночью?

— Может, час, может, два,— отвечал Пастухов грубо.— Не помню.

— А если припомнить?

— Не помню. Я отдыхал, когда она пришла.

— Что она у вас делала?

— Ничего. Сидела.

— Где сидела?

— Чего?

— Где сидела? На чем?

— А-а... На чем. Так и надо спрашивать.

— Так на чем?

— Не помню.

— А если припомнишь?

— Нигде не сидела.

— Что же она, стояла?

— Что она, постовой — целый час стоять?

— Так как же? Не стояла, не сидела. Что же она, лежала?

— Почему лежала? Сидела.

— Значит, сидела? Где?

— Не помню. Ну, на кровати.

— На вашей кровати?

— А на чьей же? Не свою же притащила.

— А вы отдыхали?

— Ну, отдыхал...

— Значит, так: в двенадцать часов ночи, когда вы лежали на кровати, без света, Офицерову сидела на той же кровати, рядом с вами, больше чем час времени. Так?



Не знаю, до чего бы у них дошло, но судья позвонила в колокольчик и просила не уклоняться от существа дела. Прокурор надулся. Судья спросила, с какой целью приходила Груня. «Кому какое дело, с какой целью? — окрысился Пастухов.— Приходила и приходила». Но судья смотрела на него печально, и он опустил глаза. «Ну, за книжкой. Просила книжку почитать. Мы книжку читали...» Тут встрепенулся прокурор и спросил, как они ухитрились читать без света. Пастухов сказал, что свет был потушен, чтобы не мешать Бугрову спать. Все засмеялись. А Пастухов стал доказывать свою правоту и так запутался, что даже матери стало совестно, и она крикнула с места: «Витя, прекрати!» Судья спросила: «Может, у вас были причины скрыть посещение Офицеровой от хозяина?» Пастухов грубо ответил: «Были причины. Ну и что?» А когда спросили, какие это были причины, замкнулся на все замки и перестал отвечать вовсе.

Судья расстроилась, стала шептаться с заседателями. Да и я расстроилась. Задолго до суда мы в узком кругу советовались, как сохранить Пастухова в коллективе, чтобы не раздувать дела перед колхозным юбилеем. Председатель Иван Степанович поставил задачу добиваться решения, чтобы передали его на поруки колхозу. Провели всю подготовительную работу: беседовали с судьей, заготовили соответствующую просьбу, наметили из среды наиболее достойных колхозников индивидуального шефа. Теперь это не секрет: наметили меня, хотя мне и без того хватает нагрузок. А Пастухов своим поведением срывал все планы. И председатель Иван Степанович и я, конечно, очень переживали. Но больше всех переживала защитница. Она была маленькая, эта защитница, серенькая, со взбитыми волосами и худеньким личиком. Хотя для авторитета носила значок, обозначающий высшее образование, но вид у нее был такой, что себя защитить не может, не то что виноватого.

И когда подошла ее очередь, никто хорошего не ждал. Вышла она, постная, маленькая,— хоть на стул ставь. Многие в зале не могли понять, зачем она здесь, спрашивали, чья это и что ей тут надо. Да и начала она скучновато.

— Прокурору кажется подозрительным, что подсудимый смолкает, как только речь заходит об Офицеровой. Вам кажется, что это молчание красноречиво подтверждает кражу писем? А я держусь противоположного мнения. Мне ни разу не пришлось видеть Груню Офицерову, и Пастухова я вижу всего второй раз, но я уверена, они любили друг друга. И потому, что отношения были сложные, особенные, понятные только двум, а для любого третьего казались бы даже смешными, такой человек, как Пастухов, не станет открываться перед всеми. Как же этого не понять! Мы же сами воспи-

тываем чувство, которое Карл Маркс считал важнее хлеба,— человеческое достоинство, и сами же его попираем. Если бы сейчас отсюда, со сцены, стали выведывать, как меня называет один человек, кошечкой или собачкой,— разве я скажу? Не скажу и не скажу! А вы про себя скажете? Ну вот. А с Пастухова требуем: говори! Вслух говори! А мы в протокол занесем да на машинке напечатаем! И от кого требуем? От застенчивого, до крайности застенчивого юноши. Кстати, грубость подзащитного — оборотная сторона все той же застенчивости, защитная реакция на вопросы, которые ставились, как бы сказать, слишком голышом.

Вы не верите Пастухову, когда он утверждает, что служебных писем не видал и здесь, на суде, впервые узнал об их существовании. А я не имею оснований не верить ему в этом пункте. Что за человек Пастухов? Давайте послушайте его заявление о приеме в колхоз.

И она стала цитировать заявление:

«Я внимательно прочел, что предстоит нашему народу на селе, и принял решение ехать в деревню. Решил стать честным колхозником и посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Покажите на карте точку Советского Союза, и я поеду. В комфорте не нуждаюсь и настоящий комфорт почувствую, когда он будет у всех. Думаю, Москва не обидится. К тому же фамилия у меня колхозная — Пастухов».

Защитница читала, обернувшись к прокурору, который еще в начале суда обронил намек, что заявление написано «во хмелю».

— Вы считаете, что заявление написано «во хмелю», — сказала она. — А я утверждаю, что нет. Каждое слово ложилось на бумагу от чистого сердца, свободно и весело. Обратите внимание: Пастухов подал не прошение со смиренной припиской «в просьбе моей прошу не отказать». Нет! Заявление написано хозяином своей судьбы, обладающим чувством человеческого достоинства, презирающим шаблон и бездушную фразу, горящим желанием окунуться в живое дело, творить... Уж если он и захмелел, то не от вина, а от радости, что рожден на нашей советской земле и может принести ей пользу. Станет такой человек воровать чужие письма? Нет, нет и нет!

Защитница резко обернулась к прокурору. Щеки ее пылали. Серый завиток упал на глаза. Она нетерпеливо дунула снизу вверх и топнула ножкой.

Сперва ее слушали плохо, но на заявление Пастухова стали шикать, чтобы потише.

Одним было интересно послушать, другим забавно глядеть, как она, маленькая, лохматая, накидывается

на всех, росно клушка. Чем дальше, тем больше приходилась она по душе председателю, и когда дошла до Маркса, он толкнул меня в бок и сказал с удовольствием:

— Начитанная, язва!

А когда спросила, кто станет добровольно признаваться про кошечку или собачку, в рядах замотали головами: никто, мол, не признается, успокойся, пожалуйста, не переживай...

Услышав вдруг, как стало тихо, защитница заговорила спокойным, домашним голосом:

— У Пастухова в комнатке, за перегородкой, висит табель-календарь. Так вот на этом календаре день второе июня обведен красным кружочком. Я сама видела. Второе июня — это день преступления. Но второе июня — это и тот день, когда Пастухов должен был испытать скоростную культивацию.

Всю осень, все лето, всю весну дождался он этого дня. Почти год этому дню готовился: схемы рисовал, эскизы, две толстые тетрадки расчетами исписал, дефицитные шестерни натащил откуда-то. И вот решающий день наступил — и все было сорвано: Таисия Пашкова все погубила.

Причина поджога единственная — возмущение против трактористки-лентяйки. Это возмущение вылилось в уродливую форму не только по причине опьянения подзащитного, хотя и эту причину нельзя не учитывать. Главное в том, что Пастуховым овладело вполне понятное отчаяние. По вине Таисии Пашковой все пропало — может быть, навсегда! Как же не возмутиться?!

И тут в гробовой тишине раздался длинный тонкий писк, какой получается, когда закипает самовар. Я поглядела. Там плакала Таисия Пашкова.

Защитница сбилась и тоже поглядела туда.

— Насколько правильные идеи выдвигает Пастухов, в данный момент не имеет значения... — сказала она потише. — Он заражен этой скоростной механизацией, верит в пользу, которую она принесет, понимаете...

верит в пользу, которую она принесет народу.

Вконец расстроенная Пашкова плакала и причитала вполкрика: «Верит, касатка, верит!» На нее сердито зашикали, и она смолкла. А защитница заторопилась и, то и дело оглядываясь на Таисию, стала доказывать, что у Пастухова в груди бушует огонь творчества, зафальшивила, неловко закруглилась и очень недовольная собой пошла на место.

Хотя из-за Пашковой, заразы, выступление защиты было смазано, я так понимаю, что эта девочка в основном и спасла нашего бригадира. Пастухову присудили два года условно, с передачей на поруки колхозу.



Суд закончился поздно, часов в одиннадцать ночи. Все устали. А мне пришлось вести защитницу на ночлег к Алтуховым. На дворе было темно, хоть глаз выколи, и всю дорогу ее пришлось держать за руку, чтобы она не зачерпнула в ботики. Защитница вошла в избу с опаской, как чужая кошка. Видно, не бывала еще в деревне.

Настасья Ивановна, свежая еще старуха, ждала московского сыночка и хлопотала на кухне.

Дорогого гостя дожидалось угощение: наливка, запечатанная церковным воском, портвейн три топорика, купленный в павильоне, накрытый полотенцем пирог, конфеты в бумажках, редька в сметане, — весь стол был заставлен — облокотиться некуда.

— О-о, у вас электрический самовар! — подольстилась защитница.

— А что же... Мы тоже люди, — отозвалась Настасья Ивановна. — Чего на пути встала? Садись. — И она указала в горницу, где красовался накрытый стол.

— Да нет, что вы! Я не хочу кушать.

— А это и не тебе. Игорьку припасено. Это что ты такая хохлатая? Или мода такая?

— Мода такая, — сказала защитница.

Настасья Ивановна бросила ей под ноги тяжелые, как гири, сапоги.

— Я лучше в чулках. Можно?

— Давай в чулках, если брезговашь...

Защитница прошла и села на лавку под часы, тихонько, как сиротинушка. По дороге она растеряла весь задор, запечалилась, и никто бы не узнал в ней девочку, которая только что воевала на суде.

В горнице пахло теплым скобленным полом. Под иконой неподвижным зернышком блестел огонек, освещающая прозрачно-изумрудное донышко лампы. Важно тикали большие часы.

Между делами Настасья Ивановна заинтересовалась, засудили ли бригадира.

Я сказала, что дали два года условно и взяли на поруки.

— Сам виноватый, — сказала бабка. — Не знал, что ли, куда ехал? У нас тут кто хочешь сбесится. То снег, то ненастье — темень одна, а больше и нет ничего. Живем, как в колодце. В Москве, говорят, улицы водой моют — вот до чего дошли. А у нас что?.. Умные все уехали — одни дураки остались... Дураки да повелители... На одного исполнителя три повелителя... И никакого к тебе уважения. Вон председатель знает, сыночка ждем, — так вот нарочно к нам постояльца поставил. По злобе... Куда нам ее класть? На койке Игорек ляжет, на печи — мы с дедом, в сенцах текет, посреди кухни не положишь... Придется тут, на диване постлать.

Я сказала, что в одной комнате с мужчиной вроде бы неудобно.

— А чего неудобного? — Настасья Ивановна жалостливо оглядела защитницу. — Диван мягкий. На пружине. А девка вялая, сонная. Таких он не сбожает.

Она вдруг вспомнила что-то, и ее всю заколыхало, затрясло от смеха. Потом встала посреди горницы и зашептала со свистом:

— Прошлый год приезжал. Помнишь, когда в сухую грозу у Рудаковых телка убило, каждую ночь пропадал. Громы громяют, молнии падают — такие страсти! А ему все нипочем. Все где-то кутует. Под утро скребется, в окошко влазит.

Шасть на койку — и щурится. Как ему уезжать — не утерпела, спрашиваю: «Кто у тебя краля?» «Это, — говорит, — святая тайна». Шалют от него девки.

Бабка сняла с комода фотографию в крашеной рамке, отерла рукавом стекло и показала из своих рук.

Карточка была давняя и разукрашена анилином: глаза, галстук и пиджак — синей краской, кудри и вечная ручка — желтой краской, губы и значок — красной краской. Пуговицы на рукаве опять-таки желтые.

— Вон он какой у меня, — сказала Настасья Ивановна и вдруг застыла с фотографией в руке. — Никак, едут!

Но ничего не было слышно, только ночной дождик шумел на огороде.

Бабка вздохнула, аккуратно прислонила фотографию среди крашенных метелок ковыля, полюбовалась издалека.

— Уцепился за Москву и живет теперь на сливочном масле, — похвастала она. — И нас, стариков, славу богу, не забывает. Каждое лето приезжает, оказывает уважение.

Часы стали шуршать и, наладившись, пробили четыре раза, хотя стрелки показывали двенадцать. Бой был гулкий, как ногой по гитаре.

— У нас они сроду такие, — сказала Настасья Ивановна, внося холодец. — Едут! — добавила она шепотом.

И правда. Слышно было, как открыли ворота, приняли подворотенку. На мостках грохнула телега, лужи во дворе заполоскались, и Леонтьевич проговорил тихонько: «Куда, окаянная!» Видно, утомился, и крикнуть от души не хватило сил.

Настасья Ивановна поставила холодец на полдороге, куда попало, кинула на плечи шаль с красными розами и выставилась против двери.

Дед вошел один.

Борода его слиплась в грязную тряпочку. Весь он был маленький, мокрый, как будто его обмакнули и вынули.

Но даже и в таком виде глядел он теперь вовсе не дурачком: глаза у него были злые и умные. Ох, и научились же люди представляться!

Он сел на лавку и молча принялся скидать сапоги.

— А Игорек? — спросила Настасья Ивановна.

— Нет твоего Игорька.

Допытываться она не решилась. Так и дождалась, когда муж разуется и сам объяснит толком, в чем дело.

— Долго глядеть собралась? — спросил дед с ехидством. — А ну, пособи! Вылупила глаза-то!

Настасья Ивановна бросилась помогать.

С одним сапогом кое-как справились.

— Да где же Игорек? — не утерпела Настасья Ивановна. — Случилось что?

— Ничего не случилось.

— Да где ж он? Ведь телеграмма...

— Мало ли телеграмма...

— Или не приехал?

— Почему не приехал? Приехал.

И второй сапог наконец подался.

Дед покачал головой. Портянка была черная, мокрая.

— Говорил тебе, дура, носи Багрову переда подшивать. Он пол-литра возьмет, а сделает на совесть. Нет, на базар повезла, язва. Три рубля — псу под хвост.

Он зашлепал босыми ногами, подошел к накрытому столу и покачал головой.

— А меня на одной картошке держит, сквалыж-



ница. Грузди, говорила, кончились, а вон они, грузди.

— Да где же Игорек? — взмолилась старуха. — Скажешь ты мне или нет?

Дед встал против жены, упер руки в боки и проговорил язвительно и даже с каким-то злорадством:

— Не возжелал в родительском доме жить. Ясно?

— Куда ж ты его дел?

— В дом отдыха. За деньги проживать будет. По путевке.

— Это как же? За что же он это так? Наварила, нажарила... Куда теперь это все? Наварила, нажарила...

— Ну, теперь на всю ночь загудела, — отметил дед с удовольствием. — А гудеть нечего! Отучила ребенка от родительского дома — и терпи. Выучилась — больно она ему теперь надобна. Все барыню из себя строит! Гляди, какая барыня... Вот тебе от него гостинец.

Он бросил сверток, обернутый узорчатой гумовской бумагой.

Настасья Ивановна и не посмотрела на гостинец. Пошла на кухню и печально раскладывала огурчики, неизвестно для кого теперь. Дедушка поглядел на нее и сказал:

— Неловко ему, вишь, тут. Пастух рано поет. Будит.

— Ладно, чего уж там. Завтра схожу, пирожка снесу, огурчика.

— Куда же ты пойдешь за двадцать километров?

— Ничего. Доберусь как-нибудь.

— Да туда посторонних не пускают.

— Какая же я посторонняя? Я мать.

— Мать, а все равно посторонняя. Учти: Игорь Тимофеевич строго-настрого наказывал: никому в колхозе не хвастать, что приехал. Ни одной живой душе.

— Чего это он?

— От людей хочет отдыхать. Люди, говорит, отвлекают от мыслей. Ясно? Чем гудеть без толку, лошадь ступай распряги. Или дерюгой накрой, что ли.

— Обождет, — отозвалась бабка. — Не своя.

Дед похлопал по карманам и достал патрон белого железа.

— Гляди, чего отцу-то подарил! — сказал он.

Он отвинтил крышку и вытряс сигару.

— С Кубы! — сказал он и понюхал, чем пахнет. — Там у них ее одни министры курили.

Он осторожно вставил сигару в рот, но запаливать не стал и долго сидел, вытянув шею, как жонглер в цирке.

Наконец решился и закурил.

— Дерет, зараза, — одобрительно ворчал он, отгребая дым в сторону и кашляя что было мочи. — Во дерет!

И тут только обратил внимание на гостью.

— А ты чья, дочка?

Узнав, что она защитница, дед испугался, прикинул убогоньким дурачком. Мне стало тошно, и я пошла.

Дождь лил непрестанно и только к утру постепенно сошел на нет. На зорьке было зябко, во дворах кашляли барашки. В низинах с ночи залег туман. За туманом не видно ни реки, ни леса.

На такую погоду выходить из дому неохота. Но делать нечего: подоспел срок перечислять комсомольские взносы. Надо ехать в райцентр.

Я скинула туфли и пошла на автобус. На улице — ни души. Стадо только прогнало, и оно еще шевелилось впереди в тумане. По асфальту переползали лиловые дождевые черви. Воздух серый, как зола, видно плохо. Во всех избах зажгли свет.

Но вдруг ровно ставню распахнуло: серое облако над Закусихином подвинулось, и открылось праздничное, воскресное солнышко. Все озарилось и заиграло. На склонах заблестела молодая рожь, зарумянилась красно-бело-зеленая гречиха. Тихонько, как бабушка на блюдечко, подул теплый ветерок. Весело, на сесь свет гремя бидонами, с молокозавода под горку проехала подвода. Небо было чистое, синее. Где-то гудел самолет, но разве найдешь его в таком большом, одинаковом небе...

Теплое солнышко поднималось над землей. Я дошла до стоянки, вымыла в луже ноги и наде-ла туфли.

Гляжу: идет Пастухов. Говорит, что собрался в техническую библиотеку, а сам глаза прячет. А мне-то что! В библиотеку так в библиотеку...

Дождались автобуса. Пастухов сел наискосок от кондукторши и уткнулся в газету.

Кондукторша была молоденькая, только еще при-выкала. Билеты отрывала по кантику. Сперва загнет, потом оторвет. А когда подпирала грузную сумку ногой, из-под короткого бумажного платица вы-глядывала голая коленка, а на коленке — болячка-изюминка. Наверное, после работы еще с ребя-тишками бегаёт, в пряталки играет.

Работала она от души. В автобусе ходили часы и пело радио. Ей нравилось чувствовать себя полной хозяйкой в таком автобусе, нравилось командовать пожилому шэферу «поехали», давать людям сдачу.

Бежит автобус по шоссе, и солнышко плавает, как в невесомости, по спинам и головам. Бежит авто-бус, а Пастухов исподтишка любитесь девчонкой из-за газеты. И болячку отметил. Как у нас говорят, втетерился. Что ж, девушка милая! Губастенькая, ладненькая. Такая милая хлопущка! Наверное, толь-ко с десятилетки, отличница.

Я не удержалась, подмигнула ему. Дескать, давай, не теряйся! Он запылил весь — нырнул в газету. А солнышко было веселое, и меня так и подмывало созорничать. И я спросила кондукторшу:

— У тебя воспламеняющие вещества возить можно?

— Нет,— сказала она,— едкие и воспламеня-ющиеся вещества, а также колющие и режущие предметы к провозу не допускаются.

Пастухов сверкнул на меня злым глазом.

А девушка погляделась в стекло и незаметно вы-пустила из-под берета завиток.

Потом улыбнулась Пастухову и сказала застен-чиво:

— Вы бы вперед пересели, молодой человек.

— Ничего,— мрачно отозвался он из-за газеты.

— Там читать удобней.

— И здесь хорошо,— сказал Пастухов грубо и оглянулся по сторонам.

Кроме нас, ехали еще четыре человека. Два пар-ня из колхоза «Красный борец» спорили и торгова-лись, делили еще не полученные запчасти. Бухгал-тер с молокозавода доказывал старенькой-старень-кой бабушке: «бывало, леща за рыбу не считали, а теперь и ерш — рыба». А бабке было не до ершей. Она уцепилась за переднюю спинку сухонькими руками и крестилась на каждом ухабе. Боялась, как на самолете.

На двадцать шестом километре вошли еще двое: дяденька с перевязанной щекой и злющая женщи-на. Я ее знаю. У нее своя изба в колхозе «Аван-гард», а работает она в городе, служит администра-тором в кино. Нагляделась заграничных картин и стрсит из себя грамотную. Намазалась так, что зубы в помаде.

— Здравствуйте все,— сказал дяденька с перевя-занной щекой и подал трешку.— Бери хоть всю, дочка, только погоняй быстрее. Стреляет — мочи нет.

Крашенная администраторша прошла вперед и се-ла на инвалидную лавочку.

— Не забудьте приобрести билеты,— сказала ей в спину девушка.— Следующая — базар.

Администраторша будто оглохла.

— Не забудьте приобрести билеты,— сказала де-вушка громче.

— Карточка! — отозвалась администраторша.

— Карточку надо предъявлять.

— Называется, общественный транспорт,— завор-чала администраторша.— Для удобства населения... Целый час торчала на остановке. Хоть бы скамейку сколотили...

Она нашла карточку, показала самой себе и спря-тала.

— Напрасно говорите, гражданка.— Девушка оби-делась за водителя и за новый автобус.— Часа вы не стояли. У нас экспресс. Интервал — семнадцать минут.

Но пассажирка даже не оглянулась.

— На кольцо приедут и ждут, пока народ в две-рях не повиснет,— ворчала она.

— Зачем так говорить, гражданка? У нас экспресс. Интервал — семнадцать минут.

Губы у девушки дрожали. Пассажирка, видно, была опытная обидчица, знала, куда уязвить.

— Вчера тоже автобус ждала,— продолжала она высказываться.— Мокну под дождем, а ничего нет. Военный стоял, плюнул, пешком пошел. У них экспресс, а трудящиеся мокнут.

Кондукторша перестала возражать. Закусив губку, отдаляла она на ладошке копеечку от копеечки. А пассажирка бубнила и бубнила.

— Угореть можно от твоей болтовни, тетя,— ска-зал дяденька с большим зубом.— Моложе была, небось, подводу за благо почитала. На своих на двоих в город топала, на одиннадцатом номере. А тут и лавки мягкие и радио играет, а ей все худо...

Оттого, что за нее вступились, глаза у кондуктор-ши намокли, и, передавая сдачу, она выронила мо-нетку. Денежка закатилась куда-то. Девушка на-гнулась, будто искала монетку, а сама переживала там, за лавочкой, пока никто не видел.

— Копеешница! — сказала администраторша.

Ребята принялись искать. Кто-то предложил свой двугривенный. Девушка сердито отказалась. Дя-денька, из-за которого вышло столько хлопот, стал отмахиваться: дескать, бог с ней, со сдачей.

Один Пастухов сидел, как кукла, считая, что такое поведение повышает его авторитет.

У мотеля вошли новые люди, и среди них не-высокий, крепко сбитый парень, тот самый Игорь

Тимофеевич, за которым дедушка Алтухов ездил на станцию.

Был он хотя и ученый, но веселый человек. Приехал в отпуск и приоделся дачником: на темном пиджаке аккуратно лежал отложной воротничок тенниски, бежевые светлые брюки были гладко отглажены.

Он чуть посидел с прошлого года. Сквозь черные волосы просвечивало темечко. Но седина у висков шла ему, и внешний вид у него был довольно симпатичный.

Еще поднимаясь на ступеньку, он приятно улыбался, как будто пришел в гости. Улыбнулся и мне, но не признал. Конечно, родня я ему дальняя — братова свояченица кем-то приходится Настасье Ивановне, но все ж таки приходится сродником, должен бы помнить. В прошлом году, когда приезжал, забегал к нам слушать футбольные передачи.

Администраторша все ворчала и ворчала.

— Какое у вас ангельское терпение! — улыбнулся Игорь Тимофеевич кондукторше.

— Мы боремся за звание бригады коммунистического труда, — отвечала девушка. — У нас пункт есть: «Быть вежливыми». А то бы я ей ответила...

Игорь Тимофеевич опрокинулся на спинку и захохотал.

— Вы что, недоразвитый? — огрызнулась администраторша. Игорь Тимофеевич ничуть не обиделся.

— А как вы это выяснили?

— По смеху. Человека видно по смеху.

— А ваш супруг как смеется?

— Никак не смеется.

— Не удивительно.

Девушка приснула. Улыбнулись и еще некоторые. А Пастухов завистливо глянул на веселого, легкого Игоря Тимофеевича и уткнулся в газету.

Игорь Тимофеевич пристально посмотрел на девушку и сказал:

— Денек-то какой, а? В такую погоду трудящиеся устремляются в сады и парки.

Девушка улыбнулась.

— Как вас звать? — спросил он.

— А зачем вам?

— Обратню поеду на вашей машине.

— А вы запомните номер автобуса. А имя обязательно.

— А какой номер?

— Семнадцать семнадцать.

— Счастливый номер. Вы верите в приметы?

— Какие там приметы! У нас бригада коммунистического труда.

— А я верю. Утром ко мне в комнату влетел мотылек. И я понял, что сегодня произойдет что-то хорошее.

— И произошло?

— Конечно.

— А что?

— Не скажу. Как же вас звать все-таки?

— Вы когда обратно?

— Примерно в пять вечера.

— Обратню поеду, тогда скажу.

С самого начала этого разговора Пастухов забеспокоился. Насторожился, потемнел весь, будто у него отбивают невесту. Глядит в газету, а сам навострил уши и ловит каждое слово. Чудной все-таки наш Раскладушка.

Игорь Тимофеевич заболтался и проехал свою остановку.

Он выскочил, позабыв на сиденье книжку.

Кондукторша расстроилась, но книжка не стояла хлопот. Это был дешевый путеводитель «Наш край». Я объяснила девушке, кто хозяин книжки.

— В пять поедет обратно, сама ему и вернешь.

— А у меня в три пересмена, — лукаво улыбнулась девушка.

И тут в первый раз за весь рейс Пастухов засмеялся. Он хихикнул и сощурился, ровно его щекотали. И бухгалтер с молокозавода испуганно взглянул на него.

Вечером районный центр М. выходит на бульвар. Выходят душистые, как пробные флакончики, девушки, солдаты с увольнительными до двадцати четырех ноль-ноль, молчаливые папы и мамы с новыми колясками, выезжают на велосипедах юноши в мохнатых кепочках.

И начальник милиции надевает гражданский пиджак и выходит с беременной женой запросто.

По одной стороне бульвара идут к вокзалу, по другой стороне — к реке. Так и текут от реки к вокзалу, от вокзала — к реке.

А на базарной площади из трех репродукторов на все стороны играет радио, создавая праздничную обстановку.

У парадных сидят на табуретках бабушки, замечают, какая невеста с кем идет, у какой новые туфли. Девчата шушукуются, одаряют подруг калеными семечками и пьют воду с двойным сиропом.

Часов в семь вечера, в самый разгар гулянья, когда народу не уместиться на узких тротуарах, на главной улице появился Пастухов. Идет по самой середине, на виду у всей общественности, и спотыкается на бульжинках.

У меня прямо сердце упало. Опять, как суслик, напился.

Подбежала к нему, гляжу: весь бок в мелу. И пуговица расстегнута. Прямо срамота. Только-только на поруки взяли, а он под окнами райкома комсомола марширует в таком виде.

Встала я против него и говорю тихо:

— Давай домой! Сейчас же!

Встал, качается, как лодочка, старается сообразить, что к чему. Совсем пьяный — глаза, как холодец.

Я повторяю:

— Не совестно? Весь вывозился. Давай домой.

Пастухов узнал меня, обрадовался и сказал на всю улицу:

— На мне пятно? Не отрицаю. На мне пятно, а на нем нету. Понятно? Пусти.

Он рванулся куда-то. Видно, у него была цель.

Я уцепилась за его пиджак. Увидев, что от меня попросту не отделаться, он снова остановился и спросил обиженно:

— Ты что, выпивши?

Медленно покачиваясь, он стал шерить грязными лапами в пиджаке, выворачивать брючные карманы. На землю посыпались бумажки, исписанные формулами, квитанции, вырезки со схемами, фотографии тракторов, таблицы горючего.

Под конец он нашел, что искал: мятый, исписанный с обеих сторон листок белой бумаги.

Он пытался развернуть листок, но пальцы плохо слушались, и в конце концов пришлось разворачивать мне.

— Читай. Понятно? — гордо сказал Пастухов, когда я развернула.

Это было заявление на пересмотр дела.

Главный упор делался на то, что Пастухов добровольно приехал из Москвы, проводит в жизнь ценные идеи по механизации сельского хозяйства.

Сам Пастухов такую бумагу сочинить бы постыдился. Наверное, ходил на дом к защитнице и она ему помогала.

Бумага была помечена сегодняшним числом и залепана томатным соусом.

— Сейчас же домой! — сказала я. — Спать.

— Нельзя. Понятно?

— Почему?

— Эту бумагу надо пустить по инстанциям.

— По каким инстанциям? Сегодня воскресенье.

— Не важно. Понятно? В прокуратуре сказали: часок отдохни и заходи... Всех генералов соберем, раз такое дело. По тревоге.

— Да ты что, с ума спятил? Кто сказал?

— Тебе не все равно кто? Не хватайся за меня, людей постыдишь. С пятном жить нельзя. Понятно? Кто мне поверит, когда на мне пятно? Доверят гонять на скоростях? Нет, скажут, он под судом и следствием. Отстранить. На меня и раньше Иван Степанович косился. А теперь и вовсе не доверит.

Я знала, что пьяненькие мужики еще больше, чем трезвые, любят, когда им поддакивают, и стала кивать, что, мол, действительно, не доверит тебе Иван Степанович технику и, действительно, пятно надо смывать, а сама вела его потихоньку в первые попавшиеся ворота, лишь бы с глаз долой. Вела я его зигзагами за руку по чужому двору между мокрым бельем и думала: «До чего обидно за нашу молодежь! Столько вокруг интересного, захватывающего, а они вон что делают».

Пастухов, видно, устал.

— Живешь ты неправильно, суматошно, — внушала я ему. — Я понимаю: жизнь порой сложна и противоречива, ее трудно подвести под какую-то догму. Но надо приучать себя жить так, как надо, а не так, как тебе хочется.

Он шел и внимательно слушал.

— Как радостно видеть, когда юноша к чему-то стремится, — внушала я ему, — старается быть полезным, не задумывается ни о корысти, ни о славе! А слава сама приходит в процессе труда.

Улица, на которую мы вышли, была тихая — заборов больше, чем домов. Прислонилась я Пастухова к водоразборной колонке, заправила ему карманы, отряхнула мел с рукава, убедилась застегнуть пуговицу.

Теперь задача состояла в том, чтобы посадить Пастухова в автобус. Пока я подумывала, как это половчей сделать, вдали ударил барабан, и духовой оркестр заиграл «Дунайские волны».

И тут уж я вовсе не могла удержать Пастухова, и он меня потащил, как на буксире, и невозможно было понять, кто из нас трезвый, а кто выпивши.

Притащил он меня в городской садик и потянул на танцевальную площадку. Тут мое терпение лопнуло. Пусть делает что хочет.

Гляжу: без билета его на площадку не пускают, а билета, как нетрезвому, не дают. Ребята на контроле смеются. Пастухов наклонился и произнес речь, что он человек не гордый и будет веселиться среди прохожих на аллейке. А барышня, вот она, припавшая. С этими словами он схватил меня за талию и принялся кружить под фонарями, вокруг районной доски почета. Прошу его остановиться — где там! Впился своими клешнями, ни охнуть, ни вздохнуть! «Поскольку взяла шефство, обязана танцевать!» Прямо со стыда сгореть! Сегодня собралась на спевку попеть, бюро провести, над собой поработать. Да и постирушки дома целая гора накопилась. Вот и поработала! Хотя бы музыка скорей кончилась...

Вдруг Пастухов бросил меня и застыл как вкопанный. Застыл и уставился на темную дорожку. Там маячили две фигуры: одна побольше, другая поменьше. Они то шли, то останавливались. А Пастухов все прислушивался.

Фигуры подошли под фонарь, и я поняла, в чем дело. Впереди шла знакомая кондукторша, а за ней пожилой дяденька в соломенной шляпе.

Пастухов глянул на меня, будто его оглоушили, и сказал:

— Устремились в сады и парки. Понятно?

Кондукторше было совестно. Она оглядывалась и ломала пальчики. А пожилой угрюмо разминал папироску.

— Ну не надо... — умоляла она. — Ну, пожалуйста.

— Пусти, — рванулся Пастухов.

Я его едва удержала.

— А чего он к ней пристаёт?!

— Это же отец.

— Отец?

— Ясно, отец. Образумься.

Пастухов покорно пошел за мной в тень, на дальнюю скамейку.

А девушка торопливо говорила:

— Ну не ходи, ну, пожалуйста.

— Да тебе-то что, — басил отец. — Я в сторонке буду. В сторонке.

— Прошу тебя. Я уже большая.

— Какая ты большая? — вздохнул отец.

— Мне неудобно. Понимаешь, неудобно. Я уже работаю. Меня пассажиры узнают.

Прошли два парня в ковбойках и загоготали:

— Опять с палочкой за ручку!

Девушка ломала пальцы и морщилась от страдания.

— Я не могу больше, — сказала она. — Я иду домой.

Отец махнул рукой. Он остановился возле нашей скамейки, небритый и такой же толстогубый, как дочка. На нем был мягкий пиджак и широкие до земли брюки, такие, что и не видать, босой или обутой.

На пиджаке висела медаль.

Пастухов пробормотал: «А что, если я с ней сейчас...» — уронил голову на мое плечо и сразу спелся — заснул. Теперь ничего не сделаешь. Отоспится, тогда поедем.

Девушка купила билетик и быстро, словно за ней гнались, протопала по мостику на площадку.

Отец постоял, подумал, пошел поглядеть через ограду. Но щели были узкие и видно плохо. А близко не подойти. Администрация проявила смекалку и вырыла вокруг ограды глубокую канаву, чтобы не лазили без билетов. Плюс к тому канаву доверху налита водой.

Заиграли румбу. Отец решительно бросил папироску и пошел к мостику. Девушка с красной повязкой потребовала билет.

— Там моя дочь, — сказал он. — Я хочу присутствовать.

— Купите билет и присутствуйте.

— Да я не танцевать. Посмотрю и уйду.

— Возьмите билет, а там хоть на голове ходите, — сказала девушка с повязкой.

Он пожевал губами, отошел и сел. От него крепко несло табаком.

— Как придет воскресенье, хоть не просыпайся, — проговорил он больше для себя, чем для меня. — Куда это годится? Никуда не годится.

Я поинтересовалась, что случилось.

— Говорят: ничего особенного не случилось. Мелкий факт. А я не могу смириться. Для них мелкий, а для меня не мелкий. Есть тут у нас тип, некто Ко-

ротков. Он Тamarочку за то, что не пошла с ним танцевать, обозвал жабой. И вдобавок замахнулся.

У него треснул голос, и он разозлился.

— Стал караулить этого подонка, сволочь такую... Извините, я потерпевший отец, а отсюда и злость. Он знал, что я его караулю, и прятался. Поймал я его наконец. Поговорил. Он мне заявляет: «Что, я ей голову снес? Пусть нос не дерет!»

Я сказала, что надо заявить куда следует, по месту работы.

— Я говорил со знакомым милиционером. «Подайте, — говорит, — в суд, выставьте свидетелей, возьмите о дочке характеристику. Не пошел я по этому пути. Сами понимаете почему.»

Он поперхнулся. Тихонько выругавшись, встал, прошелся по дорожке.

Потом сел снова. А Пастухов спал на моем плече под духовой оркестр и чмокал губами, как младенец.

— Принял решение не пускать Тamarочку на танцы, — продолжал потерпевший отец. — Не пускать на танцы. Мы тут недалеко живем. Музыку слышно. В воскресенье молодежь идет, а она сядет у окна, как арестантка, и слушает музыку. Она у меня одна. Больше никого у меня нету. Никого нет... Принял решение: ходить с ней. Приду на площадку. Сажу. Курю. И что бы вы думали? Не стали ее приглашать. «Это та, за которой папа наблюдает? Ну и пусть он сам с ней танцует». Пошел к администратору. Поговорили. Здешние активисты посоветовали написать в газету. Ославить этого подонка на весь район, чтобы в дальнейшем было неповадно... Заодно просили в заметке отметить о воспитательной работе среди молодежи. Что воспитательную работу надо вести всегда и всюду. Даже на танцах. Добиться того, чтобы девушка могла смело отказать тому, с кем она не хочет танцевать, не боясь, что ее изобьют.

— Написал заметку, — говорил он сквозь зубы. — Подписал полным титулом: «Бывший комиссар партизанского отряда». Одобрили. Посоветовали включить мысль, чтобы на площадке практиковали перерывы и, когда пары еще не разошлись, проводили бы короткие беседы по этике юноши и девушки. Чтобы музыка чередовалась с играми, с вопросами, с премиями... С премиями. Конечно, танцы у молодежи отнять нельзя. Но сами танцы в крайнем случае должны быть русские, хорошие, вежливые, например, тустеп, корбушка. А то играют какую-то западную отраву.

Он встал, отошел недалеко, высморкался, утер лицо платком и сел снова.

Сел и долго молчал.

— Напечатали? — спросила я.

— Про тустеп напечатали.

— А про этого? — внезапно прернулся Пастухов. — Про подонка?

— Изъяли. Говорят: частный факт. Никому неинтересно... Что она у вас за исключительная?

— Неверно! — разволновался Пастухов. — Люди, я вам скажу, каждый без исключения — исключительный человек. И вы. И я. И она исключительная. Потому что у каждого из нас в мозгу своя, особая извилина. Такая, вроде морской раковины, каждая с особым изгибом. В этих изгибах, если ты хочешь знать, — весь гвоздь. По этим изгибам течет моя мысль и открывает секреты природы, которые для других закрыты. Если бы у людей было бы только серое вещество, а не было бы у каждого своей особенной ракушки, не было бы у нас ни Анны Карениной, ни теории относительности.

Я напомнила, что незаменимых людей нет.

— Неверно, — замотал головой Пастухов. — У нас

даже Аврора незаменимая. — Это у нас в колхозе корова такая. — А люди тем более.

— Выпившему ничего не докажешь, — вздохнул бывший комиссар.

Но я хотела доказать.

— У нас, к твоему сведению, не капиталистическое общество, чтобы у каждого мысли кривуляли по собственным зигзагам. А если ты такой исключительный, что в твою башку вставлена морская раковина, так дождись по крайней мере, когда тебя народ станет признавать. А сам не выставляйся. Будь поскромней. А то много о себе понимаете. Пользы от вас никакой, а скандалы то и дело.

— С этим надо мириться, — сказал Пастухов.

— А мы не хотим мириться! Будем вправлять мозги и выравнять твои извилины. А не поможет — соберем правление и снимем с бригадира. Тогда узнаешь, заменимый ты или незаменимый.

— Дай тебе волю, ты бы всех под одну гребенку остригла. Под бокс. Понятно? И меня под бокс и Настасью Ивановну под бокс.

— Зачем под бокс? Личные склонности я не отрицаю. Стригитесь, как хотите.

За беседой Пастухов быстро трезвел и уже поддавался убеждению.

— Одною я не пойму, — проговорил он, — какая тебе польза доказывать, что я самый что ни на есть середняк, вполне заменяемый и на работе и на других делах? Ну ладно, убедишь ты меня, усохнет у меня эта самая особая извилина. И останется в голове одна только серая масса, и стану я походить на тех замороженных человек, у которых эта серая масса через глаза просвечивает. Легше тебе будет?

— Ивану Степановичу с тобой легче будет. И то ладно.

— Может быть, ваш друг частично и прав, — сказал комиссар. — Все-таки приятно сознавать, что ты на своем деле один-единственный. А взаимозаменяемым, как какая-нибудь велосипедная шина, человеку быть обидно. Особенно нашему человеку.

— Верно, папаша! — закричал Пастухов. — Не цыкай на человека, когда он что-то доказывает! Сперва понять попробуй!

— Ему не терпится гонять технику на повышенных скоростях, трактора ломать, а правление не позволяет. Вот он и выдумал.

Пришлось разъяснять известные истины: отдельный человек должен шагать в ногу с коллективом. Без коллектива человек — ноль, хоть у него в голове морская раковина аж из самого Индийского океана и размером с пепельницу, и что все его беды и шатания происходят оттого, что он душой оторван от коллектива.

— Поэтому я хочу тебе дать совет. Только отнесись к тому, что я говорю, внимательно и не вздымайся на дыбки. Парень ты культурный и грамотный. Не спорю. Но для твоего общего роста, для твоего дальнейшего эстетического воспитания тебе было бы полезно включиться в хор. Мы тебе сапожки по колодке пошьем, такие же, как у нас, у всех, красивенькие...

Пастухов дернулся, будто его ткнули в спину, и уставился на меня злыми глазами.

— Ты опять?

— Что опять?

— Про хор? Про песенки?

Я ничего не могла понять. И даже испугалась.

— Так вот, — стал говорить он медленно, с каждым словом ударяя кулаком по лавочке, — если еще раз помянешь про хор, я не погляжу, что я твой подшефный и что ты девчонка. Дам бубна.

— Ну вот и договорились... Тебе, дураку, хорошего хотят, время с тобой теряют, а ты...

— С выпившим не договоришься... — вздохнул комиссар. Он остался дожидаться дочку, а мы с Пастуховым пошли побыстрей, чтобы захватить последний автобус.



Вчера вечером пришла телефонограмма: просят наш хор в дсм отдыха на выступление, в порядке культурмассовой работы среди отдыхающих. И даже не просят, а требуют. В конце сказано: «Просьба не опаздывать».

У меня сердце упало.

Последние дни наши певицы работали не разгибаясь. После дождей запарило, и сорняк стал душить кукурузу. Надо бы сразу полоть, а Пастухов дня два тормозил: решил поставить руководство перед фактом и добиться разрешения пустить культиватор на скоростях. Но приехали из райкома и такой нам дали нагоняй, что пришлось принимать чрезвычайные меры. Весь четверг, всю пятницу и субботу от зари до зари пололи мы поля второй бригады.

До того доработались наши актрисы — не разогнуться. В перекурах становились попарно, спина к спине, цеплялись под локотки и перевешивали товарка товарку, разгибали друг дружке хребты.

Председатель все дни был с народом. А вчера, когда девчонкам вовсе стало невозможно, велел объявить по бригаде:

— Если сегодня кончите, завтра объявляю выходной. Полные сутки спать будете.

Девчата обрадовались, принялись из последних сил и дальние сотки пололи уже в темноте, на коленях.

Как теперь быть, ума не приложу. Я наших девчат знаю: объявили выходной — никто не поедет.

Решили применить крайнюю меру.

Перед поездкой в Москву всем участникам хора за счет отдела культуры были пошиты шелковые платья и сделали кокошники с блестками, а юношам — шелковые русские рубахи и широкие штаны без ширинок. Кроме того, каждому по мерке были сточены из красной кожи мягкие, как чулки, сапожки.

Девчата очень хвалились своими нарядами и бергли их пуще глаза. И вот другого ничего не осталось делать, как пригрозить: кто откажется ехать — отберем костюмы.

На основную массу мое предложение подействовало. Но главные, захваленные певицы и танцоры только отмахнулись: забирай, мол! У нас своего хватает.

Что делать? Побежала к Ивану Степановичу. На мое счастье, малиновый «Москвич» стоял у ворот — хозяин был дома.

Когда я вбежала, он дозванивался до райцентра. Пока он звонил, я обрисовала положение: Расторгуева Лариса даже не стала разговаривать. Сказала: «Хватит народ обманывать» — и заперлась. А она ведет песню «Все зеленые лужаечки». Песня разноцветная, без Лариски не получится. Рудакову Таню не пускает муж. Денисова Дарья, которая в паре с Таней запекает одну из наших лучших самодельных песен, «Ни с ветру, ни с вихря», белится и красится; настроилась на гулянку. Сизову Ритку (она у нас пля-

шет под частушки) и ругать неловко, у нее мать помирает. К Митьке Чикуну приехали в гости братья. А он главный тенор, без него вообще хор без голы.

Председатель слушал меня и кричал в трубку:

— Алло! Алло! Евсюковка! Дочка, почему коммунатор молчит? Разбуди ты их там, пожалуйста!.. Евсюковка! Да что вы там, заснули или померли?..

Он бросил трубку и сказал:

— Тугая у нас молодежь. Ладно, поедем. Не таких сгинали.

Время было обеденное, весь народ дома.

Сперва заехали к Чикуну.

Митька сидел за столом с двумя братьями. Братья давно откололись от деревни, женились на городских и приезжали изредка за картошкой.

На днях кто-то пустил слух, будто станут отрезать огороды и отбирать скот. Митька занервничал, решил продавать избу и ликвидировать хозяйство. Вызвал братьев — посоветоваться. С самого утра они считали на бумажках, пересчитывали, спорили, куда девать бабку.

Бабка лежала на печи и покорно слушала, кому достанется.

В избе было грязно, только на стенке откуда-то взялась картинка: нарисована женщина, немного похожая на Груньку Офицерову, и подписано «Неизвестная».

Братья неприветливо уставились на нас. Были они все трое одной породы, скуластые, и челюсти у них крутые, как предплужники.

Увидев чужих, Иван Степанович принял официальный вид. Шут их знает, что за люди, где работают. К тому же один в галстуке.

— Садитесь с нами, Иван Степанович, — сказал Митька.

На столе в миске была капуста с брусничкой. Мокрые круги от бутылок доказывали, что была водка, да спрятали.

— Чего садиться, когда бутылки под лавкой? — сказал председатель. — Чего ж ты, артист, выступление срываешь?

— Я, Иван Степанович, решил подаваться из колхоза. Ищите тракториста на штатную должность.

— И заодно тенора, — добавил тот, что в галстуке.

— Лапти, значит, на семафор решил вешать?

— Придется лапти вывешивать. На сапоги я у тебя не заработал. Год вкалывал, а денег нет. Хоть вой!

— А в хору, небось, велите петь: «Ах ты, радость невозможная», — добавил тот, кто в галстуке.

— Тебе все рублей не хватает? — спросил Иван Степанович, накаляясь. — Подымай колхоз, будут и рубли.

— А как его подымеешь, когда вы норовите платить докладами? — мрачно спросил старший брат, до этого молчавший.

— Какими докладами?

— Поясняю. Я тоже с этого колхоза. Первоначально, когда мы назывались «Смерть кулакам», еще жить было можно. Жрать давали. А потом, когда переименовали в имени Ежова, стали колхозника приучать вкалывать задаром. За так. Посеем — за это нам доклад прочитают. Уберем — за это еще доклад прочитают. А жрать не дают. Так вот, дорогой директор колхоза, учти: дурака за доклад работать ты еще найдешь. А земля задаром тебе рожать не станет. Ей тоже кушать надо. Она назем просит. Удобрение.

— Закон сохранения энергии, — строго прибавил тот, что в галстуке.

Я смотрела на Ивана Степановича и переживала за него. Ну чего он теряет время? К чему биться с этими лобачами? Разве можно их убедить?

— Я не случайно задал вопрос про деньги,— проговорил председатель задумчиво, как бы взвешивая, стоит ли входить в объяснения.— Не случайно.

Все трое уставились на него.

А он подумал, махнул рукой и пошел к двери.

— Обожди,— задержался Митька,— Иван Степанович!

— Чего ждать? — Председатель ухватился за скобу.— А с твоими дезертирами говорить нечего...

— Мы, к вашему сведению, рабочий класс,— угрозаяще сказал старший.— Не обзывайте.

— Вы меня хотите в дискуссию втравить? — Иван Степанович грустно вздохнул.— Не выйдет! А ты, Митя, принял решение — твое дело. Только, гляди, не просчитайся. Не знаешь ты еще всего.

Митька насторожился: не скажет ли председатель чего нового про огороды.

— Многого ты еще не знаешь.

Братья тревожно смотрели, не ушел бы председатель; старались догадаться, что у него на уме.

— В такой ответственный момент и так себя ведешь,— продолжал Иван Степанович с укором.— Ничего ты не понял, ничему не научился.

— Да ведь я почему не еду! — взвился Митька.— Мне в Москве велели горло беречь! У меня ценный тенор! А меня в кузове возят! Лариска в кабинке, а я в кузове!

— Устыдил бы ты их,— зашумела с печки бабка.— Мыслимое ли дело затеяли!.. Отец всю жизнь наживал, а им бы только по ветру пустить.

— Ты читал в центральном органе статью «Людьми — значит, себе»? — грустно спросил Иван Степанович.

— Нет,— насторожился Митька.

— А почитал бы... Я тебя давно предупреждал... Не знаешь ты всего. Недопонимашь.

— Так они в кузове возят! И на бис вызывают! Горла не напасешься за так на бис петь!

— Ай-яй-яй! — покачал головой Иван Степанович и вышел.

— Ну вот! — закричал Митька братьям.— Говорил: сбиваете с толку! Не знаете ничего! Машина будет? Я сказала, что будет.

— Ладно. Если в кабинке,— поеду. Хрен с ним. Только уговор: на бис петь не стану! Хоть пол прочтите, не стану.

Мы вышли.

Я спросила председателя, что за статья в центральном органе.

— А ты думаешь, я читал? — ответил он.— У меня за две недели газеты лежат не читаны. Где оно, время-то?

И мы поехали к Денисовым.

У них живут мать без отца и шестеро дочек. Бабье царство, а в избе постели не прибраны, на полу трапки. Двери целый день настезь. По столу ходят куры.

Старшей дочери Денисовых лет тридцать. Она девушка, на лицо страшная, как война. Вдобавок злющая, все кидает. Болтали, что замуж она не вышла из-за имени.

Звать ее Фекла. Но у них ни одна дочка не нашла еще постоянного мужа, так что дело тут не в имени.

Вся семья отчаянная, бесшабашная. Как собираются вместе, так и давай лаяться и между собой и с матерью. А меньшие, двойняшки, хоть им и десяти

нету, довели учительницу до истерики. И понятно: отвечают одна за другую, а отличить их нет никакой возможности.

Когда мы вошли, мать гладила ворох белых халатов, Фекла в бигудях калила семечки, двойняшки перебирали картошку и баловались.

— А ты вроде похудела, мать! — весело зашумел Иван Степанович с порога.

— Похудела! — отозвалась хозяйка.— Восемьдесят кило было, девяносто осталось!

Иван Степанович спросил, где остальные дочки.

Мать сказала: на ферме.

— А Дарья?

— Шут ее знает, где ее носит. Загуливает, язва! Они у меня все бедовые, с молошных зубов гуляют.

— Чего ж ты ее ругаешь? В мамку! — смеялся председатель.— Небось, и сама обожала, когда тебе мужики пятки чесали.

— А я и сейчас обожаю. Мой сезон еще не прошел!

Она звонко расхохоталась, большая, здоровая, загорелая, как шоколадина.

— При детях не совестно,— проворчала Фекла.— Какая вы, мама, право, чудачка аморальная!

— А кому вы нужны, моральные? — весело отозвалась мать.

За переборкой пугалась и хлопала крыльями курица.

Я поняла, что Дарья прячется там, и только подумала, как ее выманить, а председатель уже закричал:

— Дон сна где! А ну — на выход!

Дарья появилась в сережках с подвесочками, в красных хороших сапожках. Среди дня наладилась на свидание.

Лицо у нее было пухлое, как колобок, глаза узкие, сонные.

Она сердито пнула курицу сапожком и сказала:

— Петь не поеду, хоть зарежьто.

— Не поедешь — скидай сапоги,— припугнул председатель.

— А пожалуйста... Мама, вас что, на коленях упрашивать, чтобы вы платок погладили? Мне же идти!

— У тебя тут,— председатель кивнул на ее пышные груди,— совесть есть?

— А вы пощупайте,— предложила Дарья.

Мать взвизгнула и захохотала.

— Небось, к павильону собралась? Шоферов улавливать?

— А вы, товарищ председатель, обеспечьте постоянного ухажера, не стану улавливать. Полные сутки петь буду.

— Ты на бюро обещала не бросать хор,— напомнила я.

— На словах она тебе на борону сядет,— смеялась мать, отглаживая яркий фестивальный платок.— Ей недосуг! Днем на ферме, вечером целоваться идти.

— А вам, мама, завидно,— сказала Дарья.

— Нешто не завидно! — откликнулась мать.

— Дура,— сказал Иван Степанович.— Гляди, сбалуешься. Какой тебе прок, когда у тебя каждый день другой водитель? Смотри, он тебя доведет!..

— Обожди-ка, Иван Степанович,— остановила его мать.— Обожди похабничать. Лина идет.

Третья дочь, Лина, на ходу скидая кофту, быстро прошла за перегородку. Потом вышла в халатике, стала пудриться.

И мать и Дарья перестали шутковать, а глядели на нее с нежностью и грустью. И двойчата притихли.

— Ну, чего вылупились? — капризно спросила Лина.

— К нему? — спросила мать уважительно.

— А к кому же? — Она вдруг улыбнулась, будто солнышко из тучки. — Мочи нет, стосковалась. С мая не виделись. Все работа и работа, шут бы ее взяла...

— Значит, хороший человек, если стосковалась.

— Уж какой хороший! Целовать не на смелится. В ручку чмокает — и все...

— Где же вы стоите? — спросила мать.

— На бережке или в роще. Цветочки объясняет, травки разные, от каких болезней. Малина — от простуды, зверобой — от живота, ландыш — от сердечного волнения.

Сестры слушали с завистью.

— И подуться нечем! — закапризничала Лина. — Сколько просить: купите «Белую сирень».

Фекла отомкнула свой личный сундучок и достала граненый флакон.

— Чего же ты духи прячешь? — спросила Лина. — Ровно Плюшкин.

— На всех не напасешься.

— Платок-то у тебя сиротский, — сказала Дарья. — Не к лицу. Бери мой. Хочешь?

— Давай! Надо бы за первотелками Марьи Павловны поглядеть.

— Я сбегая, — сказала Фекла. — Иди уж. И гостинца ему снеси.

Она подала сестре кулек семечек.

Лина вышла, и все смотрели в окно, как она вышагивает по тропке в красивом фестивальном платке, в белой кофточке под ремешок.

— Полетела к своему залеточке, — проговорила мать нежно. — Так у них хорошо! Так по-чистому!.. Ах, как хорошо! — И, вернувшись к уюту, добавила: — Залетка-то живет на кордоне, а каждый раз провожает.

— Доведет до околицы, а дальше идти не смеет, — задумчиво сказала Дарья. — Станет и стоит. Любуется на ее походочку.

— Ну вот, — сказал председатель. — Любовь — штука обоюдная. Вот поедешь с хором...

— Сказала, не поеду, — значит, не поеду.

— Не перебивай! Мы тебя в центре поставим, в первый ряд, на самую середину. Встанешь в лентах, в красных сапожках. Неужели ни один не позарится? Барышня сочная. Вон какой ромштекс! — Он шлепнул ее. Она взвизгнула и засмеялась. — А на тебя глядят скульпторы, полковники...

— Да они все женатые...

— То-то и дело, что нет! Семьдесят три процента холостых и разведенных. Возле павильона все тебя знают. Ты там все одно, что бюст Тургенева. А в доме отдыха — другое дело. Там ты артистка.

— Не поеду! — сказала Дарья нерешительно.

— Смотри, останешься на семена, как Феклуша.

— Слушай, Дарья, — сказала мать. — Тебе дело говорят.

— Да вы-то хоть молчите, мама. — Дарья сморщила облупленный носик и спросила: — А верно, меня на виду поставят? Не зря говорите?

Председатель взглянул на нее, скривился и сказал:

— Поставим, поставим.

Дело и тут было сделано. И Иван Степанович, входя, сказал весело:

— А не хочешь — не езжай. Плакать не станем.

Таню Рудакову мы застали во дворе. Она развешивала белье: хлориновое исподнее мужа, свое рванье, ребячьи выцветшие трусики.

Недавно Тане сравнялось двадцать четыре года. А муж Авдой Андреич много старше. Сколько я

себя помню, он бессменно работает счетоводом. От первой жены остался у него дошкольник Ефимка. С ним Тане и приходится воевать.

Девчонкой Таня была звонкая, заводная. А как свадьбу сыграла, будто удивилась. Стала тихая, как гармошка в футляре. Вот что значит выходить за чужого мужа.

Иван Степанович подошел к Тане и спросил:

— Отдохнула?

Она молча развешивала белье.

— Тебя спрашивают или нет?

Таня опустила голову и стала тереть фартук мокрыми руками. Была она длинная, тощая и плоская.

— С хором поедешь?

— Не знаю.

— А кто знает?

Таня помолчала немного и сказала тихо:

— Хозяин не пустит.

В это время хлопнула дверь, и на крыльцо выбежал Авдей Андреич, в валенках и в галстук, прикрепленном к сорочке скрепкой для бумаг. Был он небритый, и волосы, наполовину черные, наполовину седые — как говорят, соль с перцем, — торчали у него во все стороны.

— Танька! — закукарекал он. — К вечеру луковичку испеки! Мозоли сводить буду! — Он вынул часы, щелкнул крышкой. — К семи давай!

На Ивана Степановича он и не поглядел, будто его не было.

— Вечером ей некогда, Авдей Андреич, — сказал председатель, — вечером ей с хором ехать.

Он ничего не ответил, бросился в избу и стал бегать по дому, хлопая дверьми. Сердился.

Немного обождав, мы прошли в горницу, которая у них называлась «зал». В зале висел портрет Ворошилова в тяжелой раме. На столе, выдвинутом погородскому, на середину, лежали штабеля бумаг и подшивок. Рудаков готовился к полугодовому отчету.

Похлопав дверьми, Авдей Андреич внезапно выскочил со стороны кухни и, не успев Иван Степанович открыть рот, закричал:

— В мае на фабрику ездили! Дунька воротилась без пяти одиннадцать, а моя — в одиннадцать сорок! — Он выхватил из кармана часы и щелкнул крышкой. — Где сорок пять минут была? Гуляла? Молчи!

— Обожди, Авдей... — начал было председатель.

— Пришла, губы распухлые, как у трубача! Что она там, на трубе играла? Из Москвы со смотра воротилась — от волос табаком несет. Дорогими папиросами.

Председатель снова попробовал прорваться в разговор, но и на этот раз не вышло.

— Вы что, из моей бабы обратно девку хотите сотворить? Вот вам!..

Он снова побежал сердиться, и снова вся изба затряслась от хлопающих дверей.

— Шли бы вы, — сказала Таня. — Ничего у вас не выйдет.

— Почему не выйдет? — усмехнулся председатель и сел на стул. — Очень даже выйдет. Добывай из укладки красные сапожки.

Авдей Андреич, постучав дверьми, немного отвел душу, уселся к своим бумагам и начал стрелять на счетах. Председатель поглядел, как стучат и бешено крутятся костяшки, и спросил:

— Долго ты намерен общественную работу разваливать?

Хозяин не отвечал, будто никого тут не было.

— Общественную работу разваливаешь — это раз.



Равноправия не признаешь — два. Ты что? Против закона?

— Я законы лучше твоего знаю,— сказал хозяин, придерживая цифру пальцем так крепко, словно боялся, что она уползет.— Жена она мне или кто?

— То-то и есть, что жена. Поэтому должен дать ей возможность повеселиться. Не век же ей на латаные валенки глядеть.

— На валенки? На латаные? — Авдей Андреич рванулся со стула, не выпуская, впрочем, цифры из-под пальца.— Это как понимать?

— Так и понимать. Ты пожил, погулял. Старый. А она молодая, румяная. И спеть ей охота и потанцевать.

— Молдая... Старый... Валенки латаны... — Авдей Андреич извивался от ехидства и вредности, припаянный пальцем к цифре.— А вы ее там поддуряните? Ленточки на нее повесите?

— Надо будет — повесим.

— Да я в этих валенках десяти председателям отслужил! — закричал вдруг Авдей.— Десяти отслужил и тебя переживу!

Он выбежал через кухню, погромыхал дверьми и прибежал через спальню.

— Я еще твоими костями в бабки играть буду! Равноправие, общественная работа! Заморочили людей голову!

— Это кто заморочил? — спросил председатель.— Советская власть?

— Все вы хороши!

— Ну, если так, тогда, конечно, говорить нам с вами не об чем.

Иван Степанович встал и принял положение «смирно».

— Давно я наблюдаю за вами, Рудаков. Ночная у вас душа. Власть его не устраивает!

Как только председатель назвал его по фамилии и на вы, Авдей Андреич страшно перепугался.

— Ты мне контру не шей! — закукарекал он.— Сейчас культа нету! Она там где-то будет петь, а ты сиди, переживай!

Мы вышли во двор, а из зала доносился крик:

— А ты чего встала? Чего молчишь? Тебя зовут или меня? Твое дело, не мое!

Мы остановились. На крыльцо вышла Таня.

— Ну? — спросил председатель.

— Не поеду я, Иван Степанович.

— Да ты что? — Она молчала, пригорюнившись, перебирая красными руками фартук.— С ним бился, теперь с тобой?

— Жалко,— тихо сказала Таня.

— Чего тебе жалко?

— Авдеюшку... Зачем же за валенки над ним смеяться? У него ревматизм. На ногах шишки. А вы смеетесь. Он в войну застудился. Нехорошо, Иван Степанович.— Таня оглянулась на дверь с опаской и подошла ближе.— Когда я петь уезжаю, он на картах гадает про меня... Правда. Ефимка видал.

— Тогда так,— сказал председатель.— Бери с собой Ефимку. Пускай он глядит за твоим поведением. Заместо шпиона.

— А можно?

— Дам указание.

Когда мы сядились в машину, по всему дому Рудаковых хлопали двери.

Следующей была Маргарита Сизова. У нее отец — водитель электровоза. А мать, Мария Павловна, лежит больная. Хворь схватила ее еще осенью, но она долго скрывалась от докторов. Зимой нашли ее без памяти на ферме. Отправили в больницу. Стали резать, ничего не вырезали, зашили и отправили домой.

Муки довели Марию Павловну до того, что она лечится любимыми порошками и любимым снадобьем, какое посоветуют. И никому не секрет, что жизни в ней осталось мало.

Рыжая, красивая Маргаритка встретила нас на улице с заплаканными глазами. Ночью матери было совсем плохо, а отец, как на грех, в рейсе.

Председатель не решился ругать Маргаритку. Он еще на пороге снял кепку и вошел, как в церковь. Мария Павловна лежала высоко, в мужской сорочке с воротничком. Я тихонько подняла ее руку, пожалала и так же тихонько положила на стеганое одеяло, на прежнее место. Ой, какая легкая ручка! Ученые со считали: чтобы надоить один килограмм молока, надо сто раз сжать и разжать пальцы. Попробуйте сами, легко ли сжимать кулак сто раз подряд. А у Марьи Павловны было двенадцать коров, и давали они не меньше ведра каждая. Просидела она под коровами полжизни, и, пока не ввели «елочку», Марии Павловне приходилось сжимать и разжимать кулаки самое малое пятнадцать тысяч раз в день. Однажды, поспорив в шутку с командировочным, она сдавила ему руку так, что он присел до земли и целый день потом шевелил пальцами, будто натягивал перчатку. Так же у нее выработалась железная кисть. И вот теперь эта рука лежала на одеяле, легкая, как перышко. С лица Марии Павловны сошел багровый загар, стало оно чужое, перламутровое. Только синие глаза, как всегда, молодые, милые, поблескивали, словно васильки после дождя.

Марья Павловна обрадовалась, что зашли проведать, затрепетала вся:

— Сейчас я вам... Самоварчик сейчас... На стол соберу... Я сейчас...

— Да ты что! — кинулась к ней Маргарита, видя, что мать всерьез собирается подниматься.— Лежи! Сама уважу!

— Да что ж это такое!... — Хозяйке было ужасно совестно лежать при гостях.— Ты сперва постели скатерку-то, Риточка, да не эту! Ту, которую отец из Харькова привез. Да стол оботри. Крошки там, молоко, мало ли... Не так ты все делаешь, дочка.— Она снова попыталась встать, но мы ее удержали.

— Ложи, Маруся! — сказал Иван Степанович.— Поправишься, тогда будем чай гонять.

— С вами поправишься! Мне бы коровушку подоить или так что-нибудь поделать, и сразу станет легче. Вся хворь выскочит. Глупенькие вы,— продолжала она покорно.— Говорила, не надо в больницу, нет, повезли... Линка-то с первотелочками справляется? Уважают они ее?

— Уважают. Да у Линки ухватка не та. Аврора, бывает, капризничает.

— Аврора — известная привередница. Стиляга... Вчерась стадо гнали, встала тут возле окна и мычит. На Линку ябедничает. Насилу согнали... Что затужил, Иван Степанович? Невесело тебе с хворой бабой?

— Умаялся, Маруся.

— Как не умяться? Сколько делов.

— Сегодня просыпаюсь, гляжу, в сапогах. А на часах уже шесть утра. Представляешь? всю ночь обутый проспал. Хотел газеты проглядеть — три речи еще не читаны,— да вот, с утра гоняю...

— Вон зеленый какой! Тебе бы прилечь.

— Хватит. В бригадиры буду проситься или в кладовщики.

Иван Степанович накрыл глаза рукой, уронил голову и словно задремал.

Мария Павловна взяла бумажку, написанную под копирку, и, лукаво взглянув на председателя, стала читать: «На аспиде и василиска наступиша и попереши льса и змея».

— Чего, чего? — встрепенулся председатель, но спохватился и снова принял измученную позу.

В избе было сыровато после дождя, промозгло. Чтобы белье не плесневело, все ящики в комоды были чуть выдвинуты, а все дверцы в гардеробе чуть приоткрыты. Ритка сказала, что надо бы протопить, да дров нет. А на зеркале уже темные пятна.

— Зашла бы в правление. Председатель выпишет.

— Да к нему разве проберешься? Возле него всегда цельная стена народа.

— Попроси сейчас.

— Дайте отдохнуть человеку, бессовестные! — зашептала Мария Павловна. — Вон ведь как укатался!

Я сказала, что он переживает: девчат надо собрать на шефский концерт, а они не едут.

— Батюшки! Кто да кто?

— В частности, твоя рыжая, — сказал председатель, но спохватился и принял позу.

— Да ты что, Рита?

— Как же я от тебя поеду? Я уеду, а ты на форму побежишь.

— Куда уж мне бегать! Поезжай, Риточка. Неужели поплзаться неохота? Я, бызало, где бы ни была, что бы ни делала, а гармошку услышу, сейчас каблучками подыграю. Нипочем было не удержать... И не жаль тебе председателя? Вишь, до чего довели, сомлел совсем...

— Ладно, поеду, — сказала Маргарита. — Только лежи гляди.

Иван Степанович вскочил, будто того и ждал.

— Чего это ты читала? — Глаза его сверкали от любопытства.

— Тоже сладобье, только божественное. Таисья принесла.

— Шуганула бы ты ее.

Он схватил бумажку и пропел по-поповски:

— «Не придет к тебе зло и рана не приблизится телеси твоему».

Мария Павловна принялась было смеяться, но завела глаза и застонала. Смеяться ей было больно.

— Велела раз в день читать, — проговорила ослабевшим голосом. — А я ей: от меня молитву боженька не примет. Я комсоргом была. «Тогда, — гозорит, — читай два раза в день».

А председатель уже не слушал ее и кричал в дверях:

— Поехали в Закусихино! А ты, рыжая, давай собирайся!

В Закусихине живет Лариса Расторгуева, после Груни — лучшая наша певица.

Отец Ларисы пропал на войне, и, как память о нем, на стене висит дорогая двустволка, которую мать, Анна Даниловна, сберегла в голодные военные годы.

Лариса лежала на никелированной кровати, отвернувшись к стенке. Анна Даниловна, нацелив очки, вышивала. Она, как прибежит с птицефермы, так и кидается либо полы скоблить, либо печку белить, либо вышивать скатерки, которых и так в избе видимо-невидимо.

Иван Степанович вежливо поздоровался и сел.

— Здравствуйте, — тихо сказала хозяйка. — Нельзя Лариске ехать. Спину у ней ломит. Умаялась.

— Если нужно, значит, можно, — сказал председатель. — Вы мать. Надо уговорить.

— Как же я стану ваши приказы отменять? — возразила Анна Даниловна мягко.

— А вы не шутите. Шутить не время. Не первый май.

— Разве я шучу? — Она сняла очки и внимательно посмотрела на председателя. — Вы же сами обещали девочкам сегодня отгул. Они вчерась на колени

как пололи. Зачем же народ обманывать? Некрасиво. Один раз обманешь, другой обманешь, а на третий правду скажи — все равно не поверят.

— Выбирай выражения, — прервал ее Иван Степанович.

— А зачем выбирать? — спросила она, считая иголкой стежки. Она говорила с председателем без всякого поклонения, как с каким-нибудь рядовым колхозником. А Иван Степанович привык и не обижался. Анна Даниловна со всеми такая.

— Полоть кончили? — спросила она.

— Кончили... Что я ее — на кукурузу гоною? В хору петь — одно удозольствие и развитие грудной клетки.

— А отдыхать когда?! — обернулась верхней половиной тела гибкая сероглазая Лариса. — Ни кино, ни танцев. Вовсе культуры не видим.

— Тебе культуры мало? Целый день радио тебе играет, а ты его и чуть перестала. Дорогу тебе асфальтом залили, автобус тебе пустили, а ты — как будто так и надо! Бюст писателя Тургенева возволи, чтобы ты вспоминала, каких людей создает наша земля, да к ним бы подравнивалась и не срывала бы мероприятий.

— Памятник хороший, — вздохнула Анна Даниловна. — Приятный. Беленький.

— Миллионы вкладывают в культуру. А где наша благодарность? Где наша отдача? Нас окружают вниманием и заботой, бюсты нам возводят, а мы на койках разлагаемся...

— А за горюшкой, в ельнике, оленя поставили! — сказала Лариса, позабывшись. — Как живой стоит на камушке. Словно из леса выбежал и принюхивается... Надумают же!

— В чем Иван Степанович прав, так это в том, что заботы об нас много, а мы се плохо ценим и быстро привыкаем к хорошему, — сказала Анна Даниловна. — Спина все гудит, доченька?

— Учить их надо! — проговорила Лариса, поняв, к чему вопрос. — Кто их за язык дергал выходной объявлять?

— Ну ладно, он ошибся, его одного и проучишь. А других зачем обижать? Люди там не хуже нас с тобой. Им, видать, скучно.

— Правильно! — подхватил Иван Степанович. — Там, я слышал, художник отдыхает, который претворил этого оленя!

Анна Даниловна сняла очки и с укором поглядела на председателя.

— А что? Вполне возможно... — И он немного смутился.

Лариска встала, ладная, статная, и не пошла, а поплыла к зеркалу, словно у нее на голове стакан с водой.

— Ты у нас не командировочный, Иван Степанович, — сказала хозяйка. — Никакого смысла тебе нас обманывать нет.

Председатель спорить не стал.

Дунув широкой юбкой, Лариска быстро пошла умываться. В дверях сказала:

— Хотя бы нашелся дурачок: взял бы замуж да увез куда-нибудь!

Мы вышли на улицу и сели в «Москвича».

Иван Степанович положил руку на рычаг и опустил голову.

— Ну, всех собрала? — спросил он.

— Всех.

— А все-таки самого лучшего артиста вы проглядели, — сказал он.

Я спросила, кого он имеет в виду, но он не ответил. Лицо у него было серое, бугристое. Он был унылый и злой на себя.

— Чего сидишь? Вылазь. В Евсюковку поеду. Старах агитировать картошку разбирать.

Я вышла.

— Да, вот что! — крикнул он из окошка. — Одно дело: беги на свиноферму и первую машину с дрoвами, какую увидишь, поворачи к Сизовым. Другое дело: сбегай к Анне Даниловне и накажи ей: пусть печку Маруське протопит и переночует у них. Претворяй!



Дом отдыха в нашем районе богатый, всесоюзного значения, с крутящейся дверью. Под пальмой сидит дежурная, глядит, кто ходит.

У дежурной свой стол, на столе телефон и высокая лампа на подставке из ценного камня малахита, с бронзовой стойкой, оформленной под вид соснового ствола. Ствол как живой: и кора облуплена, и сучки, и в довершение всего по стволу забирается бронзовый мишка. Тут же бронзовая чернильница в форме гнилого пня, возле него на малахитовой травке спит медведица, и пресс для промокания чернил, с бронзовым медвежонком вместо ручки. Говорят, была еще и пепельница с мишкой, подающим спички, но ее унес кто-то из отдыхающих.

На всех трех этажах размещаются гостиные, приятно оформленные наглядной агитацией. На бархатных панелях прибиты золотые буквы, призывающие отдыхающих к упорному труду. Всюду порядок, вывешены таблички: «Гасите свет». Пастухов ничего этого не видел, глядеть не пожелал. Как привез хор, так и остался дрыхнуть в кабинке под предлогом, что могут стащить запасное колесо.

Встали мы на сцене, как всегда, в три шеренги. Первые два ряда — девчата, сзади на стульях — юноши. Дарью, как обещали, поставили в середину.

Если не считать меня да еще трех-четырех «старожилков», девчонки в хору как на подбор — восемнадцать и девятнадцать лет. Иван Степанович, бывало, поглядит, когда мы сольемся на сцене, в одинаковых, расшитых платьях да в кокошниках, и засмеется: ровно винтовки образца сорок первого года...

По какой причине был урожай на девчат в сорок первом году, неизвестно. Говорят, в тот год на солнце выступили пятна. Может, от этого...

Поднялся занавес. На нас смотрят. Нам хлопают. И мы уже не мы, а артисты — стоим в три ряда, а впереди, на стуле, наш замечательный дядя Леня, душа нашего хора, наша надежная защита. Сидит он в черных очках, положив на колено платочек под свой знаменитый баян, и думает.

Он всегда о чем-нибудь думает, дядя Леня.

— Можно объявлять? — спросила Лариса тихо.

— Обожди, — сказал дядя Леня. — Пусть сядут. Сзади места пустые.

Когда дядя Леня говорит, — кажется, что все видит. А на самом-то деле он слепой. Совершенно слепой, как осенняя ночь...

Культурник жалуется: загонять народ на мероприятие — дело сложное. Во-первых, городские всего повидали, капризничают и требуют чуть не Тамару Макарову. А потом среди отдыхающих в настоящее время оказались руководящие товарищи, и отвлечь их от пульки нет никакой возможности.

Начали с опозданием против афиши на полчаса. Лариса выплыла на середину и объявила песню.

Сперва слушали плохо, шумели, ходили туда-сюда. На втором куплете подошел солидный дяденька в талках, видно, заслуженный дяденька: ему приставили кресло в первом ряду. Он долго крутился на своем кресле, дышал на очки, оттирал их пижамой, наконец нацепил на нос и стал угрюмо глядеть на Ларису.

Потом пришел еще один полный дяденька. Этот был еще заслуженнее, потому что тот, что в пижаме, сказал ему уважение: уступил кресло, а сам согнал какую-то тетку и сел рядом на стул. Они побеседовали немного и стали глядеть на Ларису оба.

Народ постепенно подходил. А когда мы запели нашу коронную «чеботоуху», где продергиваются, невзирая на лица, наши нерадивые колхозники, когда вслед за припевом:

Разлюбила? Разлюбила.
Так и полагается.
За такого выходить —
После будешь каяться, —

когда вслед за этим припевом будто какая-то нечистая сила подымала Ларису и несла над сценой и она едва доставала пола, чтобы подыграть мотиву красными каблукками, — людей набилось столько, что мест не хватало, и опоздавшим, среди которых были шеф-повар и технички, пришлось толпиться в дверях.

Лариса объявила «Одуванчики». Эта песня наша собственная, самодельная: музыку наиграл дядя Леня, а уж по его музыке как-то сами собой подобрались слова.

Песню эту особенно любила покойница Груня. За исполнение ее Груня была отмечена в Москве: ее записали на пленку и передавали по радио.

Начинает один женский голос. Потом, словно прислушиваясь и привыкая, постепенно вовлекаются подголоски. Каждый пристраивается на свой лад и по-своему, и вот уже поет весь хор, громко, в одну душу, и вдруг на середине куплета, где вовсе этого не ждешь, голоса срываются почти на нет, парни смолкают совсем, а девчата тянут тихо-хонько сквозь сомкнутые губы.

Некоторые думают, песня вся, и начинают хлопать... Вот и сейчас кто-то захлопал. Я глянула в ту сторону и увидела в четвертом ряду кондукторшу с автобуса-экспресса.

Сосед остановил ее. Она перепугалась и спрятала руки за спину. А соседом ее был Игорь Тимофеевич. Он сидел, положив руку на спинку ее стула, и, когда мы с Ларисой запели «Поляночку», кивнул на меня и стал что-то объяснять ей на ухо, а она счастливо улыбалась своими полненькими губками...

Она не сразу почувствовала, что рука Игоря Тимофеевича сползла со спинки стула и легла на ее плечо. А когда почувствовала, — испугалась. Что делать? Вижу, не слушает и на Игоря Тимофеевича не смотрит. Смотрит только на длинную белую руку. А рука тянется все ниже и ниже, ниже комсомольского значка, и, кажется, становится все длиннее и длиннее. Кондукторша смотрит на нее, как на змею, и не понимает, как реагировать. Поглядела на Игоря Тимофеевича, хотела с ним посоветоваться, но он слушал песню до того внимательно, что неудобно было его отвлекать. А рука все лезет и лезет...

Песня кончилась. Захлопали. И два заслуженных дяденьки похлопали немного, как из президиума. И Игорева рука тоже ухитрилась похлопать, не переставая, впрочем, обнимать девушку.

Запели «У бережка». А кондукторша оглядывается, смущается, готова провалиться. Не понимает, дуручка, что из рядов на нее никто внимания не обращает.

Наконец она насмелилась и стала что-то говорить Игорю Тимофеевичу. Он удивился, показал глазами на сцену: слушай, мол, не отвлекайся. Она все же упрямилась и в конце концов сняла с себя его руку.

Мы пропели куплеты. Девушка испуганно косилась на Игоря Тимофеевича. Он молча слушал. Она что-то сказала. Он не ответил. Она стала говорить часто, а он не обращал внимания. Тогда она взяла в свои маленькие ладошки белую кисть и, отвернувшись, стала робко сжимать его пальцы. Он все молчал. Тогда она стала шептать ему на ухо — вроде оправдываться. Потом, виновато выпятив губки, попыталась заплетать его длинные пальцы, как косу. Он раздраженно отдернул руку.

Тогда она вскочила, хлопнула откидным сиденьем, и, не обращая внимания на шиканье, топоча по проходу каблучками, выбежала из зала.

Игорь Тимофеевич оглянулся по сторонам и сделал вид, что его не касается. Но все-таки не дотерпел до конца и, тихонько колыхаясь на цыпочках, пошел к выходу.

Как только концерт кончился, дядю Леню, а с ним и девчат по традиции потащили на угощение. Одних культурник пригласил персонально, другие пошли так.

По пути спохватились, что меня нету, стали звать на разные голоса. Горланят, как оглашенные, дозываются. И не потому, что я им больно нужна, а просто так положено, чтобы я куклой сидела в середине.

Я притаилась и не пошла. Круглая луна висела низко и светила, как матовый фонарь. Все было видно: каждый листочек, каждую галечку. Даже воздух под луной стало видно.

Дом отдыха стоял на пологом склоне, недалеко от реки. На эту сторону выходила открытая терраса, огороженная длинной балюстрадой и плоскими цементными вазами. От террасы до самого берега, кое-где перехлестываясь, между стриженной акацией и ухоженной травкой тянулись узкие, в два следа, торные дорожки.

Я прошла немного, села на прохладную лавочку. У берега в камышах тихонько ворковали лягушки. А на том конце парка, в столовке, гремела посуда, смеялись, и наши девчата запевали совместно с отдыхающими.

— Неужели, Тамара, ты испугалась? — слышался настойчивый голос на соседней тропке.

— Конечно, испугалась...

Я сразу поняла: Игорь Тимофеевич нашел кондукторшу.

— Неужели я такой, что меня нужно бояться? — попытывался он.

Девушка молчала.

— Тебя ни разу не обнимали?

— Почему не обнимали? Обнимали.

— Ну вот.

— Это было просто так. Чепуха. Мальчики.

— Ясно. Мальчикам можно, а мне нельзя.

— Да. Вам нельзя.

С минуту ничего не было слышно.

— Какая луна! А? — сказала Тамара где-то совсем близко. И, подождав немного, добавила: — Не сердитесь. Правда, вам нельзя.

— Почему?

— Вы знаете почему. Потому что... потому что я вас люблю. Очень.

Я поднялась и пошла. В середине парка возвышался полированный гранитный пьедестал со снятыми буквами. На нем стояла бронзовая ваза. У черного хода столовой терпеливо сидели четыре собаки. Возле мастерских блестела, как облитая, гора каменного угля. Там же ждала наша машина.

Я забралась в кабинку.

Пастухов спал сильным сном, положив голову на баранку, и не услышал, как я привалилась к нему.

А в столовой поют во всю мочь, стараются, кто кого перекричит. Эта обедня на час, не меньше.

Только придремалась — снова голоса. Никакого покоя нет.

— Обожаю народные песни, — приговаривал Игорь Тимофеевич ласково и тихо. — Запах сена всегда напоминает мне детство, деревню... Так и хорошая песня... Когда Лариса запела...

— Вам нравится Лариса? — слышался голос Тамары.

— Что ты... Когда она запела, — вспомнил июнь, сорок первый год, скачу по улице мальчонкой и кричу: «Ура! Красота! Война с фашистом!» Отец поймал, излупил, как сидорову козу.

— А меня папа никогда не бьет. Никогда. — Тамара вздохнула. — Наверное, ждет, у ворот сидит. Курит... Лучше я все-таки побегу на электричку.

— Да вот грузовик. Сейчас все придут, и поедешь в кабинке до самого шоссе. А там — на автобус. Тебе грустно?

— Немного.

— Полковник прав.

— Какой полковник?

— Мой сожитель. Он сделал вывод: люди не ценят настоящего, потому что слишком много ждут от будущего. И правда. Особенно девчата. Лет до тридцати живут будущим, после тридцати — прошлым. Вот ты грустишь. А сегодня у нас с тобой большущий праздник, если вдуматься... Это случается так редко! Как выигрыш в сто тысяч.

— Редко? — Тамара удивилась. — Нет, это бывает один раз в жизни. Только один раз. Разве бы я поехала сюда когда-нибудь, не спросившись у папы? А теперь — все равно.

— Дома достанется?

— Ну и пусть. Может, мне приятно, что достанется.

— Можно, я тебя поцелую?

Некоторое время ничего не было слышно. Потом Игорь Тимофеевич сказал:

— Ты еще и целоваться не умеешь, звездочка моя.

— Сами вы не умеете. Еще как умею!.. А где сумочка?

— Я снес ее к себе. Пойдем возьмем.

— Поздно. Ваш полковник, может быть, лег.

— Полковника нет. Он ушел на пулю. До утра. Пойдем.

— Давайте не будем об этом. Хорошо?

Пастухов громко всхрапнул, проснулся и стал озираться.

— Ты боишься меня? — спросил Игорь Тимофеевич.

Тамара промолчала.

— Ведь мы с тобой одно. Понимаешь? Одно целое. Тебе кажется, Лариса красивая. А мне она не годится, не подходит, что ли... Ну как бы понаглядишь... — Он стал шарить в карманах и вытащил скотканый рубль. — Вот. — Он расправил рубль на ладони и разорвал его на две косые половинки.

— Ой! — вскрикнула Тамара. — Что вы делаете?

— Если приложить половинку чужого рубля, — медленно объяснил Игорь Тимофеевич, — контуры не сойдутся, хотя все рубли одинаковы. Только одна половинка, твоя, точно подходит к моей. Понятно?

Тамара кивала радостно и часто.

— Спрячь свою половинку. А я буду хранить свою. Пока они с нами, мы будем всегда вместе.

Пастухов, хлопая глазами, глядел из окна кабины.
— Пойдем,— сказал Игорь Тимофеевич и потянул Тамару за руку.

— Ну, пожалуйста... Ну, не нужно... Ну, пожалуйста.

Он все тянул.

У Тамары расстегнулась кофточка.

— Что вы делаете! — крикнула она. — Пустите! А то я больше никогда, никогда не приду!

Пастухов вышел из кабинки и встал на виду, запустив наполовину кулаки в карманы узких, как перчатки, штанов. Игорь Тимофеевич не замечал его.

Он протащил Тамару мимо кучи угля, и они остановились на голой площадке.

— А ты, оказывается, глупая,— сказал Игорь Тимофеевич.

— Да, да, глупая!.. Ничего не знаю... Что можно, чего нельзя — ничего, ничего не знаю. И себя не знаю. Как будто это не я сейчас, а кто-то чужой-чужужой...

Девчонка совсем растерялась. Она попросовала застегнуть блузку, но ее дрсжащие пальцы не умели совладать с частыми пуговками. Она махнула рукой и стояла так, нараспашку, ломая пальчики.

— Ну, хорошо. Успокойся.— Игорю Тимофеевичу стало жалко девушку.— Поцелуй меня.

— Пустите, пожалуйста! — попросила она жалбно.

— Что за упрямство? — мягко говорил Игорь Тимофеевич.— Ведь мы уже...

Тут он увидел Пастухова. И стал говорить громко, как в телефон:

— На этой машине вы и поедете! Гораздо быстрее, чем на элскричке...

— Отойдите от нее,— сказал Пастухов издали.

Тамара оглянулась. Некоторое время все трое стояли, вылипив друг на друга глаза.

Пастухов, видно, считал, что девушка обрадуется его заступничеству. Но получилось наоборот. Тамара заслонила Игоря Тимофеевича и сердито промолвила:

— А тебе что за дело? — Она прижалась к своему ухажеру и, угрожающе выпятив полные губки, добавила: — Ишь ты какой!

— Кто это? — спросил Игорь Тимофеевич.

Она пожала плечами.

Бригадир медленно, немного бочком, приближался к ним.

— Спокойно! — сказал Игорь Тимофеевич, непонятно кому — себе или Тамаре.

В это время послышался слитный говор девчат, и веселый Митька набросился на Игоря Тимофеевича с приветствиями и поцелуями.

— Игорюха! — кричал он в полном восторге.— Откуда свалился?! Это кто у тебя — жена? Нет? Ну ничего, ладно... Наш кореш, деревенский. За одной партиой сидели, казанками менялись! — порадовал он Тамару.— К нам едешь? Нет? Ну ничего, ладно!

Митька не давал человеку открыть рот, кидался на него, как полоумный, и за минуту выложил деревенские новости, в основном, конечно, про себя и про свой выдающийся тенор.

— Погоди, погоди, Митя.— Игорь Тимофеевич пытался отлепиться от него.— Тут девушку надо устроить. До шоссе подкинуть.

— Уважим! Витьке скажу — уважит! Ты не гляди на него, что он за баранкой. Он у нас вроде тебя — ученый, только с заскоками.

И Митька поведаль, как Пастухов задурил всем головы скоростной механизацией, чуть не спалил избу и угодил под суд. И все из-за своих скоростей — чудило.

— Не такой чудило, как тебе кажется,— улыбнулся Игорь Тимофеевич.— Скорость — философия нашего времени.

— Правильно! — круто поворотил Митька.— Мы с ним на пару боролись! Я чуть язык не прикусил! Все бы хорошо — с пахотой ничего не выходит. Чем быстрее гонишь, тем борозда хуже. То глубокая, то мелкая.

— Ничего страшного,— сказал Игорь Тимофеевич,— надо делать поправку на выкатывание. И только.

— Что, что? — подскочил Пастухов.

— Поправку на выкатывание,— любезно повторил он.— Хотите, изображу формулку? Есть карандашик?

Пастухов стал копаться в карманах. Игорь Тимофеевич, не теряя времени, терпеливо разъяснял, что динамическое выкатывание — явление, свойственное всем механизмам, с вращающимися частями, а Тамара с гордостью смотрела на него.

Как на грех ни бумажки, ни карандаша не нашлось. Народ подобрался не канцелярский. Девчата шумели в машине, торопили ехать.

— Давайте встретимся как-нибудь днем,— вежливо улыбнулся Игорь Тимофеевич.— Ну, хотя бы в субботу. Я вам охотно помогу.

— А мы уговорились в субботу на концерт,— печально напомнила Тамара.

Пастухов взглянул на нее зверем.

— Ах да, в субботу исключено. Совершенно исключено.

Игорь Тимофеевич побежал в комнату за сумочкой. Пастухов увязался следом.

Его удалось усадить за баранку только после того, как москвич твердо пообещал завтра к девяти часам утра прибыть на комсомольское поле.

— Все? — закричал Пастухов, включая стартер.

— Все,— лениво ответила Лариса из кузова.

Машина тронулась.

— Погодите,— сказал слепой дядя Леша,— Дарья нету.

Стали сигналить. Минут через пять она выбегла из темноты, забралась в кузов и притихла в уголке. Лариса брезгливо подвинулась, сказала: «Опахнись хоть»,— и мы поехали.

10

Рано утром вскочила, побегла за реку, глядеть кукурузное поле и расстроилась. Междурядья надо срочно рылхить: еще день-два, и трактор не сможет заехать на поле. А Лариска на работу опоздала — проспала: сама, мол, знаешь, сплю одна — будить некому. Солистка балованная, перерабатывать не любит. И фигуру сохраняет и механизмы. А у Митьки рассыпалась коробка передач. Прямо хоть караул кричи.

Поле нашей бригады лежит на уклоне; одним длинным краем тянется вдоль грейдера, другим краем упирается в реку — в прибрежный тальник да ракички. Ракички стоят у воды зеленой стеной, перепутавшись ветками, и не поймешь, чей где листочек. Как встали друг возле дружки, так и выросли, обнявшись. Среди листвы попадаются укромные лужайки, открытые на воду. Там купаться ловко: никто не видит, ровно купейные места.

Вышла на бережок, слышу за кустами крик:

— Я и культиватор пригнал! Диски приладил! Ничего риска! Цепляй, и поехали!



Гляжу, на травке загорает Игорь Тимофеевич, а возле него Пастухов машет руками, доказывает свою правоту.

Прислушалась, все одно и то же: председатель — ретроград, не позволяет перейти на четвертую скорость, не понимает, что на четвертой передаче усилие на крюке — девятьсот килограммов, а на рыхление нужно шестьсот от силы. На сегодняшний день в скоростях одно спасение: стебли вымахали на метр, завтра к междурядьям не подступиться.

Игорь Тимофеевич грелся на солнышке и слушал, закрыв глаза. Возле него лежала брошюра «Наш край» и на ней часы.

Человек он был ценный, с головы до ног засекреченный. И не только должности, но и адреса, где работает, не имел права никому объявлять.

Чтобы не создавалось ложного представления о нашем руководстве, я пояснила, что председатель категорически запретил самозольные забавы с техникой и издал приказ повсеместно работать на узаконенных скоростях. Сделано это в основном для пользы Пастухова, чтобы уберечь его от лишней неприятности. Кроме того, Лариса выделена наблюдать за правильной работой механизмов. А то у нас некоторые орлы, не буду называть фамилий, повадились на дизелях домой ездить.

Игорь Тимофеевич посмотрел на часы, повернулся на бок и сказал Пастухову:

— В одиночку вам этого дела не пробить. Сколотите небольшой коллектив.

— Да я старался. Все отлынивают.

— А вы обращались к самым чутким слоям населения — к девчатам?

— Они больше всех и смеются.

— А вы начинайте с малого. С одной. И имейте терпение. Прежде всего добейтесь, чтобы она поверила не в скоростную механизацию, а в вас лично.

— Э-э,— безнадежно махнул рукой Пастухов,— я лучше в ЦК буду жаловаться.

— Одно другому не мешает. Как только она станет вздыхать возле вас — дело, как говорится, в шляпе. Она станет верить во все, что вы захотите. Вы будете шептать: шестьсот килограммов на крюке,— а у нее сердечко закатится.

— Такая чудачка мне не подходит! Это не шутки, а ускоренный режим. Мне нужен помощник с характером.

— Когда она уверует в вас, вы позавидуете ее характеру. Это будет существо, преданное вам и вашим идеям. Она для вас каменные стены пробьет.

— А где найдешь такое существо? — Пастухов смущенно улыбнулся и украдкой посмотрел в мою сторону, дурачок.

Издали доносилось туканье пожилого трактора.

— Слышите? — спросил Игорь Тимофеевич.— Да, да, Расторгуева Лариса. Она вам что, не по вкусу?

— Да что вы! — отмахнулся Пастухов.— Она же приставлена наблюдать за механизмами.

А верно, как бы хорошо сбавить нашего Раскладушку на Ларису! Маюсь полмесяца и тем не менее не могу поручиться за его дальнейшее поведение. Извелась я с ним. Помню, убеждаю его в парке и чувствую, сама себе противна. Убеждаю, а самой охота, чтобы не слушался, чтобы возражал, спорил. Разозлилась я тогда и на него и на себя, вовсе нервы разыгрались... Ну его к шуту! Кому ни скажу, все обмирают: как это я решилась добровольно взвалить на себя такую ответственность! А Лариска — девчонка свободная, нагрузок особых нет, вот и пускай займется. Замуж за него ей идти, конечно, не обязательно, а удержать случаем от неразумных скоростей или от излишних высказываний в адрес руководства она вполне в состоянии.

— Скажите, Игорь Тимофеевич,— спросил Пастухов,— когда вы видите девушку, красивую, конечно, вас не останавливает мысль, что не может не быть человека, который любит ее?

— Да вам-то что за дело?

— Как что? Это же не прохожий, а человек, ко-

торый ей дорог! И лезть в чужие отношения, ломать их... Это что-то... Вроде воровства что-то.

— Вы, Пастухов, слишком застенчивы.

— Может быть.

— А конфузливость ваша оттого, что вы возбудимы выше нормы. Вас слишком волнует женский пол, вот вы и держите душу на тормозах. А бояться нечего. Налаживайте контакты с Расторгуевой! У меня бы давно трактора рысью бегали!

— Это верно! — сказал Пастухов.

Он решительно сорвал веточку, пошел в поле, но остановился на пути и стал жевать листочек.

— Ну, а после? — спросил он.

— После чего?

— Ну если образуются отношения... И она захочет все время.

— А! К тому времени вы прогремите на весь Союз, — отшутился Игорь Тимофеевич, — тогда ее придется, как в песенке, хоть пропить, хоть прогулять...

Пастухов стоял и обдумывал. Игорь Тимофеевич вздохнул:

— Вот что! Тут у меня два билета на субботу. Заслуженный артист проездом дает концерт. Берите и приглашайте Ларису.

Пастухов оглядел билеты с обеих сторон, как фальшивые, почитал, что написано. Потом дураковато ухмыльнулся и пошел.

— Давно он у вас? — поинтересовался Игорь Тимофеевич.

Я сказала, что около года.

— И ни одна его не зацепила?

— Нет... Бегала, правда, Грунька, да не поймешь, что у них было...

— Какая Грунька?

— Письмоносица наша, Офицерова. Закусихинская. Проездом ее зарезало.

Игорь Тимофеевич стал расспрашивать подробней.

Я напомнила ему, что за Слепухиным у нас существует Демкина горка. Там товарняки-тяжеловесы замедляют ход. Вот Грунька и повадилась цепляться за платформы. Особенно зимой: попутных машин не дожدهшься, а пешей в буран на почту бегать не больно охота. Вот она и цеплялась. У ней там приступочка была складена, чтобы ловчей прыгать. До почтового отделения доедет и на всем ходу в сугроб. Один раз с ней Митька увязался. Вскочить вскочил, а спрыгнуть струсил. И завезли его, раба божия, до самого Мценска. А там, небось, штраф содрали.

То ли мне показалось, то ли на самом деле Игорь Тимофеевич вроде бы растерялся. Кажется, он надумывал что-то уточнить, но не знал, как подступиться. Наконец как будто решился, но тут вернулся Пастухов, и убитый вид бригадира отвлек его.

Пастухов сел на траву и стал жевать былинку. Сидит, молчит, локти и колени торчат во все стороны — не парень, а противотанковое препятствие.

Игорь Тимофеевич переждал немного и, ничего не дождавшись, спросил, как дела.

— Буду в ЦК писать, — сказал Пастухов.

Видно, бригадир был недоволен своим заходом.

— А нос вешать рано, — сказал Игорь Тимофеевич. — Как вас встретили?

— Нормально. Проехал гонку.

— А она?

— Она спала на полянке... Шел на второй скорости. На крюке тысяча триста килограммов, а надо не больше шестисот. Комедия.

— Действительно, обхохочешься. На заслуженно-го идти договорились?

— Пойдет.

— Что значит пойдет? А вы?

— Она забрала оба билета. С мамой хочет.

Игорь Тимофеевич плюнул и стал натягивать брюки. Хотя улыбочка не сходила с его лица, было видно, что он рассердился.

— Я слушал этого артиста в Колонном зале. — Пастухов понял, что сморозил глупость, оправдывался: — Я не сразу билеты отдал. Сказал, что вы будете против.

Игорь Тимофеевич застыл, как журавль, на одной ноге.

— Вы сообщили ей, что это мои билеты? — спросил он. — Что я вам их дал?

— Ну да... А что, разве это имеет значение?

Игорь Тимофеевич туго подпоясался, расправил белый воротничок и мотнул головой.

— Пойдемте!

Пастухов поплелся за ним.

Ветерок едва подувал. Ивушка стояла, наклонившись к воде. Я огляделась и узнала место. Это была любимая лужайка Груни. И тальник, и желто-зеленые стволы осинки, и сучки на тонких стволах — пальчики. На один из них, вот на этот, Груня вешала свое платице и с разгону, по-мальчишечьи слетала в реку. Тихо тут, укромно. Ивушка сушит долгие косы. Грунька говорила: «До того здесь хорошо, что плакать охота». Укусит руку и плачет...

Что-то часто стала вспоминаться покойница Груня. Даже неприятно.

Я встала поглядеть, где Игорь Тимофеевич, но не успела сделать и шага, как прямо на меня откуда-то сбоку, из чащобы, как леший какой-то, выскочил Пастухов.

— Получается! — заорал он. — Я говорил, диски надо! Вот и получается!

И исчез снова.

Я выбегла на поле. Лариса весело вела трактор по ближней гонке, а рядом, подпрыгивая, бежал Пастухов. Он не шел, а именно бежал, потому что трактор двигался непривычно быстро, со скоростью свыше семи километров в час.

На дороге остановился чужой верховой, наверное, из колхоза «Красный борец» и, видно, удивлялся.

Рыхление было отличное, самый ученый агроном не нашел бы, с какого конца придраться. Игорь Тимофеевич засекал время — получилось, что за смену Лариса сделает полторы нормы.

— Да, — сказал он. — Дело серьезнее, чем я думал.

Лариса стала легонько подводить трактор назад, чтобы точнее направить в соседнюю гонку.

— Ты что! — заорал Пастухов благим матом. — Куда пятишься! Диски помнешь! Что у тебя, мозги засохли?

Она спрыгнула, подошла к Пастухову вплотную, обняла его, грязного, мокрого от пота, и крепко поцеловала в черные, пыльные губы.

Потом как ни в чем не бывало села и поехала.

— Осторожней! — кричал Пастухов, словно ничего не заметив.

Я наемкнула, что дело, видно, слажено. Вон как Лариса чмокнула бригадира при посторонних.

— Безнадежно! — Игорь Тимофеевич покачал головой. — Этот пылкий поцелуй означает одно: она его не признает за мужчину. Как же это так, с Офицеровой-то получилось?

— Мы предупреждали: добром такие шутки не кончатся. А она — ноль внимания. Вот и допрыгалась... Так, бедную, переломало, что не позволили гроб открыть перед захоронением.

Игорь Тимофеевич вздохнул и покачал головой.

II

Сегодня прибыл из города художник, привез эскизы оформления к юбилейному празднику. Оформление было богатое, с фантазией.

Над крыльцом правления запланирована большая фанерная цифра «30» и призыв: «Вперед, к новым успехам!». На каждой избе по карнизам хозяева в обязательном порядке должны навесить еловые лапки, перевитые красной сатиновой лентой, а на коньках — алые флажки. По обочинам, вдоль дороги, от околицы до самой школы выставляются большие, срисованные с карточек портреты славных уроженцев колхоза, знаменитых наших земляков. Над каждым портретом — условный знак, поясняющий, чем отличился данный товарищ: над Марией Павловной, например, рог, из которого сыплются овощи и фрукты, над Груней — лира, над Игорем Тимофеевичем — какой-то транспорт, над генералом — пушка. Правда, карточку генерала не нашли и решили срисовать его с похожей на него сестры — доярки.

Оформление всем понравилось. Только Иван Степанович придирился с точки зрения пожарной безопасности. И спрашивал, в каком еще колхозе висело такое оформление. Немного покапризничав, он велел поднять портреты повыше, чтобы ребятишкам было недоступно пририсовывать бороды и усы. С такими замечаниями он согласился утвердить эскизы, если художник за ту же цену выкрасит статуи пионеров перед клубом серебряной краской и нарисует им глаза.

Рисовать глаза художник отказался наотрез, а когда председатель стал настаивать, намекнул, что не дает же он колхозникам советов, как сажать картошку.

Намек председателю не понравился. Во-первых, он, как и все другие, считал себя специалистом по части художества, а кроме того, помимо денег, он посулил художнику два мешка картошки и боялся переплатить. В такой неловкий момент в кабинет вломился Пастухов.

Не поглядев ни на эскизы, ни на художника, он прямо с порога зашумел, что скоростная культивация себя полностью оправдала и что сегодня за неполную смену Лариса дала две нормы. Я пыталась остудить его и сигналить, что не вовремя он приспел, но бригадир сиял, как новенький пяточок, и требовал перевести на скоростной режим всю нашу комсомольскую бригаду.

Председатель спокойно его дослушал и обдал холодной водой: колхозу спущена инструкция по работе с прицепными механизмами, и, пока он председатель, инструкция будет претворяться в жизнь. А за самовольство Лариса получит взыскание.

— Вы же в прошлом году обещали, — сказал Пастухов жалобно. — Ведь это нечестно.

— В прошлом году трактора были чьи? Эмтээсовские. Эмтээс позволит — ломай, мне дела нету. А в этом году у нас техника своя, и мы за нее выплачиваем денежки. И гробить собственные механизмы нам с тобой права никто не давал. Все.

Они принялись ругаться. Пастухов сказал, что у бригадира есть права и за ущемление прав он будет жаловаться, а председатель напомнил, что бригадиры не крадут официальных документов. В конце концов, полностью отчаявшись найти общий язык, Пастухов обозвал Ивана Степановича ретроградом, добавил, что в колхозах нельзя терпеть людей, которые держатся за инструкции, как слепой за стенку, и выскочил вон.

— Видала? — поглядел на меня Иван Степанович.

А я при чем? Во всяком случае, пора прекратить сплетни, будто Пастухов подстрекал Груньку перехватывать почту. И бригадиру авторитет портят, и покойницу марают попусту. Никогда она с Пастуховым не гуляла, никогда к нему не бегала, и Бугров все врёт.

Председатель вздохнул тяжело.

— Вот. Глядите, с каким народом приходится работать, — пожаловался он художнику, как будто художник разбирался в этом вопросе.

Я собралась идти. Но председатель обернулся и сказал в мой адрес:

— У тебя с ним, я гляжу, Общий рынок.

Вообще-то я стараюсь не пререкаюсь попусту, но, поскольку Иван Степанович ни за что обозвал меня «Общим рынком», да еще при посторонних, пришлось высказаться до конца. Я заявила, что он не умеет работать с молодежью и пример Пастухова показывает, что у него нет душевного подхода к людям. Полный год парень ждал, подсчитывал, чертежики чертил, готовился, похудал и весь извелся, а как подошел срок практического испытания, все отвернулись, а председатель проявляет куриную слепоту. Если бы бригадир блажил, и то надо было бы чутко и терпеливо разобраться, а тут не блажь и почин Пастухова одобряют ученые люди.

— Кто же эти ученые люди? — прищурился председатель.

— Игорь Тимофеевич.

— Обратно Игорь Тимофеевич!

Он хмыкнул и снова поглядел на художника. Художник тоже хмыкнул из солидарности и горестно покачал головой.

Иван Степанович прикрыл глаза рукой и сказал глухо:

— Можете идти.

Я и пошла.

Пастухов дожидался на крыльце, видно, надеялся, что я переломлю председателя. Но по моему виду было ясно, чем кончился разговор, и он не стал спрашивать.

Мы молча отправились на поле.

День стоял звонкий, радостный. Сразу за околицей, за березовым колком открываются наши просторы. Слева, на фоне темного грибного леса, раскаленными угольями играют на солнышке окна Закусихина. Вся деревня в огнях, будто у них праздник. Кривляя среди полей и лугов, река словно обнимает закусихинские усадьбы. У берегов гущина орешника да ракинок — ни ствола не видать, ни прутика, листва от самой земли. Кое-где речка выкажет голое, блестящее коленце и снова спрячется в зеленую прохладу.

На низкой, заречной стороне за полосой жирных поемных лугов отдыхает стадо: барашки в тени, коровы на солнышке.

Направо чернеют коблы-безвершинники, пугающие в сумерки теляток, а за ними, на теплом уклоне, раскинулось второе поле нашей комсомольской бригады. Тянется оно, ровное, как море-океан, до самых телеграфных столбов, до железной дороги... По ту сторону путей существует еще деревня нашего куста — Ново-Углянка. Вокруг нее гречишные поля и пасака, известная далеко за пределами колхоза. В общем, за далью даль. А Груньке положено было каждый день обежать с почтой все деревни. И без никакого транспорта. Летом-то ладно. А зимой? А весной — в разливы, когда до дальних бригад приходится добираться на катере?..

Глянула я на второе поле и остолбенела. Два стареньких трактора «Беларусь», занаряженные на куль-

тивацию, бегали на пастуховских скоростях. Ближе к нам работал Митька Чикунов. На другом конце бегал трактор Ларисы.

— Это что же получается? — спросила я Пастухова. — Твое приказание?

— Нет! — весело закричал он. — Это Лариска, наоборот! Инициатива снизу!

Я собралась напомнить, что это не инициатива, а самовольство, но он, взбрыкнув ногой, ровно стригунок, помчался глядеть, что у них там получается.

Настигла я их всех на другом конце — у железной дороги.

Возле межачка стояли оба трактора. Моторы трещали. Ларискин гудел волнами, а Митька подыгрывал дросселем, выхлопная труба срабатывала, и получался полный керосиновый джаз.

И под эту трескучую музыку потерявший от радости разум долговязый бригадир Раскладушка исполнял танец, до того немислимый и чудной, что Пашкова не могла разогнуться от хохота. Да и я, по правде сказать, на некоторое время забылась.

Пастухов вилял задом, выворачивал руки и ноги, моторы весело играли и даже как будто подсказывали Митьке слова: «Дело получается! Лапы не стираются! И не забиваются! Сами очищаются! Нормы выполняются! Перевыполняются!»

— Ну, будет вам, — отсмеявшись, сказала Пашкова. — Здесь не место дурачиться.

— Место историческое! — кричал Пастухов.

— Конечно, историческое. Здесь Груньку зарезало. — Пашкова вздохнула. — Как думаешь, расценки не снизят?

Я забыла отметить, что Пастухов и на похороны не ходил, и на место глядеть, как другие, не бегал, и вообще уклонялся от разговоров, когда об этом несчастье гудел весь колхоз.

Замечание Пашковой его словно одурманило.

— Не может быть, — сказал он и пошел глядеть рельсы.

Пастухов окунается в раздумье по самую макушку — ничего не видит и не слышит, хоть пали возле него из пушки. И когда, заметив машину Ивана Степановича, я ткнула его в спину, он даже не обернулся.

А председателев «Москвич» возмущенно прыгал на ухабах, выруливал к нам.

Позабыв заглушить мотор и спотыкаясь от гнева, Иван Степанович подошел вплотную и спросил меня:

— Ну что с тобой делать? Он по самому краю ходит, и ты совместно с ним? Тебе какое дано задание? Тебе дано задание воспитывать, чтобы человек шагал в ногу с коллективом, претворял протоколы правления, а ты что делаешь? Не получается — откровенно признайся...

— Иван Степанович, — начал было Пастухов, но председатель его игнорировал.

— Может, нам от него вовсе отказаться, распиться в собственной неспособности и передать в соответствующие организации, которые лучше могут работать с людьми...

И надо же, как все-таки не везет нашему Раскладушке! В самую эту горячую минуту культиватор Чикунова напоролся то ли на камень, то ли еще на что... Не осилила сталь высокой скорости, прицепную серьгу словно ножом разрезало надвое.

На Пастухова авария не произвела никакого впечатления. Он только усмехнулся, глянув на растерянного Митьку, и снова обернулся к председателю:

— Иван Степанович...

— Ну что? Что Иван Степанович? — едва сдерживаясь, обернулся к нему председатель. — Что с то-

бой делать? Штраф на тебя накладывать? Или судить снова?

— Иван Степанович, — продолжал Пастухов, не повышая голоса. — Вы точно помните место, где попала под поезд Грунья?

Сперва председатель не мог взять в толк, дурасть это или насмешка, и с полминуты дико глядел на бригадира. В конце концов он решил, что Пастухов издевается, и схватил его за пиджак.

— На смех меня выставляешь? — гремел он. — На весь район выставляешь? Ну ладно!.. Хватит!.. Покамест передай дела Чикунову, а после разбираться будем.

— Чего вы обижаетесь? — спросил Пастухов огорченно. — Я только про Груньку...

— Обижаетесь? — Председатель распалился ещеуще и даже легонько встряхнул бригадира. — Я на тебя обижаетесь?

Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы не подошел Игорь Тимофеевич. Иван Степанович отпустил Пастухова и накинулся на свежего человека:

— Вы, я слышал, его тоже хвалите? А в районе смеются. «У них, — говорят, — на скоростях работают. Им запчастей не надо». И срезали! Понимаете, срезали! Запчасти не дают! Из-за него не дают! Вот полюбуйтесь, что у них получается, вот вам живой пример! — Он метнул взгляд в мою сторону, добавил: — А с тобой мы еще поговорим. При закрытых дверях... — И поволол Игоря Тимофеевича к искалеченному культиватору.

Пастухов поглядел им вслед и спросил тихо:

— Может, ты знаешь?

— Чего?

— Место, где Грунья...

— На что тебе?

— Надо. Очень.

Он стоял бледный и задумчивый. Я поправила ему пиджак, взяла за руку и повела на насыпь.

Кругом было тихо, мирно. Пахло ромашкой и горячими шпалами. Покойно гудели телеграфные провода. Пилили сухую соломку кузнечики. На белом столбике с номером «б» сидел грач и укладывал перышки.

— Вот здесь, — сказала я, вставши на рельсу.

Пастухов открыл рот и хлопал глазами то в одну, то в другую сторону.

Я разъяснила, что Груньку кинуло под откос, согласно правилу сложения сил, на семь метров восемьдесят пять сантиметров от головки рельса. Отмерила шагами место.

Пастухов осматривался, ровно спросонок.

Припомнилось, как мы бродили тут в лютый мороз, а я, зачерпывая снег в чесанки, вымеряла рулеткой по указанию товарища Бацуря расстояния для акта. На белом снегу все было видно, как на бумаге. Все детали отпечатались: как Грунья упала, куда ее кинуло. Почтовая сумка зацепилась за пикетный столбик под номером «б». По сумке и опознали, кто. Сумку Бацуря велел свешать. Вес получился вместе с почтой — три шестьсот. Вешали на безмене.

Гроб открыть не позволили. Дядя Леня спросил: «Всё хоть тут?» «Всё, всё, — сказали ему. — Будьте спокойны». И захоронили.

— Ничего понять не могу, — выслушав меня, сказал Пастухов. — Как же так получилось? Говорили, что она цеплялась на подъеме. Где же тут подъем? Тут во все стороны ровно. Нулевой уклон.

Пришлось разъяснить, что Грунья прыгала не здесь, а возле Закусихина, у Демкиной горки. Согласно экспертизе товарища Бацуря, в ту ночь она прыгнула на ходу и оступилась на скользкой приступоч-

ке. Поезд шел, а она висела, уцепившись руками за замороженные поручни, а тяжелая сумка, вес — три шестьсот, тянула ее книзу.

Так девочку и волокло, пока не вышли силы. Здесь и сорвалась. А машинист не заметил помехи, и состав проследовал без остановки к месту своего назначения.

— Кричала? — спросил Пастухов.

— Может, и кричала. Кто знает. Заметуха была — страсть. Слышимость была плохая.

На лице Пастухова набрякли желваки. Стало оно шершавое, серое, как булыжина.

Возле тракторов перехлестывались голоса Ларисы, председателя, Чикунова. Но он ничего не слышал. Он подумал немного и пошел по шпалам к Демкиной горке.

Пошла за ним и я.

На откосе выемки кирпичной щебенкой было выложено «Миру — мир» и красные звездочки. Отсюда начинался затяжной уклон.

— Вот здесь она нарушала, — показала я место. Пастухов остановил паром и стал соображать. Кулаки его потихоньку сжимались. Так, не проронив ни слова, со сжатыми кулаками он и повернул обратно.

А у переезда опустили шлагбаум и замигал красный сигнал. По ту сторону скапливались машины. Ждали скорого.

Я взяла Пастухова за кулак и свела на откос.

Мимо нас часто идут поезда, и в четную и в нечетную стороны. Бывало, стоишь вечером у сторожки, а в темноте вырывает свет фонаря, и разворачиваются на сугробах черные тени, и горячий паровоз с разгону налетает на переезд...

— Как же она могла... — начал Пастухов, но по переезду, окутанный паром и пылью, промчался, гудя во всю мочь, паровоз, а за ним, сбиваясь с ног на коротком рельсе, торопились вагоны. Под ногами дрожала земля, гудок растягивался, тончал в отдалении и наконец оборвался.

Пастухов выковыривал из глаза пылинку, а губы его говорили что-то, но в грохоте все онемело, и, только когда, мотаясь, промчался последний вагон, я услышала самый конец:

— ...так ее далеко протянуло.

Над путями дрожал горячий воздух: после прохода скорого рельсы жгут, как огонь. Важно поднялся шлагбаум. Через переезд вперевалочку пошли машины.

Пастухов стал было уточнять неясные вопросы, но подбежал Игорь Тимофеевич, веселый, довольный собой, с лейкой через плечо, и начал:

— Шеф-то у вас как раздухарился! Я пустил в ход все свое обаяние, и никакого толка. Ну ничего! Мы с тобой его прессой прошибем. Тиснем статейку... Название: «Растреножим стальных коней». Или еще похлестче... Завтра придется в Мартыниху подъехать — с матушкой попрощаться, — так ты забеги, занеси эскизики, расчеты. Тиснем... А Лариска-то за тебя горой! Что я говорил? Только не балуй: сразу установи дистанцию. А то на шею сядет... Была у меня одна, взяла моду являться без предупреждения, как снег на голову... Не возражаешь сняться на прощание? На фоне кукурузы?

Пастухов внимательно смотрел на него, но вряд ли болтовня Игоря Тимофеевича доходила до его мозгов. Он послушно встал лицом к солнцу, Игорь Тимофеевич обнял его, и я щелкнула их обоих.

— Представляешь, — болтал Игорь Тимофеевич, — пришла в самый неподходящий момент. Песочным энного полудурка за моральный облик, а она приехала. И уезжать не собирается... Что делать? Вызываю приятеля, чучмека. Чучмек положительный.

Красит брови. Звать Артур. Везу в ресторан. Артур ведет ее танцевать, а я смываюсь... Ну, пока!

Пастухов тупо посмотрел ему вслед и потер лоб:

— Красит брови... Звать Артур... К чему это?

Я сказала, что это к тому, что мужики хуже баб: любят болтать лишнее. И пошла.

12

Подошел срок рассказать про гордость нашего колхоза, и даже не колхоза, а всей области — про нашу самостоятельность.

Хор у нас родился сразу после войны, сперва на базе деревни Мартынихи, а потом уже, года через три, запел весь колхоз «Светлый путь».

Описывать хор — значит в первую голову описывать Леонида Ивановича, нашего дядю Леню.

Достался он нам нечаянно-негаданно в 1944 году, в самую разруху. Мы, по правде сказать, не сразу и заметили, что живет между нами стриженный под машинку мужичок с добрыми бабьими губами. Было ему лет тридцать, не больше, но наши вострушки прозвали его дядей за уважительное отношение к девушкам и женщинам. Так он и остался для всех дядей.

Об этом золотом человеке мало рассказать — надо его повидать, послушать его тихую приговорочку.

А дело было так: на Волховском фронте дядя Леня был ранен в голову, и его повезли в тыл долечиваться. В том же вагоне, где и он, ехал молчаливый сержант гвардейского роста, с одной рукой. Всю дорогу сержант лежал на верхней полке, на шутки не откликался и глядел в потолок.

Дядя Леня умел горевать чужим горем и, когда ему жалобились, слушал и ушами и глазами. Гвардеец потянулся к нему, по ночам рассказывал свою жизнь, читал женины письма. Он был председателем колхоза, она работала учительницей, жили в согласии. В сороковом году родилась у них дочка.

Так сошлось, что гвардейцем, с которым свела судьба дядю Леню в санитарном поезде, оказался Максим Офицеров — родной отец Груни Офицеровой. В поезде они и сдружились. И когда подошло время расставаться, дядя Леня побрил приятеля, поскольку левая рука его была еще плохо приучена к делу.

Перед своей станцией Максим Офицеров, заслуживший именные часы за отвагу, стал дышать тяжело, всем корпусом, задрожал и вспотел. Дядя Леня успокоил его, как мог, заправил ему за ремень рукав и вышел вместе — погреться возле чужого счастья.

Сошел Максим на перрон, оглянулся. Глядит, что-то не то: ни жены, ни дочери. Стоит женщина в черном платке, в черном платье — старуха в лаптях.

Максим поздоровался, спросил что-то и сел прямо в грязь, на землю. Оказалось, обычная история: две недели назад пошла его учителька в лес, дрова для школы рубить, и подорвалась на mine. И закопали ее бабы без гроба и без савана, как солдата, на опушке. Поставили колышек и прибили фанерную дощечку, чтобы найти место, когда придет время ставить памятник.

Сидит однорукий сержант, гукает, ровно дрова рубит, а мимо бегут люди. Одни думают, пьяный, другие интересуются, в чем дело, и бегут дальше, за кипятком.

Эшелон тронулся и ушел.
 — Вставай, Максим,— сказала старуха.— Держи. И протянула ему кисет с колхозной печатью.
 Он поглядел на нее снизу и пустил долгим, отчаянным матом. Старуха перепугалась и ушла.
 Долго сидел Офицеров на студеной земле. Слышит, стучит ему кто-то по погону. Поднял голову — дядя Леня.
 — А ты чего выгрузился? — удивился Максим.
 — Пойдем. Погощу у тебя маленько.
 — Да ведь тебе лечиться.



— После долечусь. На мою долю эшелонов хватит.

И зашагали солдаты по горбатой дороге, мимо никудышного военного лома. Про жену, пока шли, Максим не помянул ни слова. Сказал только, что в ихней деревне сады богатые, и молчал всю дорогу.

Было начало весны. Кое-где по овражкам белел снег, а на солнечных склонах уже поднималась могильная трава дурман. Земля одичала.

Пришли на место — ничего нет. Будто и не было никогда ни садов, ни деревни. По задворьям в осыпающихся траншеях желтела гнилая, еще немецкая вода. Ни души, ни звука.

Разыскал Максим свой двор. Тоже ничего нет: ни избы, ни хлева, ни лавочки. Только печка уцелела, а на лежанке кустик растет.

Дядя Леня глядит, устье печки прикрыто заслонкой. Ручкой вовнутрь. Он подошел осторожно, по армейской привычке выяснить, что там. А заслонка вдруг сама отвалилась, и из темноты задом стало вылазить что-то на карачках, босое, лохматое, с бантом. Это была девчонка лет четырех, бледная и спухшая.

Она серьезно поглядела на обоих солдат, пригласила лохмы и спросила:

— Который мой папа? Ты или ты?

— Я,— сказал Максим.

Она перешла на левую сторону, взяла его за руку и повела на могилку. По пути обстоятельно, как большая, разъяснила, что женщины и старики живут в лесу, километрах в десяти, в бункерах, с окошками из триплекса, а то и вовсе без света, в слепых

землянках, как мокрички, в темноте и сырости. Некоторые пробуют ночевать дома, в печах, да ночами на юру, когда в трубе ветер, бабам страшно, безуютно... К тому же куры не оставались, убежали в лес на привычные места... А она после мамы уже неделю живет дома и привыкла, и тряпье у ней там, в печи, и кукла...

Подошли к могилке. Отослал Максим дочку, встал в положение «смирно», простоял долго. Вернулся, а дядя Леня уже в рабочей форме — ремень через плечо. Собирает он кирпичи, обивает с них старую печину, а Грунька складывает чистый кирпич столбиком.

— А все-таки тебе чем повезло? — утешал дядя Леня.— Тем тебе повезло, что печка складена на рассаднике. У кого печи на переводах, до основания порушились. А печка — жилья основа...

Так они начали строиться. Дядя Леня

плотничал, Максим пособлял, как мог, но хлопоты по колхозу отвлекали его от личных дел.

Зерно, припрятанное на семена, оказалось почти все волосатое. С животинкой тоже худо: на всю деревню сохранился один лысый петух, да и тот не пел, поскольку ему никто не откликнулся.

Хотя весна была худая, военная, но все же весна, не зима. То там, то тут затюкали топоры, запели пилы, застучали молотки.

Дядя Леня подружился с Грунькой, прозвал ее Гулюшкой, умывал ее, искал вошек, варил суп-затируху. А когда плотничал, Груня сидела на корточках и глядела на его руки. «А ну, Гулюшка, добудь гвоздочка!» — говорил он, и она бросалась куда-то, копалась в золе и прахе, как кутенок, и, возвратившись с заржавленными гвоздями, шептала тихонько: «Дарье не говори. На ихнем дворе нашла...»

Работал дядя Леня с рассвета до сумерек; работал бы дольше, но к вечеру у него болели глаза. Когда становилось невмоготу, он вонзал топор носом в бревно и, зажмурившись, ложился на травку.

— Ехал бы ты к докторам, — беспокоился Офицеров. — Ну тебя к шуту.

А он отмахивался:

— На мою долю эшелонов хватит.

К лету вокруг печи поднялся сочный, пахучий сруб. Дядя Леня наладил «весло», настрогал дранки, покрыл крышу, и дом был готов. Только двери не навесили, поскольку не было сухого тесу. И на крыльцо не хватило материала, вместо приступочки приволокли валун.

Подошло время прощаться. Дядя Леня выстругал

тарифу. Добыла сладкой водочки, напоила дядю Леню и оставила ночевать.

Утром встала злющая и кипяточку испить не позволяла. Больно переборчивы стали мужики — избаловались на фронте! Сами не знают, чего им надо! Она серчала и кидала ложки, а дядя Леня тем временем размечал бревна: какие пойдут на переруб, какие на обвязку. Тут Денисова вовсе испугалась: что все-таки у него на уме? Какой расчет? Кто его знает, может, он так избу срубит, что в стенах жужжать будет! Есть такие озорники.

И когда пришла с Евсюковки кума и стала плакаться, что обманули ее плотники, деньги вперед выманили, работу на полпути бросили и пропали, Денисова отдала куме дядю Леню с радостью... Евсюковская старуха в делах была бестолковая, а после смерти мужа и вовсе не стала ничего сообщать.

— А все ж таки чем тебе повезло? — утешал ее дядя Леня. — Тем тебе повезло, что довели твои шабашники сруб только до половины. Хоть низ худой, зато верх я тебе складу хороший.

Пожалуй, первая поняла, что он за человек, тихонькая внучка кумы Надя, про которую болтали, будто она жила с немецким солдатом. Дядя Леня, бывало, тюкает топором, а Надя стоит и вспоминает, какая у них была в мирное время изба, какое крыльцо нарядное, какие червенки на закроях. Дядя Леня старался ей угодить, делал карниз с узорами, на ставеньках вырезывал червенки. Возле будущих ворот сколотил лавочку. Вечерами он взял привычку сидеть на лавочке и беседовать с Надей. Бабы



себе легкую палочку — посошок, собрал фанерный баульчик и, как стало темнеть, пошел на станцию.

По пути встретил он денисовскую Феклу: скрючилась девчонка возле дороги на бревне, за живот держится. Они с матерью разбирали бункер и таскали волоком сляги. Уморилась до того, что последнее бревно никак в гору не затащить. Мать одна не в силах, а у дочери живот тянет: надорвалась. Мама пошла спать, а Фекла осталась сторожить бревно.

Дядя Леня впрягся в лямки и довез бревно до самого двора, до деревни Закусихино. И на другой день пришел помогать и на третий.

Мать Денисова сперва возликовала, но вскоре засомневалась. Стала гадать, чего он за работу просит. Денег у ней сроду не водилось, а из мирного добра каким-то чудом сохранился только старый баян. Может, он на баян зарится? Ну нет, не выйдет, не видать ему баяна, как своих ушей! Впрочем, хозяйственная Денисова не стала рядиться с ним раньше времени и решила расплатиться по своему

шушукались: скоро будет сватать. Как только дядя Леня понял, что он жених, перепугался до смерти, заторопился, стал собираться уезжать. Надя убегла в лес, рыдала там, кусая в кровь кулаки, и повторяла: «Знаю почему, знаю почему!» До того изрыдалась, что ослабла, как от тяжелой ноши.

Евсюковские бабы осуждали дядю Леню, а с ним вместе и всю мужскую породу. Даже Максим не удержался: попрекнул своего друга первый раз за все время.

Была в ту пору осень. Груня простыла, закидало ее, бедную, чирьями, стала она горячая, как утюжок. Подошел дядя Леня к своей Гулюшке попроситься, она вцепилась в него горячими ручонками и не отпускает. Дядя Леня терпеливо дождался, когда заснет. Но она и во сне держала его целоко.

— Значит, бросаешь ты нас? — спросил Максим. Дядя Леня вздохнул и снова остался.

Выменял где-то шприц, заострил иглу, промыл в перваче и стал делать Груне переливание крови.

Девчонка встала — он сам захворал. Озяб и ле-

жал на лежанке, закрывшись с головой шинелью. Ни есть, ни пить не просил. Только велел капать лекарство по счету.

Лег первый снег.

Ночью вышла Груня во двор, слышит: стук-постук. Пригляделась, ничего понять не может: в дальнем углу двора, в самом тупике заплутался дядя Ляня — тычется туда-сюда, забор палочкой обстукивает.

Луна светила в полную силу, и Груня видела фанерный баульчик у него в руке и шинель в скатку. Как будто снова собрался солдат на войну.

Нашупал он путь, выбрался на тропку и дошел до ворот. Постоял немного, ласково погладил вереву своей работы и вышел. И калитка тихонько прикрылась.

Хоть мала была Грунька и перепугалась, какая-то сила потянула ее за ним. Солдат шел по спящей деревне, постукивая палочкой. Миновал околицу, прошел полкилометра по шоссе и вдруг спросил, не оборачиваясь:

— Кто здесь?

Грунька замерла. Но дядя Ляня догадался кто. Подозвал он ее и признался, что стал совсем слепой и ничего не видит ни днем, ни ночью. Зрение у него уже давно угасало, угасало медленно, как свет в лампе, когда кончается керосин. Всех делов все равно не переделаешь, и надо ему наконец лечиться, и что она, Гулюшка, умница, не станет его удерживать, доведет до переезда и воротится домой. А Наде завтра пусть передаст, что для него не было человека дороже ее.

Груня слушала и вспоминала, как еще летом он не мог долго глядеть на белую бумагу.

Подставила она дяде плечо и повела. Вела она его долго, плутала-плутала и привела обратно к себе в избу.

На другой день собрали собрание. Колхозницы записали: кормить дядю Леню до скончания дней. А чтобы не убег, отобрали документы. Денисова ни с того, ни с сего отдала ему свой баян — за так, ни денег не взяла, ничего.

Летом свозили его к знаменитому доктору в Одессу. Там сказали, что надо было приезжать раньше, а теперь опоздали, зрение потеряно навеки.

Однако сидеть на хлебником у людей он не умел. Быстро разучил на баяне несколько мотивов: «Легко на сердце от песни веселой...», «Темная ночь», «У самовара я и моя Маша» — и стал играть на поле. Бывало, выйдем на росе полоть, а он уже сидит, играет.

К нему быстро привыкли. Скоро спрос на дядю Леню увеличился, и установилась за ним штатная должность — гармонист. С общего согласия трудодни ему начисляли, как и всей бригаде.

Играл он прилежно — с утра до ночи. До того доигрывался, что, бывало, не мог застегнуть пуговицы. И Грунька разгибала его скрюченные пальцы, как сосновую стружку.

Пели и старухи, и малые девчонки, и мальчишки-прицепщики... Молодые любили веселую музыку, а пожилые просили печальное. Идет солдатка за коровой в борозде, и не разберешь, поет она под музыку или голосит...

Теперь, когда посмотришь на наши бисерные кокошники да красные сапожки, вряд ли кому поверится, в каком убожестве и нищете, вроде бы из ничего, родился наш богатый, веселый хор.

Прошло несколько лет. Воротились с войны уцелевшие мужики. Жизнь успокаивалась. И к дяде Ляне стали сбегаться девчата.

Сперва вспоминали мы старые, простенькие пе-

сенки, потом стали разучивать посиделочные, свадебные, игровые, пели частушки, страдания. Разохотились, нашли патефон, принялись повторять за пластинкой «Голубой Дунай» и новые песни композитора Фрадкина.

В пятидесятом году ни с того ни с сего Максим Офицеров умер, и остались вдвоем десятилетняя Груня и дядя Ляня.

А в колхоз на укрепление хозяйства прислали бывшего директора кирпичного завода. Дела с тех пор пошли хуже. Стали мы, что называется, колхоз-самоед. На трудодни — одни палки. Новый председатель отставил дядю Леню от хора, велел играть у себя на дому и плакал под музыку горячими слезами.

Лопнуло у меня терпение, собрала я своих комсомолок, самых горластых и отчаянных, и поехали мы в райком. Стали выкладывать секретарю райкома наши обиды: что, мол, это за председатель — ни работать, ни петь не дает. Секретарь райкома сказал было: «Давайте думать об урожайности. Хор — дело десятое», — да мы на дыбки. Ах, вот как! Если для души, значит, дело десятое! И грянули прямо у него в кабинете «Дороженьку». Весь райком комсомола сбежался. Подпевать стали. Полчаса пели.

Потом сел секретарь в нашу машину и поехал толковать председателю, что культурную работу с молодежью нельзя отставлять на задний план, что от культурной работы во многом зависит производительность труда... И запел колхозный хор снова... «Все, чем теперь сильны мы и богаты», «Замечательный снежок», «Горный орел», «Спасибо, спасибо, благодарю!» И Груня была у нас главной певуньей. Как прилипла к самостоятельности лет с семи, так, можно сказать, в хору, возле дяди Лени и выросла.

Слава о ней шла кругами, и когда ей было лет пятнадцать, ее приезжали записывать на пленку из радио.

А потом, незадолго до покрова, свалился к нам как снег на голову знаток хорового искусства, здоровый старик в клетчатом шарфе, с длинными, как у попа, волосами и стал кричать, чтобы Груню немедленно отправили в музыкальное училище. А когда увидел ее на грядах, под дождем, да еще боую, с ним чуть не сделался родимчик.

Председатель колхоза, заменивший в ту пору бывшего директора кирпичного завода, был пуганный и слушался любого приезжего. Вызвал Груньку и сказал: «Держите справку и выполняйте указание!» Знаток хорового искусства закусали пчелы, и он давно уехал, но из страха перед ним председатель называл Груньку на «вы».

Груня объясняла, что бросить слепого дядю Леню одного не может. Председатель ничего не хотел слушать и отмахивался обеими руками.

Споры тянулись неделю. Тем временем дядя Ляня получил радостное известие: где-то в Казахстане объявилась его двоюродная сестра. Он собрал баульчик, торопливо со всеми распрощался и отбыл.

Груня потужила немного и решила ехать.

Мы, девчонки, всем хором собрались провожать ее до станции.

По пути в автобус влезла какая-то молодуха, стала плакаться на ошибку в жизни. Вышла замуж за механика, а механик попался непутевый. Повалился выпивать чуть не каждый вечер и к утру не просыпается. Вот она и едет в Коврово, вызволять его из чайной.

Кондукторша сказала, что последнее время многие женщины жалуются на ковровскую чайную. А все оттого, что там наняли какого-то инвалида, а этот инвалид завораживает игрой на баяне.



Груня вскочила с лавочки и кричит:
— Это дядя Леня!

Мы давай ее отговаривать — мало ли в районе инвалидов! Кроме того, у нее билет на поезд — может опоздать. А она равно очумела.

— Он нарочно ушел, чтоб мне путь не загораживать, неужели не понимаете?! А я-то, дура, поверила! Раньше он не поминал ни про какую двоюродную сестру!

Побегла она в чайную. И верно — он, дядя Леня. Бросилась она к нему на шею, и воротились они домой.

С той поры, сколько ее ни уговаривали ехать, никого не слушалась. И стал ей дядя Леня заместо родного отца.

В хору была Грунька вроде директора: распорядилась, какой девчонке в каком ряду стоять, стыдила, когда лишку румянились, носилась по деревьям, собирала хор, а иногда и зрителей. Девчат собирать было нелегко, а ребят — еще труднее. Знали, что в них нехватка, и задирали носы. Один придет — другой уйдет. А песни без мужского голоса не получаются: нет того оттенка.

В 1958 году мы взяли первое место на областном смотре, и про нас стали писать в газетах. Пошли слухи, что в январе нас отправят в Москву, на правительственный концерт. По этому случаю смеялись каждую девчонку, пошили индивидуальные платья и башмачки и в обязательном порядке велели разучить песню «Расцвела земля колхозная».

Запевалой выделили, конечно, Груньку.

Летом спевки мы обыкновенно устраиваем в шко-

ле. Пришла я туда в полвосьмого. Дядя Леня подзвал меня и похвастал, что надумал к припеву два таких колена, что Гулюшка ахнет. И наиграл, чуть трогая лады, мотив.

Сравнялось восемь часов. Все пришли, а Груни не было.

Дядя Леня удивился. За все годы не помнил случая, чтобы она опаздывала. Митька сел на велосипед и поехал в Закусихино.

Дома Груньки тоже не было.

Пришлось запевать мне.

— А все ж таки нам чем повезло? — сказал дядя Леня печально. — Глядишь, новая солистка в хору... — Голос у него дрогнул, он махнул рукой и прислонился к баяну. Наклонил голову и затих, будто баян шептал ему по секрету.

Дело не клеилось. И люди не все, и погода давила на душу. С утра заволкло, набежали тучи, толкался гром, а дождя все не было.

Дядя Леня то и дело бросал играть и подымал руку:

— Никак Груня идет...

А какая могла быть Груня, когда Митька, который таскался за ней, как борона за трактором, и тот следы потерял.

В конце концов все переругались и пошли. А дядя Леня остался ночевать в школе.

На улице было душно, беспокойно. Гремел гром. Неслись порожние тучи, уплывали от греха подальше. В избах загасили свет.

Старухи боятся сухой грозы, проверяют заглуш-

ки в печах, тушат свет и сидят в темноте под образами. Сухая молния непременно убьет кого-нибудь. Спешу я в эту пору домой — гляжу, навстречу Груня.

Бесчувственная к ветру и грому, бежит она в упор на меня; зацепила, не заметила. Замерла у калитки, прислушалась.

Из школы доносилась музыка: дядя Леня отработывал колена, которыми мечтал потешить свою Гулюшку.

Я думала, Грунька сейчас кинется к нему на шею, как тогда, в чайной, и повинится.

А она подошла к окну, поглядела внутрь и засмеялась. Засмеялась длинным, отчаянным смехом.

Такой и отпечатала ее в моей памяти молния: лохматая, платок на плече и хохочет, запрокинув голову.

Музыка смолкла. Из глубины зала спросили:
— Груня?

Она рассмеялась еще громче. Отсмеялась и пропала неведомо куда.

Через несколько минут снова запел баян, тихонько и печально. А мне, не знаю, почудилось, не знаю, нет, будто где-то далеко, за мостиком, снова раздался смех, невеселый и окаянный, ровно гуляла там нечистая сила.

Я не стала мешкать, бросилась домой. В такую ночь без того жутко: и птицы прячутся, и самолеты не летают.

Дядя Леня прежде других догадался: схороводилась она с кем-то. И зацепила ее любовь так крепко, что комсомолочка наша до ворожбы снизошла. В ту безуютную ночь, как я потом узнала, загадала она примету: если спевка кончилась и все разошлось — будет у нее счастье долгое. А если остался хоть один человек — скоро все кончится. Задумывая свою глупую примету, она, конечно, на все сто процентов была уверена, что ночью в школе пусто. И так случилось, что самый верный ей человек, дядя Леня, напророчил ей беду.

Как увидела она его в окно, надломилась у ней душа, растерялась девчонка и перепутала, когда плакать, а когда смеяться.

— После того полуночного смеха, — вспоминал дядя Леня, — стала Гулюшка тихая, как заря: переживала. Вы, небось, скажете, с пустяка переживала. А я скажу — нет. Не с пустяка. Цельная была девушка, не отламывала, как другие некоторые, от души горбушку.

Надо бы мне тогда хоть схорониться где-нибудь, а я, дурной, крик поднял: «Груня! Груня!»... И девчонки закусихинские звали меня домой: «Мы без тебя, дядя Леня, в такую ночь не дойдем, заплутаем!» Так нет, уперся, остался. Вот как неловко сошлось, беда-то какая. Все годы старался ей угодить по возможности и — на тебе! Как был глупый по самый пуп, так и не поумнел.

Я же ее извел, и она же стала меня утешать. Все тужила, как я тут буду, когда увезет ее принц в столицу и станет она жить в каменном доме. И боялась, что хор без нее развалится...

Дядя Леня рассказывал правду.

Кроме того, что Груня славилась первой певицей, была она еще и маночком для ребят. Все знали: не из-за любви к вокальному искусству, а только из-за нее многие парни сбегались на спевки.

Даже Пастухова, который спал и во сне видел исключительно скоростную механизацию, чуть не привлекла к нам в солисты. Особого труда ей не потребовалось: призналась Бугрову, будто слышала, как его жилец напевал «Смейся, паяц», и потеряла покой от его бархатного голоса.

С той поры наступили у нас веселые дни. Бывало, бранится бригадир за опоздание или за отношение к механизмам, да вдруг — словно переключат его на полслова — начинает прибащать оперную арию. Оглянемся — так и есть: Грунька вышагивает с сумкой, а Пастухов поет и косит на нее глазом.

Впрочем, дядя Леня не одобрял такое поведение и, когда Груня стала особенно неугомонлива, прекнул ее: «Тебе бы понравилось, если бы ты к человеку всей душой, а он над тобой бы измывался?»

Груня отсмеялась, но вскоре приумолкла, задумалась. И когда Пастухов пришел наконец наниматься в хор, между ними состоялась приблизительно такая беседа.

Пастухов говорит:

— Здравствуйте, Груня.

Груня говорит:

— Здравствуйте.

Пастухов говорит:

— Как поживаете?

Груня говорит:

— Ничего.

Пастухов говорит:

— Вы принимаете заявление в хор?

— На спевку ходить будете?

— Конечно. Почему вы спрашиваете?

— Потому, что не песни вас к нам тянут. — Груня вздохнула.

Пастухов смутился, но гонора не потерял.

— У вас слишком большое самомнение, Груня, — сказал он. — Должен вас огорчить: я действительно люблю музыку, а не то, что вам кажется.

— А что мне кажется? Да вы не краснейте... Вон как уши полыхают — прикуривать можно... — Груня задумчиво вздохнула. — И чего пристыдились? Любовь — такое дело, никому не миновать.

— Станный разговор.

— Ни чуточки. — Груня потупилась. — Человек вы умный, надежный и, видать, доверчивый. Не обижайтесь, что я ломалась над вами, и простите мои глупости... Кабы раньше вы приехали — по-другому, может, все было. А теперь поздно. Приворожил меня один трудящийся, навеки и до самого конца.

— Да мне-то что! — занервничал Пастухов. — Мне какое дело, кто вас приворожил! Даже странно. Митька, что ли?

— Что вы! Митенька у нас немного, как бы сказать, «с приветом».

— А кто же?

— Не велел говорить. Велел слушаться.

— Станные отношения... А впрочем, какое мне дело? Вы меня спрашивали — я принес заявление. И все. Имейте в виду: посещать все спевки не смогу! Ходить буду редко. Очень редко. В общем, почти не буду ходить.

После этого разговора арии из опер Пастухов петь перестал.

А в январе пятьдесят девятого года хор вызвали в столицу на смотр и дали диплом первой степени.

13

Хотя Иван Степанович и посулил отстранить Пастухова от должности, наутро сам же первый раскаялся и вызвал меня посоветоваться. Мы сидели у него на дому — я, он и Зиновий Павлович, товарищ Белоус.

Вчерашнее хождение Пастухова по железной дороге, откровенная болтовня Игоря Тимофеевича — все это путалось в голове и тянулось куда-то в одну далекую точку, к беленому столбику с цифрой «б».

Я не умела и боялась сложить все факты вместе, но тошно было, ровно перед бедой. А Иван Степанович снова начал кричать в мой адрес, что меня, мол, на две недели не хватило, что Пастухов — человек нужный, интеллигент, что его надо оберегать от случайностей, проявлять постоянную заботу и помогать ему укорениться.

То ли нервы у меня сдали, то ли погода придавила, но вдруг ни с того ни с сего я разревелась и заявила, что умаялась вконец, больше не могу и снимаю с себя ответственность. Пусть Лариса принимает над ним шефство... И опять, как всегда не вовремя, влетел в горницу бригадир. Председатель встретил его мирно: посадил на стул, пообещался перечеркнуть и позабыть все, что между ними было плохого, и начать с белой страницы. Посоветовал назад не оглядываться, а уверенно глядеть вперед, чтобы достойно встретить юбилей колхоза и перешибить «Красный борец» по всем показателям.

— Берись, закатывая рукава совместно с Лариской за второе поле и сделай из него к приезду гостей образцовую картинку. Берись смелей! Не бойся. Повернешь не туда оглоблями — поправим.

Пастухов хотя и кивал, но слушал плохо. Ему не терпелось вытащить меня из избы. Зачем-то я снова ему понадобилась.

— У тебя что с ней, секреты? — спросил председатель.

— Да нет... Про Офицерову один момент надо выяснить.

— Обратно на всех станциях горячий кипяток!.. Гляди, до чего девушку довел... Воет она от твоих моментов. Чего у тебя, высказывай. Здесь все свои.

— А можно?

— Давай!

Пастухов оглянулся и наклонился к председателю. Иван Степанович чего-то встревожился и тоже наклонился к самому лицу бригадира.

— Мне почему-то кажется, — шепотом объявил Пастухов, — что Офицерова покончила с собой сознательно. Понимаете? Сама бросилась.

Иван Степанович утер с висков пот и откинулся на спинку стула.

— Это ты один надумал или с кем-нибудь? — спросил он.

— Этого нам еще от тебя не хватало! — укоризненно протянул Белоус.

— Да! — усмехнулся председатель, оправившись от неожиданности. — С тобой, брат, не заскучаешь! Запустил ракету. Покрепше скоростной механизации...

— Она в людях разочаровалась, — пытался объяснить Пастухов.

— В каких людях? В наших советских людях?

— Да нет, в одном человеке. В самом для нее драгоценном.

— Чего же такого в нем было драгоценного? Зуб золотой?

Иван Степанович решил не зарываться и разговаривал терпеливо, как с неразумным малышом.

— Любила она его, понимаете? — волновался Пастухов. — Любила.

— Ты думаешь, на нее кидаешь тень? — предупредил Белоус. — Ты на себя кидаешь тень. Позабыл, куда она ночью бегала?

— Ну, хорошо, хорошо, я объясню, — замахал руками Пастухов. — Теперь ее все равно нет... Теперь можно. Она пришла ко мне после поездки хора в

Москву. Пришла больная, с температурой. Ее трясло всю. Она там, в Москве, бегала к гаду этому прямо из театра, без пальто и без шали бегала... Прибегла, а у того другая... Вы же все видели: Груня вернулась черная от горя.

— И пришла к тебе утешаться? — спросил председатель.

— Да, да, именно! — обрадовался Пастухов, посчитавши, что ему начали верить. — Ей узнать надо было, может ли мужчина изменить, если любит.

— И как ты осветил этот вопрос?

— Сначала я категорически сказал: нет! Если любит, изменить не может. Она застонала, будто я выстрелил в нее из нагана. И тут меня осенило. Ко мне, понимаете, бывают минуты, приходит озарение, когда вдруг все кругом далеко-далеко видно. Так и тогда...

— А у меня вопрос, — прервал его Белоус. — Почему она именно к вам пришла за утешением?

— Да потому что... потому что... — он опустил голову и словно бросился в омут, — считала, наверно, что я ей симпатизирую...

— Не убедительно.

— Ну ладно! Дело не в этом! На меня нашло озарение, понимаете... Я схватил «Былое и думы», второй том. И книга сразу чудом открылась на нужной странице. Я зачитал ей отрывок... Там Герцен исповедуется, как однажды изменил жене...

— Всюду выискивает темные стороны, — покачал головой председатель. — Даже у великих демократов.

— При чем тут темные стороны? Груня уцепилась за эту книжку, как за спасательный круг. «Я, — говорит, — ему должна написать. Он там, наверно, переживает, каеся! Я утешу его!..»

— Не убедительно, — проговорил Белоус.

— Ну хорошо, хорошо! А помните, Груня в феврале на три дня пропала? — Пастухов говорил быстро, торопливо, ровно боялся, что мы разбежимся. — Опять же к нему ездила! Вернулась: встретил ее в павильоне. Была немного выпивши... «Ты, — говорю, — чего здесь?» «Это, — говорит, — не я. Я, — говорит, — себя в Москве оставила». Стала меня бранить. «Вы, — говорит, — моральные да положительные, церемонитесь, ушами хлопаете, а у вас из-под носа сволочь всякая девчонок выхватывает, а вы огарками пользуетесь». Разочаровалась. В людях разочаровалась.

— Что же она сразу, как разочаровалась, не кинулась? — спросил председатель.

— Не знаю... Может, чтобы не было подозрений.

Она и под колесами любила паскуду своего.

И Пастухов крепко сжал костистые кулаки.

— Ну ладно. — Председатель хлопнул ладонью по колену. — Герцен там, измены — это все художественная литература. Какие у тебя конкретные доказательства? Известна тебе фамилия ухажера?

Пастухов покачал головой.

— Известно, кто была у него эта, как ее... дополнительная женщина?

Пастухов снова покачал головой.

— Ну вот!

— А что вот? Какие могут быть доказательства, если она сама решила скрыть это... Одно можно утверждать наверняка: на таком расстоянии продержаться на руках Груня не могла. Я и то из сил выбился.

— Что ты городишь? — выпучил на него глаза председатель.

— Точно. Сегодня утром вышел на то место, где цеплялась Груня, и схватился за поручни товарного поезда. Проволочился до пятого пикета и сорвался.

Он положил на стол ладонями сверху черные, вспухшие руки.

— Ты что? — Председатель встал. — Вовсе с ума спятил? А если бы сам... под колеса? Об отце, матери подумал?

Пастухов сидел потупившись.

— Ну ладно, — сказал председатель. — Допустим, твоя правда. Давай переиграем это дело, давай баламутить народ. Давай вместо подготовки к юбилею артели выкапывать могилы. Погубителя Офицеровой ты не знаешь и никогда не узнаешь. Никаких форменных доказательств у тебя нет. Чего мы добьемся в итоге? В итоге мы добьемся одного: пятна на памяти Офицеровой. Желаешь — давай.

— Не надо, Иван Степанович, — проговорил Пастухов тихо.

Голос у него был, как бы сказать, какой-то пустой, бесчувственный голос. Видно, в этот момент лопнула у него в душе важная пружина, и я поняла, что отныне с ним будет все меньше и меньше хлопот.

Мне бы порадоваться, а нет! Обуяла меня вдруг такая тоска, такая тоска, что и высказать не могу.

14

В тот же день подошел мой черед мыть у дяди Лени полы. После Груни он остался один, и наши певички постановили ходить к своему наставнику по субботам прибираться.

Раскидав немного личные, служебные и общественные дела, угонив кое-как Пастухова, я купила в павильоне гостинцу — мятных пряников — и побегала в Закусихино.

Дядя Леня обитал в той самой избушке, которую поставил в конце войны дружку своему — Офицерову.

Избушка была махонькая, стесанная без прирубки. На лицевой стороне два окошка да сбоку, на двор — небольшая гляделка. Вот и вся краса.

Крылечка за недосугом недоделали, и вместо приступочки перед дверью так и лежал утопший в землю валун.

В горенке все осталось, как было при Груне. Даже численник показывал 27 февраля. После нее некому стало отрывать листочки. Узкая железная кровать была чисто застлана, одеяльце углажено, подушечка лежала на подушечке, а на верхней — укрывальце.

В ногах, у кровати, стояла этажерка, сплетенная из прутиков дядей Леной для своей Гулюшки. На полках — два штабелька книг.

Под стеклом в большой крашеной раме от зеркала виднелись несколько довоенных фотографий Груниных родителей — отец и мать, вместе и по отдельности. Снимки было трудно разобрать. Они отсырели в земле, когда их закапывали от немцев.

Между фотографиями заправлены билетки московского метро и троллейбуса, голубые и розовые: память январской поездки Груни в Москву.

Билетики своей февральской поездки она повикидывала.

Возле постели висела почтовая сумка искусственной кожи, та самая сумка, с которой Груня отправилась в свой последний поход. Только звание инвалида войны помогло дяде Лене завладеть сумкой, да и то пришлось дойти до начальника почты и со-

ставлять длинную объяснительную бумагу для бухгалтерии.

Больше ничего примечательного в горенке не было, если не считать трех-четырёх цветных картинок, развешанных для красоты по стенам. Картинки Груня вырезывала из журналов и прикрепляла булавами. Так они по сей день и держались на булавах: «Шахтерка» Касаткина, «Председательница» Ряжского и какая-то жгучая бронежка в черной шали — испанского художника Гойи.

Хотя дядя Леня и старался сохранять порядок, насколько ему позволяла слепота, — прибирал посуду и поливал сады на подоконнике (герань да кактус), все-таки после Груни стало погрязней. В невымытых стаканах жужжали мухи.

Дядя Леня поставил самоварчик, и, прежде чем приступить к уборке, я посидела с ним, побеседовала, покушала чайку.

Он любил вспоминать о Груне, и я потихоньку стала выспрашивать про ее последнюю поездку в Москву.

— А что было? — сказал дядя Леня. — Пропала и пропала... Две ночи не спал, ждал. Под утро сморил меня, и пригрезилось, будто скотили мы с Гулюшкой крылечко с кружевным карнизом. Верх железный. Окрасили поясочками... Баское крылечко... Крашу, значит, я столбики, крашу, один кружок остался, вдруг хлоп — будит меня моя Гулюшка. Явилась наконец! По запаху чую: выпивши... Да и так вроде какая-то шальная, на себя не похожая. Где пропадала? Ничего не говорит, смеется, как тогда, в сухую грозу. Да все загадки загадывает... А кто я ей, чтобы ее попрекать да спрашивать? Я ее в войну выходил, она меня слепого выхаживала — только и всего... — Он вздохнул. — Красивая больно была, ничего не сделаешь. Такое уж выпало ей наказание. Видишь, картинка висит?

Дядя Леня указал на простенок между окошками.

Кроме двух вилок, сунутых в щели, на голом простенке ничего не было.

— Хороша картинка, верно? — спросил дядя Леня. — Груня говорила, на эту тетеньку хочу походить. Она, говорит, не красотой горда, а тем горда, что в ней, говорит, ничего рабьего нету.

Я сразу вспомнила картинку, которую видала на днях у Митьки Чикунова: богатая барышня, немного схожая с Грунькой, сидит, как живая, на пролетке в туманный от стужи день.

— Это которая, — спросила я для уверенности, — чернобровая?

— Ну да. Какая же еще! С белым пером. Говорят, на Гулюшку похожа. Верно? Похожа?

Дядя Леня с тихой улыбочкой уставился на пустую стену.

— Похожа, — сказала я.

Надо сегодня же пристыдить Митьку, чтобы не таскал чего не следует у слепых людей!

— Приехала, глянула на эту картинку и говорит: «Куда мне до нее!» А потом вроде успокоилась, вошла в бережки. Стала носки штопать... Ты, говорит, дядя Леня, заматывай, говорит, носки в портянки... Носки-то... Мне, говорит, рано вставать завтра, на почту... А ты, говорит, заматывай в портянки...

Он махнул рукой, пошел на кухню и встал там, отвернувшись к печке.

Я приступила к уборке. Горенка была крохотная, и мыть пол не составляло никакого труда. Три раза тряпкой махнуть — и чисто. Поэтому сперва я решила прибрать посуду и опяхнуть пыль в Грунином уголке.

— Ты там с места не тронь ничего, — приказал дядя Леня. — Как лежало, так пусть и лежит,

И пошел, чтобы не мешаться.

Только принялась за уборку, в окно сунулся Пастухов.

Я немного перепугалась и спросила, что ему надо. — Вы мне никто не верите, — проговорил он без всякой надежды. — А погляди-ка на почтовую сумку.

Я сняла ее с гвоздя и осмотрела. Ничего особенного не было. Сумка как сумка. В наружном кармашке трепаный грунькин ходовичок, на брезентовой подкладке чернильным карандашом выведено: «Г. Офицероза».

— Ну? — спросил Пастухов нетерпеливо. — Видно, за последнее время он надоел тут, и дядя Леня не пускал его в избу.

— Что ну?

— Как это могло получиться? Груню перемололо, а на сумке ни царапины. Как это могло быть?

Пришлось снова разъяснять заключение товарища Бацурь: когда Груня сорвалась, сумка с нее слетела; по закону сложения сил сумка должна была отлететь дальше, но на ее пути оказался пикетный столбик, за который последняя и зацепилась посредством лямки.

— Сумка не может слететь с человека, — сказал Пастухов.

— Как же она в таком случае оказалась на столбике?

— Очень просто. Груня повесила ее сама.

— Зачем?

— Чтобы не пропали письма... В сумке почта была. Груня повесила ее на видное место, чтобы не занесло снегом. Повесила, а сама кинулась... — Он скрипнул зубами. — Узнать бы, кто ее довел...

Я тщательно стерла с сумки пыль. Потом стала вытирать книжечки, одну за одной: «Молодая гвардия», Маяковский, Есенин. Среди художественной литературы попался и Герцен в зеленой обложке.

— Это, случайно, не твоя? — показала я Пастухову.

— Моя! — закричал он. — Дай сюда!

Я подала ему книжку в окно. Он открыл ее и поблуднул, как смерть.

Из книжки выпорхнула и, раскачиваясь качелью, полетела закладка — небрежно оторванная половинка рубля.

Я похолодела. Все кусочки вдруг сложились в моем уме в одну картину.

Мы долго смотрели друг другу в глаза.

— Мало ли что, — сказали мои губы. — Мало ли какие бывают совпадения...

Надо еще отметить, что впоследствии в этой же книжке были найдены два распечатанных письма Ивану Степановичу из Министерства сельского хозяйства, про которые поминалось на суде.

Груня-то, кажется, сочувствовала затеям Пастухова и, не подавая вида, тайком оберегала его от вредных бумажек.

А когда в Москву приехали, убегла к нему на квартиру прямо со сцены. Как сейчас помню: хвятились ее — пальто и шаль тут, а самой нету. Мне с ней в паре «Цепочку» танцевать, а ее нет. Так и пришлось прыгать одной, сзади всех, довеском... Прилетела Груня к Игорю Тимофеевичу без пальто и без шали, в январе-то месяце, а у него другая...

Вернулась несчастная, застылая, больная. Помню, домой ехали — жаловалась: «Никому не верю. Мне говорят, сколько булка стоит, а я не верю». Мы смеялись: повзрослела. А она: «Если это называется повзрослеть, то и расти не к чему».

Впрочем, болела недолго: Пастухов дал ей книжку, и она снова вспыхнула и, поправившись, в февраль бросилась в Москву. Страдала, что ее любезный переживает свою измену, мечтала утешить его... А он и думать о ней перестал.

Что там между ними было, никому теперь не узнать да и узнавать поздно, но, видно, сильно обидел Игорь Тимофеевич гордую Груню. Обидел и ожесточил. До того ожесточил, что в деревню захватить опасался — взял путевку в дом отдыха.

Так задешево пропала светлая Грунина душа. Пастухов, конечно, с этим не примирится. А пустить его на самотек невозможно: натворит такого, что щепок не соберешь и сам пропадет окончательно. А мне, по правде сказать, дорог, как собственный младенец, стал в последнее время мой нескладный Раскладушка. Я всей душой сочувствовала ему, а надо было его крепко держать за руки.

Я до того переволновалась, что из носу пошла кровь. Всю ночь не могла заснуть, ворочалась с боку на бок и думала.

С утра на дворе было мрачно, будто воротилась осень. Собирался дождь. Надо было закрывать наряды, а я ничего не понимала, глядела на бумаги, как с похмелья, и только и делала, что подправляла хвостики на буквах.

Сижу в конторе, переживаю, и черными тучами наплывают мысли: «Как теперь разойдутся Пастухов с Игорем Тимофеевичем? Как они встретятся у стариков Алтуховых? Что будет?»

Чем дальше к вечеру, тем больше ныло сердечко. Наконец работа кончилась. Я накинула плащ и побегла к Настасье Ивановне предупредить, чтобы заперлась и не пускала гостей.

Дождь лил, холодный, крупный. Капли били в глаза, высоко подсказывали на лужах.

Запыхавшись, я прибегла к Алтуховым и встала на пороге. Пастухов уже сидел на лавке под часами, зеленый, как тина. На меня не обернулся. Сидел ссутулившись и глядел в пол, в угол.

— Игоря Тимофеевича нету? — спросила я, сама удивляясь своему ровному голосу.

— Отец за ним поехал, — весело откликнулась Настасья Ивановна. — Жмот-то наш, председатель, узнал, что за Игорем Тимофеевичем, — сам побег коня отряжать. Без звука...

Она готовилась проводить ненаглядного сыночка и хлопотала у печи.

— Когда по такой погоде доедут, бог знает! — стрекотала она. — Ну и погода! В обед завела тесто, не подходит... Накопали морей, на реках плотины — весь календарь сбили!..

Стол, как и две недели назад, был установлен разными сластями: и наливочка и редька в сметане. Только груздей не было — дед как накинудся в тот раз, так все и поел.

— Он у нас сроду был дошлый, увертливый, — хвастала Настасья Ивановна про сыночка. — Не знаю, в кого удался... Я-то сама не деревенская, я городская, по родителю — орловская мещанка. Батюшка

15

Аа. Все кусочки сложились в одну картину. Все подошло одно к одному, и до того вышло просто, что я и понять не могу, как это сама, без Пастухова не догадалась.

Конечно же, гуляла Груня с Игорем Тимофеевичем. Увидел он ее в прошлом году, когда приезжал в отпуск, стал прилюбокивать, и потеряла она разум и позабыла про все: и про спевки и про своего дядю Леню.

жильцов пускал. Свой дом у нас был, каменный, с мезонином. Хотели было другой дом прикупить, а тут революция. Мой-то ирод налетел, как коршун, и увез сюда, в глухомань, в Мартыниху пропащую эту... Я его тогда и на лицо не разглядела какой. Вижу, красный бант на груди. Красиво. Забралась к нему на седло и поехала, дура. Мне тогда пятнадцать лет сравнялось, ничего не понимала. Привез он меня сюда — с той поры возле горшков и маюсь. А он все скакал гдей-то со своим бантом, навел порядки... Дите у нас долго не удавалось — десять лет ждали. Бабы говорили, у моего ирода на это дело слабина от кавалерийской должности. И вот народился наконец Игорек, счастье мое ненаглядное, солнышко мое. Слабенький чегой-то родился, сосать силенки не было, через носик кормили. Моего злодея тогда дома не было. Воротился да как зашумит: «Ты что, туды-сюда! Не жена ты мне — контра! Почему моему сыну княжеское имя дала? Перекрестить его сей момент на Марата!» В те годы он сильно красный был. Идеальный. Это теперь с него вся краска слиняла... Так, почитай, с самого рождения тянули мы с ним нашего Игорька в разные стороны.

Пока Настасья Ивановна говорила, я украдкой поглядывала на Пастухова, старалась понять, что у него на уме. Он насутился, устался в угол глазами, и было непонятно, слушал или нет.

— Подошло время обрывать Игорька в школу, — вспоминала Настасья Ивановна, — а у нас нет ничего... В тот год мой дурачок все добро в колхоз стащил: и коня, и сбрую, и колеса. Нам бы на пятьдесят лет хватило, а он стащил. Теперь у нас ничего нет, и в колхозе на двадцать одров четыре хода... Бывало, Игорек из школы придет, сразу бежит казанки перебирать. Казанков этих у него был целый чулан натаскан: и простые бабки, и крашенные, и свинцом залитые, и с пломбами, и с заклепками, и с гвоздями. Отец, бывало, шумит: «Брось мослы! Читай задачку!» А он улыбается, бедный, да говорит: «Чего их учить, уроки-то?.. Положи лучше мне, маманя, поболе пирожка, я сегодня с Ванюшей поделюсь, больно он любит пирожок с луком». Ванюшка этот был младший братишка учительницы-сиротки. Игорек с ним на одной парте сидел. Подкармливал его потихоньку. Вишь, какой жалобный... — Она шмыгнула носом.

В тридцать восьмом году свезла я его в Москву, в техникум. Каждый месяц деньги слала. Из-за этих денег с иродом моим целные бои терпела. А все ж таки мой был верх: последнее продам, а деньги пошлю. И пришла мне награда. После войны объявился Игорек всем на удивление живой и здоро-



вый, привез целый ящик: и гречку и макароны. Тимошка с голодухи бросился слушать смазчиком на железной дороге. Ему давали хлеб, да хлеб-то был одно название: сырой, хоть коников лепи. А тут такое добро! «Чем, — говорю, — одарить хоть тебя, сынок, не знаю». «Ничего, — говорит, — мне с вас не надо. У вас у самих ничего нет. Вот хоть иконку возьму, если дадите, так уж и быть, об вас на память». И снял иконку, как сейчас помню, самую старенькую, самую плохонькую... — Настасья Ивановна утерла глаза и высморкалась. — Жил он тогда в Москве, чегой-то такое выдумал, и посулили ему заслуженное звание. Жить стал сытно, богато. Въехал в частную квартиру к какой-то гражданке, расписался и стал с ней жить. А когда стали документы поднимать для ученого звания, открылось, что у его жены

брат с какой-то червоточинной, вредитель какой-то, мазурик. А она утаила... Игорек, конечно, подал жалобу куда надо и остался один-одинешенек. Была у него единственная отрада — приехать в отпуск в родные края, к отцу, к матери. Кроме вас, говорит, маманя, нет у меня ничего...

Я боюсь, что рассказ старухи еще пуще растравит Пастухова. Он сидел бледный и упорно смотрел в угол. Я глянула туда и ахнула. В подлабочье среди барахла лежал старый колун.

Я старалась сбить старуху на другие темы, но она только отмахивалась и цеплялась за сладкие воспоминания, которые оправдывали ее пустую жизнь. А когда Настасья Ивановна стала хвастать, что портрет Игоря Тимофеевича вывесят среди других почетных жителей Мартынихи, я поняла, что добром это кончиться не может, и побегла за председателем.

Дома его, конечно, не было. Я побегла к Белоусу и не ошиблась. Художник зарисовывал эскиз нашего уважаемого Зиновия Павловича. Товарища Белоуса рисовали по поясу, поэтому он сидел в новом пиджике с орденами и в старых штанах. Иван Степанович давал указания, куда класть тени.

Я отозвала председателя на кухню и выложила ему, как Игорь Тимофеевич загубил Груньку, как дознался об этом Пастухов и что Пастухов сейчас сидит у Настасьи Ивановны и глядит на колун.

Председатель до того расстроился, что позабыл меня ругать за воспитательную работу.

— Все, — сказал он. — Загубили юбилей! Чего глаза вылупила? В районных организациях какая была дана установка? Чтобы мы подошли к юбилею без пятнышка! Ясно? А тут не пятнышко, а целая клякса! Наладили счастливую жизнь — девчонки под поезд кидаются!

Он сорвал с места Зиновия Павловича, и товарищу Белоусу пришлось бежать с нами к Алтуховым в своем парадном пиджаке.

Всю дорогу Зиновий Павлович не мог уяснить дела, а когда наконец уяснил, цокнул языком и промолвил:

— Думается, Офицерава приняла неправильное решение.

В окнах Алтуховых мирно горел свет. Было тихо. Настасья Ивановна приоделась в шелка, но сыночек ее, слава богу, еще не прибыл.

Увидев начальство, Пастухов свирепо поглядел на меня. Председатель вызвал его из избы. Он вышел беспрекословно.

Они стали беседовать, и чем дальше беседовали, тем жалче мне делалось Раскладушку.

Не пойму, что со мной в тот вечер стряслось. Ровно из воды вынырнула: стала слышать, что не слышала, стала видеть, что не видала. И председатель вдруг обернулся актером с погоревшего театра: говорит одно, а думает другое, ровно под каждым его словом — скользкая подкладка. Под конец еле сдерживалась, чтобы не нагрубить ему. А ведь еще вчера завидовала Ивану Степановичу и все мне в нем нравилось: и работа с народом, и повадка, и быстрая походочка, и даже роспись с голубком...

Беседа между ними произошла такая:

— Давай, Пастухов, поговорим, как мужчина с женщиной, — начал председатель весело. — Играть в кошки и мышки не стоит. Мне все известно.

— Я вижу, — сказал Пастухов.

— А ты молодец! — сказал председатель. — Темное дело расковырял. Честь и слава! Хвастал, небось, кому-нибудь?

— Нет, никому.

— Молодец.

— Дяде Лене намекнул только.

— Напрасно намекнул. Надо было вперед мне доложить. Молодец! Мы-то думали — заслуженный деятель, а он гад ползучий. Сволочь такая... Знал бы — лошадь не давал. Пойдем пройдемся, примем решение.

Взбодренный Пастухов стал повторять уже известные подробности. А председатель, тихонечко ступая, незаметно оттягивал его от избы Алтуховых и от того конца, откуда должен был подъехать Игорь Тимофеевич.

Мы свернули в темный безлюдный заулочек.

— Груня очень любила его... Очень... — сбиваясь, горячим шепотом объяснял Пастухов. — В феврале к нему поехала специально.

— Гляди ты! — восхищался председатель. — На аршин под землей видит! Я думаю, Зиновий Павлович, он бы дознался, кто газик разул. Как считаешь?

— Думаю, дознался бы. — Зиновию Павловичу было холодно. — У нас там возле птицефермы мешки свалены с калийной солью. Как бы не промокли.

— Обожди! — прервал его председатель. — Надо решить, в каком направлении действовать!

— Первым делом — заставить его признаться, — заговорил Пастухов, размеренно и складно. Видно, у него все было обдуманно. — Надо заставить его врасплох и выложить ему всю историю, всю подноготную выставить на свет, чтобы он понял: нам все известно. Лучше сделать это при родителях, при родителях ему будет стыднее. Но это еще не наказание! Вот потом, когда он признается, когда ему будет некуда деваться, собрать колхоз, и старых и малых, и заставить его доложить о своем поведении всему народу. Вот это уж будет настоящее наказание! Такой позор он запомнит навеки! Если же у него не хватит мужества признать свою вину, если

он станет увильгивать и отпираться, я возьму его за руку и потащу в суд. Я разоблачу его перед судом!

— Не кричи, не кричи! — прервал председатель. — Чем тише, тем лучше... Я хочу довести до твоего сведения, что по этому делу составлен форменный акт. Несмотря на вьюгу и холодную погоду, все было исполнено формально. Товарищ Бацура лично выезжал на место, расследовал обстоятельства. В результате обследования и опроса установлен несчастный случай по вине пострадавшей. Привлечешь ты Игоря Тимофеевича — он выложит акт на стол. А ты что выложишь? На месте происшествия был? Нет. Труп видел? Нет. Что же ты выложишь? Какой документ?

— Да я же вам говорил: у меня точные доказательства. Почтовая сумка совершенно целая! Без царапинки!

— А что с того? Дядя Леня попросил в почтовом отделении, ему и дали из уважения новенькую.

— Так там же надпись: «Офицерава»!

— Так то же не подпись, а надпись. Надпись тебе любой нацарапает.

— А рубль разорванный? Половинка рубля?.. В этой половинке весь его коварный почерк... Я кондуктору автобуса в свидетели позову...

— Рубль тем более не документ. Рублей у нас много. Давали бы мне лишние рубли, я бы их тоже напололам. Куда их.

— Да вы что? — Пастухов остановился, и я наткнулась на него сзади. — Вы что? Не верите?

— Мы-то верим. — Белоус шумно вздохнул. —

А надо, чтобы поверила общественность.

— Да ведь все сходится! Он и у родителей не остановился, потому что боялся встретиться с Груней... В дом отдыха сбежал...

— Мешки бы под навес перенести или накрыть чем... — сказал товарищ Белоус. — Химия мокнет.

— Ты учти деталь, — напомнил председатель Пастухову. — Аморалка исходила от Офицеравой. Если встать на вышку закона, не он к ней бежал, а она к нему. Так?

— Она же любила его!

— Тебе говорят дело, а ты обратно одно и то же — на всех станциях горячий кипяток! А поступай, как желаешь! Устал я вас всех упрашивать и на коленках перед каждым становиться! Хватит! Пойду в бригадиры или в кладовщики...

Мы молча прошли немного. В темноте мягко шелестел дождь.

— Если она его любит, — осенило вдруг председателя, — ей надо было обратиться в соответствующие организации. Пригрозили бы ему, и стал бы жить с ней за милую душу. У нас кто стоит на страже матери и ребенка? Государство. А она под колеса кинулась. Это как понимать? На свое родное государство не понадеялась? Что, ее советские законы не устраивали? Советская власть ее не устраивала?

— Я в суд пойду, — сказал Пастухов жестко. — Есть такая статья — доведение до самоубийства.

— А к статье есть примечание.

— Какое примечание?

— Вот видишь, не знаешь. Не знаешь ты всего, бригадир. Разве так можно? Хотя ты насчет судов у нас опытный, а надо сперва изучить вопрос. С кандачка на суд люди не кидаются. — Он немного подумал. — Мы выйдем на суд, а он выложит наш же собственный акт и спросит: кто вам дал право ставить под сомнение советского человека? Вы в какое время существуете? А ну, привлечь Пастухова за клевету. Есть у него судимость? Есть! А ну, припаять ему покрепше! Товарищ он видный. Вера ему есть. Не связывайся ты с ним, бригадир. Не рекомендую.

— Неловко получается перед народом, — добавил

Белоус. — На Алтухова пишем портрет, как на образец, и на него же заводим дело. Вон, скажут, здравствуйте, висит на щите какой кобель. Видать, он в ихнем колхозе — типичное явление.

— Неужели вам не совестно? — спросил Пастухов. — Неужели вы хотите замазать эту историю? Вы понимаете, что это значит? Я же вам говорил, он уже и тут напакостил, кондукторше закинул ту же удочку. Кондукторша автобуса номер три, звать Тамара.

— Ну, давай не замазывать! — потерял терпение председатель. — Давай размазывать. Звони на весь район. Вот в «Красном борце» посмеются!

— А откуда станут делать вывод обо всей нашей идеологической работе, — вздохнул Белоус.

— Так что же, по-вашему, простить ему?! Помалкивать?! Потакать?!

— Кричи шибче! — сказал председатель. — Шуми, чтобы вся деревня слышала.

— Тем более на пороге юбилея, — сказал Белоус, до которого только теперь вопрос стал доходить во всей своей тонкости. — Гостей назвали, из области приедут руководящие товарищи. А у нас заместо надоя такая склока между собой.

— А вот что мы сделаем, — оживился председатель. — Мы с ним сами расправимся. Прав бригадир — принципиально ставит вопрос. Мимо таких уродов проходить нельзя. Я предлагаю вот что: а если мы его на щит не вывесим? Вот ему будет пуля! Других всех вывесим, а его нет! Согласен?

— Согласен, — отрубил Пастухов. — Спокойной ночи.

И пошел.

— Работа с людьми — великое дело, — сказал Белоус. Он постоял, послушал дождь, вздохнул. — Химия-то мокнет... Перетаскать бы мешки под навес бы... — И отправился спать.

Шаги Пастухова затихали в глухом конце заулка. Самая короткая стезжка до избы Бурковых вела отсюда задами, вдоль огородов и риг. Но ночью — да в грязную погоду — любой и каждый вернулся бы на шоссе и пошел бы по асфальту, по улице, освещенной фонарями и окнами.

Я сердцем чуяла, что Пастухов поворотил не домой, а в другую сторону, караулить Алтухова.

Об этом, видно, подумал и председатель. Он сказал тихонько:

— А ну пошли поглядим.

Я сказала, что не пойду.

— Как это — не пойду?

В сердцах я не стала ничего выдумывать.

— Очень просто! С вами не пойду — и все!

— Надо бы тебе беспокоиться о людях.

Тут меня вовсе взорвало:

— А вы беспокоитесь? За Пастухова, за Игоря Тимофеевича боитесь? Плевать вам на них! Только о себе думаете...

— Да ты на кого хвост поднимаешь? — Он внимательно поглядел, я ли это. Потом устало махнул рукой и отправился один.

Хотя я понимала теперь, что усталость и тяжелые вздохи председателя — одно притворство, мне стало чего-то совестно. Я нагнала его, пошла рядом.

Минут пять молчали. Потом председатель, как ни в чем не бывало, сказал:

— Ты бы хоть в хор бы его затащила. Сколько тебе раз указывали: человек сложный, с заскоками, убеждениям не поддается. Только коллектив сможет отстрогать его, как положено, сбить с него излишние сучки и занозы. А ты ходишь за ним все равно, как часовой за арестантом, а толку никакого нету...

На краю деревни, возле моей избы, стоит березовый колок. Такие там растут милые березки, моло-

денькие, с черными копытцами. Сейчас, в темноте, их не видно. Слышно только, как дождик ищется в листьях.

— А ну-ка пойдй глянь-ка туда, — велел председатель.

Я забоялась.

Он сам перепрыгнул канаву, потоптался на опушке и сказал громко:

— Вон он где затаился!

Никто не отозвался. Частый шепот мокрых листьев доносился из колка.

Председатель простыл и ушел.

А я так и стояла на дороге, хотя меня всю кололо. Пастухов где-то здесь, совсем близко. Пройдя заулочек, он, конечно, своротил налево, дошел верхней стезжкой до двора Чикуновых, нащупал кучу деталей раскулаченного дизеля, выбрал железяку поувесистой, проверил, не стоит ли у Алтуховых ворот подвода, и притаился где-то здесь, за деревьями. Мне виделось это ясно, как во сне. Я хорошо изучила Раскладушку.

Дождь кончился, было совсем тихо. Уши устали и слышали то, чего вовсе не было: то вроде кто-то крался за спиной, то вроде хихикал.

И когда раздался знакомый, деликатный постук палочки по асфальту, я сперва подумала, что мне тоже мерещится.

А палочка поклевывала все ближе, и я наконец уверилась, что идет дядя Леня.

Я бросилась навстречу, и с ходу стала жаловаться и на председателя, и на Белоуса, и на Раскладушку. Дядя Леня вздыхал и кивал головой, будто все ему было давно известно.

Мы вернулись к березкам.

Дядя Леня прислушался и позвал:

— Виталий?

Никто не отозвался.

— А я тебя слышу. — Дядя Леня показал палочкой. — Вон там слышу.

Мы подождали еще немного.

— Как хочешь. Хочешь молчать — молчи. Одно пойми: как бы мы с тобой ни кувыркались, пайчки нашей не вернуть. Ничего от нее не осталось, кроме светлой памяти.

В рощице молчали.

— Ну ладно, докопался ты до истины. А спроси покойницу: хочет она, чтобы ты докапывался? Не понравится ей это. Не одобрит. Было бы надо, сама бы написала: «Так и так — прошу не винить». Знаешь правду — и молчи.

— Значит, зажег свечу и спрячь в карман? — послышался голос Пастухова, и сам он, мокрый, в пиджаке с поднятым воротом, прыгнул на обочину. В руке у него была железная шоферская монтировка. Так я и знала!..

— Правда светить должна, — сказал он еще. — Правда требует дела. В кармане она только душу жжет.

— Живого человека по темени тяпнуть — это, по-моему, дело? — спросил дядя Леня.

— Я не хотел тяпнуть... Я хотел взять его за шиворот и выволочь на народ, на свет его выволочь. Я хотел по закону, а меня за руки держат... Ступайте, дядя Леня, домой. Простынете.

— Сейчас пойду. Убьешь?

— Там будет видно.

— А про себя подумал?

— Мне все равно. Меня поймут.

— Понять, может, поймут. А срок дадут. Как же тогда твои трактора, скорости?

— Устал я, дядя Леня. Мне все, все равно.

— То-то и есть... Знаю, не похвалишь ты меня, а

намекнул я ему. Уехал наш злодей не попрощавшись.

— Уехал?

— Отбыл. На вечернем почтовом. Башковитый все-таки... Я ему издаля, без фамилий... А он мигом смекнул.

— Да вы что, сговорились все? — заголосил Пастухов на всю деревню. — Сговорились выгораживать эту мразь? А вы-то, вы... Вы же Груне вместо отца... Предатель вы и больше никто!

— Так и знал — бранить станет, — сказал дядя Леня.

— Зачем вы это сделали? Зачем?

— Люблю я тебя, Пастухов, и не хочу твоей гибели... А Груня меня не осудит... А потом все ж таки чем тебе повезло? — попробовал пошутить дядя Леня. — Тем тебе повезло, что у тебя живой консультант остался...

По асфальту затарахтела бричка. Дед Алтухов возвращался домой порожняком, без сыночка. Был он мокрый и злющий.

Кобылка скакала вперевой, как стреноженная.

— Куда, зараза! — кричал он, нахлестывая. — На ровном шоссе кривулять! Я тебе покривуляю...

Пока дед доехал до ворот, весь изматюгался.

16

Через год-два после того, как случилось все описанное, отношение к скоростной механизации в корне изменилось. Движение скоростников приобрело широкий размах, особенно в Сибири и на юге нашей Родины. В весенние дни 1960 года центральная печать сообщала, что ударник коммунистического труда, тракторист из Одесской области Гедеон Иванович Бочевар на культивации пропашных культур перевыполнял нормы больше чем в два раза. Почин Бочеваара подхватили тысячи передовиков. Пленум ЦК подчеркнул, что важнейшим направлением в деле дальнейшего развития механизации сельскохозяйственного производства является переход на повышенные скорости тракторных агрегатов. Прислушиваясь к голосам практиков, Минский и Волгоградский заводы стали выпускать скоростные тракторы, как гусеничные «Т-75», «ДТ-54-А», так и колесные, например, «МТЗ-5МС/ЛС». Недавно мы купили трактор «МТЗ-5Л/М». Он может ходить на десяти скоростях, от 1,4 километра до 22 километров в час. Очень симпатичная машина.

А летом 1959 года скоростная механизация в нашем колхозе еще только проклеивалась, и трудно было, конечно, одному Пастухову своротить с наезженной колеи и председателя, и инструкторов, и ответственных товарищей из РТС, и удаленных за тысячу километров работников министерства.

Тем более, его отвлекала история Груни.

Первые дни после отъезда Игоря Тимофеевича мы опасались, что Пастухов бросится в Москву и учинит там какой-нибудь сабантуй. Разыскать Алтухова ничего не стоило: он оставил свой московский адрес для досылки чертежей.

Но после ночного разговора Пастухов стал тише и тише: полюбил тихие работы, перебирал с бабами картошку, решал кроссворды.

Раньше был моторный парень, бегал, как смазанный, а тут стал ходить шагом, как и остальные рядовые колхозники.

И неясных вопросов к председателю у него становилось все меньше.



Жила я тогда, как на угольях, и, глядя на застывшее лицо моего Раскладушки, была уверена, что он всех нас обманывает и усыпляет бдительность.

Но опасения оказались напрасными. Пастухов позабыл про водку, стал дисциплинированным, исполнительным и тишел с каждым днем.

Больше всего меня успокоило, что он перестал подымать разговоры про Груню и строить вокруг нее теории. Будто выпала она у него из памяти. Дядя Леня тоже помалкивал. Так это дело и затухло.

Крутое изменение характера Пастухова на первых порах насторожило и председателя. «Что это с ним — ровно воздух из него выпустили?» — спрашивал он иногда сам себя и долго, опасливо смотрел вслед бригадиру. За три года я хорошо изучила Ивана Степановича, но одного его поступка не могу понять и по сей день. Когда подошла пора жатвы, он неожиданно, по своей инициативе, вынес на правление вопрос о скоростной уборке хлебов.

Мы все помнили, что еще зимой Пастухов мечтал косить хлеб на повышенной скорости. Неудача прошлого года ничуть не огорчила его. Во-первых, поле было невыравненное, во-вторых, плохо посеяно — рожь росла холмами. На этот раз он предлагал применить безлафетную жатку на пневматиках. О том, как ее приспособить для скоростной работы, он вел длинные беседы с Ларисой, которая оказалась самой способной его ученицей.

К удивлению председателя, Пастухов на правление не пришел. Под предлогом мигрени он остался дома, а все бумаги передоверил Ларисе.

Хотя Лариса и была трактористом первого класса, но пастуховского чутья машины еще не достигла. Пока она объясняла правленцам, как увеличить стригущую скорость ножа и зачем нужен дополнительный щиток-отражатель, ее еще слушали с доверием, но как только стала советовать косить без мотовила, Зиновий Павлович до того огорчился, что ушел, а председатель сказал, что еще лучше снять вдобавок и колеса и вернуть все эти детали как излишний утиль на завод, к чертовой матери.

Лариса поругалась, поплакала и пошла к Пастухову. Тот играл с Бугровым в «козла».

Выслушав, как ее подняли на смех, он сказал:

— В общем-то Иван Степанович рассуждает логично. Надо подождать, когда промышленность начнет делать прицепные машины для скоростной работы. Тогда и возьмемся. А кустарничать в эпоху сплошной механизации смешно. Иван Степанович прав... Козыри крести...

Лариска вгорячах прибегла ко мне, сверкая зенками, рассказала все это и добавила:

— Ты на сельскохозяйственную выставку Раскладушку снеси. Тебе за него медаль дадут!

Хотела было я ее поставить на место, но не стала. Без нее тошно.

Нападала на меня в то время серая тоска, накатывала приступами, и от разных мелких причин. Например, от ветра. Чем пуще ветер, тем сильней тоска. До того дошла, что одна дома сидеть боялась.

Ладно еще, что подготовка к юбилею отвлекала меня и я забывалась немного. Подошло время украшать деревню, разукрашивать избы, готовить ночлег для гостей, отрабатывать выступления. Мать Ларисы, Анну Даниловну, которая была в тридцатом году секретарем комсомольской ячейки, уговорили поделиться воспоминаниями. Иван Степанович велел подготовить для нее текст. Хор должен обновить программу. Уборочная была трудоемкая, все, куда ни обернись, поспевало и созревало, молодежь маялась на полях и усадьбах, на спевки собиралась трудно. И постепенно я вовсе забыла о своем подшефном.

Однажды он сам пришел ко мне на дом и подал бумагу.

Я спросила его, что это такое.

— Читай, — сказал он тихо.

Это было написанное по форме заявление:

«Настоящим я, В. Пастухов, прошу включить меня в хор колхоза «Светлый путь». В просьбе моей прошу не отказать. В. Пастухов».

Я, конечно, обрадовалась. Тем более, два баритона женились и молодухи опасались отпускать их на спевки. Но когда наедине перечитала заявление, снова ни с того, ни с сего накатила на меня тоска, да такая лютая, что я заснуть не могла, задыхалась, будто душил меня кто-то нездешний. Выходила на двор, ночной водой умывалась — ничего не помогало.

Дошло до того, что к Таисии Пашковой побегла, чтобы пошептала исцелительную молитву. Пашкова у нас хоть и кончила тракторные курсы, а верующая. Конечно, она оправдывается, что, мол, не в бога верит, а так, ради умиления молится, умиления жаждет, — а я думаю так: раз молитвы шепчет — значит, верующая. Прибегла я к ней, она говорит: «Надо знать причину». Я объясняю про ветер и прочее — не верит. «Не хочешь, — говорит, — признаваться, какой мужик тоску нагоняет — ступай!»

Подошел праздник. Наши хлопоты и расходы полностью оправдались. Старые и малые потянулись в клуб. Та же Таисия позабыла, что в этот день случилось успение пресвятой и пречистой девы Марии, и пела в хору так, что занавес колыхался.

Как бы ни было временами тяжело, какие бы ни случались неполадки, а живет в крестьянстве гордость достигнутыми успехами. Всем видно, как за тридцать лет преобразилась и украсилась родная страна. Все создавали, что три десятка лет тому назад и в нашей округе произошел исторический перелом, зародилась новая жизнь...

Гостей понаехало много. Шоссе возле клуба с обеих сторон было заставлено грузовиками и легковушками из района, из области и из соседних колхозов.

Ивану Степановичу было чем похвастать, было на что обратить внимание собравшихся.

Урожай выдался неплохой, капризная гречиха, и та не подвела. Плотницкая бригада поднажала и досрочно, в аккурат в праздничное утро, за час до приезда секретаря райкома, закончила новый телятник. И гипсовые пионеры на клубном крыльце были выкрашены в серебряный цвет.

После доклада, приветствий и воспоминаний сделали перерыв, чтобы подготовить сцену для хора.

С выступлением самодеятельности произошла задержка. Кого-то угораздило принести свежий номер «Колхозного производства», и многие отвлеклись. Оно и понятно: журнал будто нарочно приурочили к нашему празднику. В самом начале была фотография: Пастухов и Игорь Тимофеевич в обнимку возле переезда, на кукурузном поле. На той же странице начиналась длинная статья Игоря Тимофеевича под заголовком «Растреножим стальных коней». В статье расхваливался Пастухов и описывались придуманные им изменения узлов в механизмах, необходимые для скоростных полевых работ. Девчата выхватывали журнал друг у дружки, разглядывали снимок, цитировали то место, где намекалось, что слабые руководители колхозов существуют не только в слабых фильмах.

Пожалуй, больше всех ликовала Лариса. Она была уверена, что после такой статьи трактористам «Светлого пути» откроют зеленую улицу. А про слабые фильмы Митька заучил наизусть. Дядя Леня улы-

бался вместе со всеми и, хоть ничего не видел, тоже попросил журнал — поддержать немного...

Один только Пастухов какой был, такой остался.

Когда журнал дошел до него, он бегло просмотрел статью и коротко хихикнул. Оказывается, Игорь Тимофеевич перепутал: на ведущем валу транспортера надо было показать десятизубовую звездочку, а он изобразил восемнадцатизубовую.

Кроме этого хихиканья, от Пастухова не дождался ни словечка. А когда ему, по справедливости, стали дарить журнал, отмахнулся:

— Куда мне его!

И пошел, прихрамывая, в угол. Красный сапожок с чужой ноги был ему немного тесен.

Пока мы, позабывшись, шумели и спорили, на сцену выскочил сердитый, взопревший Иван Степанович.

— Вы что, в своем уме? — зашипел он. — В первом ряду — ответственные товарищи, секретарь обкома по пропаганде, а вы что? Галдите, гогочете, задерживаете... Какая статья? Потом статья! Становитесь!

Мы стали усаживаться, девчонки, как всегда, в первых двух рядах, ребята — в третьем.

Пастухов, прихрамывая, полез на стул.

Иван Степанович поглядел на него, цокнул языком.

— Обрато, бригадир, ты мне строй портишь. А ну немного вперед. Так, так... Стоп!

Долговязый Пастухов улыбнулся сиротской улыбкой и ссутулился. Он понимал, что торчит каланчой над хором, и очень смущался. В шелковой косоворотке, опоясанный крученым, с кисточкой пояском, он смахивал немного на Иванушку-дурачка.

— Нет, — огорчился председатель. — Сбиваешь ты мне ранжир. А ну перейди на край... Побыстрой!.. Чего ты, как сонная муха... Вот так. Подравняйся! — Пастухов подравнялся. — А ну слезь со стула. — Пастухов слез. — Нет, так вовсе низко. А ну встань, как стоял. — Пастухов встал на стул. — Подравняйся... Так, так. Стоп! Теперь вроде неплохо! Приступайте!

Пока он переставлял туда-сюда Пастухова, смертная тоска снова взяла меня в клещи, и я чуть было не завывала, когда открыли занавес.

Глянула я на Пастухова, и вдруг, ровно зарница сверкнула, поняла я, отчего все это со мной...

После хора состоялось награждение ценными подарками.

Награжденные по очереди выходили на сцену, получали из рук председателя подарок и выступали с краткими речами. А хор величал каждого заранее заготовленным куплетом.

Когда дошла очередь до меня, Иван Степанович сказал:

— А нашей всем известной активистке Лебедевой Марусе подарок со значением: статуя «Вперед и выше!».

Все захопали. Я, как была в кокошнике, сделала два шага.

Председатель подал мне маленькую тяжелую фигурку — парень, вытянув стрелой руку, рвется куда-

то вывсь. Сейчас эта фигурка у Пастухова, и я иногда захожу поглядеть на нее. Фигурка действительно красивая, белого металла. Но в ту минуту запомнилось одно: тяжелая она, очень тяжелая.

И я начала говорить.

Сперва я сказала, что понимаю, на что намекнул Иван Степанович. Намекнул на мою успешную воспитательную работу среди Пастухова. И правда, результат налицо. То Пастухов мудрил всяко: трактора бегом гонял, зубчатки с машины перевинчивал — а теперь нет. Теперь только поет.

— Гости могут поинтересоваться, как я добила таких успехов. А очень просто. Воспитывать активного борца, строителя коммунизма трудно, долго и не каждому дано. А подгонять человека под свой серый шаблон куда проще. Так я его и натаскивала. Врать ему не давала и от правды берегла. Могу заверить: стал он послушный, слушаться будет всех и каждого. Теперь его как посадишь, так он и сидит, как поставишь, так и стоит. Спокойный стал — как покойник.

Я говорила, позабыв про тяжелую фигурку, и боялась только одного — чтобы меня не погнали среди речи. Мне обязательно нужно было договорить до конца, чтобы все поняли, какое страшное дело я натворила. И предостеречь других... В зале застыла странная тишина. И Иван Степанович застыл на сцене, как замороженный. Я собралась было и его помянуть, поскольку он давал руководящие указания, но вовремя одумалась и не стала прятаться за чужую спину. Пусть каждый за себя отвечает!

— И все-таки премии я принять не могу, — сказала я. — Недостойная. Неправильно мне ее присудили. Пока я над Пастуховым кудахтаю, оказалось, что он меня перевоспитал больше, чем я его. Ровно я возле него воскресла. Светлячкам научилась радоваться и не только людям — солнышку в глаза глядеть не боюсь. Да если бы не он, разве встала бы я перед вами да осмелилась сказать это?

Я задохнулась от волнения, и тут, хотите — верьте, хотите — нет, в зале захопали. Сперва захопал кто-то один в первом ряду, потом другой, потом хлопали все. Я подняла руку.

— А подумать всерьез — натворила я страшную беду. Одно утешение: гляжу на вас, вижу, как вы слушаете меня, и верю — оживет среди нас Виталий! Раз уж я, такая кочерыжка, ожила — он тем более оживет...

Я хотела сказать еще что-то, но слезы душили меня.

Я поставила фигурку на стол и побежала за кулисы, мимо веревок и старых декораций, в коридор, на крыльцо, на волю.

В просторном небе играли звезды. Ночь была светлая, свежая, стальная августовская ночь. Прямое, как хлыст, асфальтовое шоссе белело вдоль праздничной нашей деревни и бежало дальше, соединяя в одно далекие города и села. Я шла по ровному асфальту прямо, прямо, прямо, сама не знаю, куда, зареванная и счастливая, и встречные машины объезжали меня стороной.



Проза Есенина

Я перечел Сергея Есенина.
Вот что писал он в 1918 году:
«В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение. ...Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности...»¹.

Что он имел в виду?

А вот что:

«Человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей», — говорил он, указывая на творческую ориентацию наших предков в царство космических тайн.

Тут я упускаю несколько не идущих к делу подробностей.

А дальше читаем:

«Дряхлое время... сзывает к мировому столу все племена и народы...»

И затем, пропуская несколько слов о том, что именно стоит на столе:

«Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле».

И вслед за этим:

«Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства».

Это он мог, по всей вероятности, говорить и в устной беседе, и Петру Ивановичу Чагицу, и Айседоре Дункан, и членам правительства... Очень и очень серьезно Есенин за этот вопрос брался:

«Человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности...» *«Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса».*

И об этом же говорят и его стихотворения, но я привожу лишь отрывки из прозы Сергея Есенина, чтобы видели вы из примеров, которые я перечислил, что Есенин не только лирически, но и космически мыслит. И вы, которые будете сегодня и завтра перелистывать Сергея Есенина, автора не только «Москвы кабацкой», но также и «Пантократора», перечитывая стихи его благоговейно, не пренебрегайте рассеянно прозой Сергея Есенина — современника Ленина, Циолковского и Эйнштейна.



Леонид
Мартынов

Единая стезя

Что говорить,
Я видел города:
Будь житель их латинянин, германец,
Порой глядишь: седая борода,
А на лице пылающий румянец.
Да то же самое и молодежь...
Зачем все время на нее сердиться!
Куда ни глянь, повсюду ты найдешь
Живые, человеческие лица.

Всегда найдется
Некий круг людей,
Связуемых порукой круговою
В конечной степени за все живое,
Каким бы ты наречьем ни владей.
Так, Маркс и Энгельс были заодно
Не только с Дарвином, но и с Ван-Гогом,
И с Герценом, и с Уитменом, но
Совсем по разным идучи дорогам
Навстречу бедам, радостям, тревогам,
Как будто
Мир
Един
Давным-давно!

¹ Примечание редакции:

В данном случае поэт имел в виду тех представителей «подгрупповатого футуризма», которые старались сгруппировать воедино «...все отбросы чувств и разума» и бросить «...этот зловонный букет... в наше... окно искусства».

Диалектика полета

Диалектика полета!
Вот она:
Ведь не крылатый кто-то,
Черт возьми, а именно бескрылый
По сравненью даже с дроздофилой,
Трепетный носитель хромосом
В небесах несется, невесом!

Твист в Крыму

Я наблюдал,
Как пляшут твист
В Крыму.
О нет, я не смотрел, как лютый ворог,
На этих неизвестно почему
Шельмуемых танцоров и танцорок,
Но понимал: не это — твист, не та
Динамика, не так руками машут.
И вдруг сказала девушка, проста
Почти до святости:

— Они вприсядку
пляшут!

И оказалась к истине близка,
Ее воображение было чисто.
Они откалывали казачка!
Вот что в Крыму
Плясали
Вместо
Твиста.

✱

Есть люди:
Обо мне забыли,
А я — о них.
У них всегда автомобили,
А я ленив.
Поверхность гладкая намокла
И холодит.
Через небьющиеся стекла
Едва глядит
В лицо мне некто, на пружины
Облокотясь,
Как будто вождь своей дружины,
Древлянский князь.
И, может быть,
Меня не старше
И не бодрей,
Не может он без секретарши,
Секретарей,
Но, может быть, иду я все же
Пешком скорей,
Я, может быть, его моложе,
А не старей!

Вдохновенье

Смерть
Хотела взять его за горло,
Опрокинуть наземь, придушить.
Он не мог ей это разрешить.
Он сказал:

— Не вовремя приперла!

Кое-что хочу еще свершить!
Тут-то он и принялся за дело —
Сразу вдохновенье овладело,
Потому что смерть его задела,
Понял он, что надобно спешить,
Все решать, что надобно решить!



Евгений
Евтушенко

Из цикла стихов об Италии

Римские цены

Рим напокажет и навертит,
а сам останется незрим.
Коли Москва слезам не верит —
не верит даже крови Рим.

Он так устал от всех обманов,
от лжегероев, лжетитанов,
и хочет он в тени каштанов
пить безобманное вино.
Быть может, столько в нем фонтанов,
чтобы от новых шарлатанов
скрывать за брызгами лицо.

В метро, трамвае, фазтоне,
в такси гонялся я за ним,
за жабры брал в ночном притоне,
но ускользал он по-тритоньи,
неуловим, необъясним,
и на асфальте и бетоне
у Рима, словно акатоне¹,
почти вымаливал я Рим.

Но слишком я спешил, пожалуй,
с нетрезвой скоростью пожарной,
что внешне трезвости мудрей,
и тупики, руины, свалки
по доброте вставляли палки
в колеса резвости моей.

Я брел в растерянности жалкой.
Гигантской соковыжималкой
гудела жизнь. Я был смятен.
Вокруг бежали и стояли,
лудили, клеили, паяли,
чинили зубы и рояли,
штаны, ботинки и мадонн.

В уборных грязные обмылки
хранили тайны сотен рук.
У баров битые бутылки,
как Рима скрытые ухмылки,
косясь, ослаблялись вдруг:
«Смотри,— в такой камнедробилке

¹ Нищий, попрошайка.

тебе, что камешку, — каюк...»
Кричал неон: «Кампари-сода!»
В тазу детей купали. Сохла
афиша битлзов. Капли сонно
с белья стекали у стены.
И вкрадчивые, как саперы,
японцы щупали соборы
то с той, то с этой стороны.

Все на детали разлезалось,
несовместимые, казалось,
но что-то трезво прорезалось,
связуя частности в одно,
когда в лавчонках над вещами
бесстрастно надписи вешали:
«Уценено!», «Уценено!»

На книжках, временем казенных,
на залежавшихся кальсонах,
на всем, что жалко и смешно,
на застоявшихся буфетах,
на зависевшихся портретах:
«Уценено!», «Уценено!»

Я замирал, и сквозь рекламы
как будто сквозь игривый грим,
облезлой львиной гривой драмы
ко мне проламывался Рим.

И мне внезапно драма Рима
открылась в том, что для него
до крика сдавленного мнима
на свете стоимость всего.

Постиг он опытом арены
и всем, что выпало затем,
как перечеркивались цены
людей отдельных и систем.
И, дело доброе содеяв,
он проставляет сам давно
на всех зазнавшихся идеях —
«Уценено!», «Уценено!».

И если кто-то себе наспех
вздувает цену неумно,
то Рим уже предвидит надпись:
«Уценено», «Уценено!»

Но Рим, на все меняя цены,
в себе невольно усомнен,
боясь, что сходит сам со сцены,
что сам эпохой уценен.

И драма Рима — драма храма,
который в сутолке веков
набит богами, словно хламом,
и в то же время — без богов.

И в чем разгадка драмы мира!
Не в том ли, что для мира мнима
цена вещей, как и для Рима!
И, если даже мир сполна
цены вещей не знает новой,
рукой насмешливо-суровой
крест-накрест — прежняя цена...

Процессия с мадонной

В городишке тихом — Таормина
стройно шла процессия с мадонной.
Дым от свеч восходил и таял мирно,
невесомый, словно тайна мига.

Впереди шли девочки, все в белом,
и держали свечи крепко-крепко.
Шли они с восторгом оробелым,
полные собой и миром целым.

И глядели девочки на свечи,
и в неверном пламени дрожащем
видели загадочные встречи,
слышали заманчивые речи.

Девочкам надеяться пристало.
Время обмануться не настало.
Но как будто их судьба, за ними
позади шли женщины устало.

Позади шли женщины, все в черном,
и держали свечи тоже крепко.
Шли тяжелым шагом

удрученным,
полные обманом уличенным.

И глядели женщины на свечи,
и в неверном пламени дрожащем
видели детей худые плечи,
слышали мужей тупые речи.

Шли все вместе, улицы минуя,
матерью мадонну именуя,
и несли мадонну на носилках,
будто бы стоячую больную.

И мадонна, видимо, болела
равно — и за девочек и женщин,
но мадонна, видимо, велела,
чтобы был такой порядок вечен.

Я смотрел, идя с мадонной рядом,
не светло, не горестно на свечи,
а каким-то двуединным взглядом,
полным и надеждою и ядом.

Так вот и живу — необрученным,
и уже, быть может, обреченным,
где-то между девочками в белом
и седыми женщинами в черном.

Жара в Риме

Монахи, к черту все сутаны,
ныряйте в римские фонтаны!
А ну, синьор премьер-министр,
скорей к реке

и прямо вниз!

И, как ослы и как ослихи,
к воде — послы, к воде — послыхи!
Миллионер, кричи в смятенье:
«Подайте на кусочек тени!»
Объедини хоть раз господ
с простым народом, общий пот!
Все пропотело, даже чувства.
Газеты — липкое белье.
Мадонна плачет...

Чудо!

Чудо!

Не верьте — катит пот с нее.
За сорок! Градусники лопаются.
Твистует пьяно ртуть в пыли,
как будто крошечные глобусы,
с которых страны оползли.
Все расплзается на части.
Размякло все, и даже власти.

Отщипывайте мрамор храма
и жуйте вместо чуингама!
А бронзовые властелины —
герои,

боги —
жалкий люд,
как будто бы из пластилина:
ткнешь пальцем — сразу упадут.
На пьядца ди Индепенденца
тону беспомощней младенца.
Асфальт расплавленный — по грудь.
«Эй, кто-нибудь!

Эй, кто-нибудь!»
Но нет, никто не замечает.
Жить независимо —

включает
и независимо тонуть.
А надо всем поэт-нудист
стихи пророчески нудит:
«Коровы на лугах протухли.
На небе Млечный Путь прокис.
Воняют люди и продукты.
Спасенье — массовый стриптиз!
Не превращайтесь, люди, в трупы,
не бойтесь девственной красы.
Одежду носят только трусы!
Снимайте радостно трусы!»
Дамы стонут:

«Озона! Озона!»
Объявили, портных окрыля,
наимодным платьем сезона
платье голого короля.
«Ха-ха-ха...» — из веков раздается ответ:
«Оно самое модное тысячи лет!»

«О депутат наш дорогой,
вы в села даже ни ногой,
а села обнищали...
Где все, что обещали!»
«Я обещал! Ах, да, ах, да...
Забыл... Простите — духота...»

«Что-то грустен, миленький.
Подкрепить вином!
Лег бы в холодильнике:
Попрохладней в нем...»

Ну а миленький в ответ:
«Что ты, душка,
даже там спасенья нет:
душно!»
Депутаты перед избирателями,
супруги перед супружницами,
убийцы перед прокурорами,
адвокаты перед убийцами —
все оправдываются добродушно:
«Душно...»

Душно, душно ото лжи...
Россия, снега одолжи!
Но слухи ходят — что за бред! —
что и в России снега нет.

И слухи новые Рим облетели,
что и на полюсе нету льдин,
что тлеют книги в библиотеках,
в музеях краски текут с картин.
И не спит изнывающий город ночей.
Надо что-то немедля решать,
если даже и те, кто дышали ничем,
заявляют:

«Нечем дышать!»

Из кожи мира — грязный жир.
Провентилировать бы мир!
Все самолеты, ракеты, эсминцы,
все автоматы,
винтовки,
а с ними
лживый металл в голосах у ораторов,
медные лбы проигравшихся глав
на вентиляторы,
на вентиляторы,
на вентиляторы —
в переплав!

Быть может,
поможет...

Факкино

Неповоротлив и тяжел,
как мокрое полено,
я с чемоданами сошел
на пристани в Палермо.

Сходили чинно господа,
сходили чинно дамы.
У всех одна была беда —
все те же чемоданы.

От чемоданов кран стонал —
усталая машина,
и крик на пристани стоял:
«Факкино! Эй, факкино!»

Я до сих пор еще всерьез
не пребывал в заботе,
когда любую тяжесть нес
в руках и на загорбке.

Но постаренье наше вдруг
на душу чем-то давит,
когда в руках — не чувство рук,
а чувство чемоданов.

Чтоб все, как прежде, по плечу,
на свете нет факира,
и вот стою и вот кричу:
«Факкино! Эй, факкино!»

И вижу я: невдалеке
на таре с пепси-колой
седым-седой сидит в теньке
носильщик полуголый.

Он козий сыр неспешно ест.
Откупорена фляжка.
На той цепочке, где и крест, —
носильщицкая бляшка.

Старик уже подвыпил чуть.
Он предлагает отхлебнуть,
он предлагает сыру
и говорит, как сыну:

«А я, синьор, и сам устал,
и я бы встал, да старый стал —
уж дайте мне поблажку.
Синьор, поверьте — тяжело
таскать чужое барахло
и даже эту бляшку.

И где, синьор, носильщик мой,
когда один ташу домой

в одной руке — усталость,
в другой — тоску и старость!

Синьор, я хныкать не люблю,
но тело, как мякина,
и я шатаюсь и хриплю:
«Факкино! Эй, факкино!»

Отец, я пью, но что-то трезв.
Отец, мне тоже тяжко.
Отец, единственный мой крест —
носильщицкая бляшка.

Как сицилийский глупый мул,
таскаю бесконечно
и тяжесть чьих-то горьких мук
и собственных, конечно.

Я волоку, тая давно
сам над собой усмешку,
брильянты мира и дерьмо,
а в общем, — вперемешку.

Обрыдла эта маята.
Кренюсь: вот-вот я рухну.
Переменял бы руку,
но нет, не выйдет ни черта —
другая тоже занята.

Ремни врезаются в хребет.
В ладони окаянно,
полны обид, подарков, бед,
врастают чемоданы.

И все бы кинуть наконец,
но жалко мне — не кину,
да и кому кричать, отец:
«Факкино! Эй, факкино!»

Мы все носильщики, отец,
своих и старостей, и детства,
любвей полузабытых,
надежд полуубитых.
И все носильщики влачат
чужой багаж безвинно,
и все носильщики кричат:
«Факкино! Эй, факкино!»

Итальянские автографы

Мрачною,
когда, трепеща, как паломница,
студентка лепечет:

«Я ваша поклонница...»
Краснею,
когда полыселый полковник

басит доверительно:

«Я ваш поклонник...»
И — книжку на подпись,
к счастливым ревнуд
да чаще всего не мою —

записную...
Автографы просят у нас почитатели,
а книжки —
а книжки читают читатели...

Во мне вызывают просители злость:
отстаньте-ка лучше по-доброму.
Но те, что в Италии ставить пришлось,
особые были автографы.
Я вам расскажу,

как в Италии было,
как снобы с усмешкою сытых господ
меня называли поэтом для быдла,
считая бессмысленным быдлом народ.
И глотка сдавала,

сдавала душа,
но всюду
сквозь крики и ругань,
станками,

автолом
и стружкой дыша,
тянулись
рабочие руки.

Меня поднимая негаданно ввысь
над всею облыжной ложью,
раскрывшись,
ко мне партбилеты рвались
с Тольятти на тонкой обложке.
Смущался мой шариковый карандаш,
растерян таким оборотом,
но мне говорили:

«Удобно...
Ты наш...»

Подписывай, парень,
чего там!

И, сжатый толпою,
не помню уж как
подписывал я потрясенно,
а книжечки эти мерцали в руках,
как маленькие знамена.
За них не дают

ни посты,
ни чины.

Они у властей не в почете.
Вернее, в опасном почете они —
в полиции на учете.

И, в горле невольный комок затая,
я подписи ставил неровно,
как будто подписывал клятву,
что я

не сдамся,
не сдрейфлю,
не дрогну.

Еще мы посмотрим,
кто быдло,
кто нет,

и чей я поэт —
мы увидим,
но я никогда
ни один партбилет,
подписанный мною,

не выдам!
И я полуправды писать не могу,
себя между строчек утаивая,
рукою,

что ставила подпись мою
на тех партбилетах в Италии...



Дивину
Дамиан

Прозрение

Терял себя. И видел снова
Одни и те ж плащи... Парад!
Казалось, будто все подряд
Их шьют у одного портного.

Одни карманы к ним пришиты,
Одной походкой все спешат.
Но кто ж я, люди! Кто, скажите!
Шли молча, мимо, все подряд.

И шарить начал я рукою.
Меня искала мысль моя.
Меня! Отличие любое,
Простейший знак, что я есть я.

Нашел!
Тем знаком сердце было.
Мое, во мне,
среди бела дня
Оно существовало. Билось.
Но было скрыто от меня.

Продавцы книг

Средь витрин в шелке праздничном,
где сам воздух светел,
Где глаза не вмещают впечатлений всех,
Там, на главной улице, может,
ты их заметил,
Как руками с книг они сметают снег.

А на базаре, где от пыли все сереет,
Из угла, где сидят они, ты ловил их взгляд!
Там всю жизнь вместе с книгами
они молча стареют,
И солнечные лучи никогда их не щадят.

Они смотрят на торгующих сукном
и прочим.
Как важно за прилавком стоит иной!
Двери хлопают и хлопают, он ничем
не озабочен,



Разнодушно он товар показывает свой.
И у книг бывают очереди... Реже только.
И твой взгляд понимают продавцы книг.
И если книги подобрал ты,
аккуратно и долго
И с видимым удовольствием
заворачивают их.

А потом уже всегда при твоём
приближении
Здороваются с тобой, как со
знакомым лицом,
И смотрят на тебя с таким уважением,
Как будто ты и вправду стал мудрецом.

Будем лучше писать мы!.. Тут ручаться
трудно...
Но, садясь за работу, надо помнить
и про них,
Как ждут они покупателя среди
улиц людных
И голыми руками снег сметают с книг.

Зрители

Приятно следить и несложно —
Пусть сказка на сцене, пусть быт,—
Как кто-то — не ты, а похожий,
Добро или зло там творит.

Ты в кресле, в удобстве, в покое
Сидишь среди нарядных людей
И смотришь, как любят герои
И гибнут от тайн и страстей.
Вот смерть! Ей нельзя не дивиться!
Как здесь режиссура точна!
И слезы ползут на ресницы,
И грудь странным гудом полна.

Со временем можно привыкнуть
Смотреть так всегда и везде,
Как люди рождаются, гибнут,
Как плачут и стонут в беде.

Но все же куда нас потянет,
Когда — пусть не нынче, потом —
Пред нами судьба наша встанет,
На нас указуя перстом!



Да, мама, моря ты не видела, родная!
Но жизнь твоя и так была полна, прекрасна.
Наш домик маленький ночами обступает
Нашествие светил — их свет сквозь

ткань пространства.
Представить не могу, чтоб ты заговорила
С порога с миром звезд,— таким
привычным, близким.
Так, море увидав, орем мы что есть силы
И, прыгая, спешим себя подставить
брызгам.

Ты со звезды сошла — так все в тебе
лучится.
Так странно думать! Пусть! Я верю
в это все же...

В тебе всегда живет не наше любопытство,
А память грустная, она тебя тревожит.
Ни разу ты при мне на звезды не глядела.
А море лишь во сне видала ты украдкой.

Но все ж на берегу, где море грозно
 пело,
 Однажды я твой след нашел
 на гальке гладкой.

И море лишь твои, твои мне песни пело,
 Телами кораблей, как щепками, бросаясь.
 А ты — ты, как всегда, у домика сидела,
 Ни разу посмотреть на звезды не решаясь.

Перевод Н. КОРЖАВИНА.



Анатолий
 Жигулин

☆
 Я сыну купил заводную машину.
 Я в детстве когда-то мечтал о такой.
 Проверил колеса,
 Потрогал пружину,
 Задумчиво кузов погладил рукой...

Играй на здоровье, родной человечек!
 Песок загружай и колеса крути.
 А можно построить гараж из дощечек,
 Дорогу от клумбы к нему провести.

А хочешь, мы вместе с тобой поиграем
 В тени лопухов, где живут муравьи,
 Где тихо ржавеют за старым сараем
 Патронные гильзы — игрушки мои...

☆
 Сухой красноватый бурьян на заре
 И утренний тонкий серебряный холод.
 И город вдали на покато́й горе,
 Военного детства неласковый город.

Лежит в огородах сухая ботва.
 На низеньких крышах — следы пулевые.
 На клеверном поле притихли «ПЕ-2»,
 Блестящие, новые, двухкилевые.

И словно в насмешку над вихрем смертей,
 На стенах старинных бревенчатых зданий —
 Скупые таблички былых страхований
 Губернских, уездных и прочих властей...

О город из древней семьи городов!
 Резные ворота, крылечки косые.

Глазами твоих опечаленных вдов
 Тревожно мне в сердце смотрела Россия.

Спасибо тебе за твою лебеду,
 За мягкое сено в домишках сосновых,
 За редкую сласть — петушков
 леденцовых —
 На бедном базаре в том горьком году.

Кордон Песчаный

Брату Вячеславу

Спустился летчик, весь иссеченный,
 На мягкий мох березняка.
 Над ним в слезах склонились женщины —
 Жена и дочка лесника...

И мы с братишкой в яму черную
 Смотрели, стоя под сосной.
 Мы были просто беспризорными
 Той неуютною весной.

Потом у маленького озера,
 Где самолет упал вдали,
 Двух карасей молочно-розовых
 В прибрежной тине мы нашли.

Под ивой, перебитой крыльями,
 Без соли — не достать нигде —
 В консервной банке их сварили мы,
 В бензином пахнущей воде...

Кордон Песчаный!..
 Пойма топкая,
 Худой осинник на пути!
 Хочу опять сырими тропками
 В твои урочища пройти.

Хочу опушками сорочьими
 Пройти к дымящейся реке...
 Хочу найти могилу летчика
 В сухом и чистом сосняке.

☆
 Я спал, обняв сырую землю,
 На лесосеке, под сосной.
 Осенних трав сухие стебли
 Склонялись нежно надо мной.

И на мешках от аммонита
 Я спал во чреве рудника.
 Осколки битого гранита
 Врезались больно мне в бока.

На дне глубокого карьера
 Не знал я света и тепла.
 Но ни одна меня холера
 Тогда до срока не брала...

А нынче... Нынче только снится
 Былая сила прежних лет.
 Опять через окно больницы
 Смотрю я в пасмурный рассвет.

Смотрю на глинистые пятна,
 На лес, сверкающий бело...
 Земля, земля!
 Отдай обратно
 Мое здоровье и тепло!

● Булат Окуджава



ПРОМОКСИС

Рисунки Н. Цейтлина.

«...Я люблю парное молоко, но я от него отказываюсь, потому что не хочу, чтобы вы подумали, прекрасная Настасья, что я имею виды. Давайте забудем об этом. Посмотрите лучше, какое вокруг небо! А я ведь приехал не затем, чтобы наслаждаться парным молоком, а чтобы полной мерой почувствовать вашу красоту. И это настроило меня на высокопарный лад, хотя я в общем прост и избегаю особой выразительности. Но там, где я живу, а именно в городе, и в самом центре, там люди отучаются от свободного течения слов, а говорят лишь то, что крайне им необходимо по всяким условиям... Позвольте мне говорить, как у меня выливается, и нисколько не заботиться о том, какое это произведет впечатление на окружающих. Я плохого ничего не скажу, потому что думаю только хорошее, а уж как это будет сказано,— пусть останется на моей совести. Итак, я знаю, прекрасная...»

Но в этот момент она появилась снова и протянула ему кружку с парным молоком, а сама отвернулась, чтобы не очень, наверное, его смущать, и он стал с наслаждением пить это молоко, даже позабыв про приготовленную фразу. Да и зачем что-то говорить? Ах, это все напрасно! Он даже имени ее не знал. Просто проходил мимо, увидел ее в окне, хотел побалагурить, но испугался ее синих глаз и жалко выклянчил кружку парного молока. Почему молока? Объяснить трудно.

Он допил молоко и медленно вернул ей кружку,

и в тот момент, когда она собиралась уходить, он вдруг почувствовал ужас, что больше никогда ее не увидит, хотя тридцать лет жил без нее и еще бы, наверное, прожил.

И этот ужас заставил его вскочить со ступенек, на которых он так странно устроился.

В мире, в котором жили бабочки, и стрекозы, и различные звери, и росли деревья, и плыли облака; в мире, в котором люди придумали любовь с поцелуями, и песни, и подношение цветов и где соседствовали страх и смех, рождения и смерти, в этом мире ничто не могло существовать просто так, а все имело свою подоплеку, и ничто не могло казаться странным и лишним, потому что всему свое.

И это была, наверное, главная философия этого мира, в самом центре которого находились те ступеньки, на которых сидел вот сию минуту Павел Сытов перед ликом своей судьбы.

В левой руке он держал гитару. Был конец воскресенья, и пора было возвращаться в Москву, но он не представлял, как теперь это ему удастся, да и она никак не уходила обратно в свой дом, мучая его, вызывая в памяти робкий образ величественной его Маруси.

Черт знает, как это получилось!

А он-то... он-то!.. Мечтал ходить по незнакомым людям, всматриваться в них и говорить:

РАССКАЗ

55

— Здравствуйте, это я, Сытов, с гитарой. Я вообще токарь. Но по воскресеньям играю на гитаре, на древнем инструменте, происходящем от древних греков, который назывался кифара и издавал звук при помощи щипания. Здравствуйте, это я, Сытов. Если кому что нужно, прикажите...

И вдруг он понял, что она смотрит на него с большим интересом. Смотрит — и все тут. Но он не решился поднять голову и полюбопытствовать, как именно она это делает. Может быть, она разглядывает как раз редкие волосы на его темени и знает секрет, как их восстановить?

И все-таки он взял себя в руки, пересилил свой страх и посмотрел на нее, но ее не было.

Печально и смешно сидеть одному вот так на крыльце. А там, за дверью, прислушивается, ушел или нет. Ах, будь ты неладно! И от молока тоже вкус паршивый... Лучше бы пиво... А все-таки Настасья она или кто другая? А что, если войти? И не постучаться, а просто... Вот он я, Сытов, с гитарой... И знаете, между прочим, я думаю, что незачем мне сюда много раз приходиться только потому, что так водится, а давайте с первого раза. У меня тоже есть достоинства, которые под ногами не валяются... Я Сытов. А вы?

А между тем становилось темнее, то есть солнышко уже зашло, и было преддверие вечера. Потом будет ночь. В августе ночи темные, густые, без надежды на утро.

И вдруг Сытову не захотелось вставать со ступенек. Ведь может человек позволить себе не вставать, когда ему не хочется вставать, а вставать надо? Ведь вот придет последняя минута жизни, спросишь себя самого: «Ну, как, брат?» — и ответишь: «Да в общем никак...» «Чего опасался?» «А кто его знает чего? Опасался — и все тут, стеснялся, наверное, или не приучен был к этому...» «Что ж ты, брат? А вот теперь поздно...» «И то верно...» Больше ведь ничего не придумаешь для ответа.

И вот, наверное, надо иногда себе позволять, то есть, позабыв про всякие правила, и не то чтобы убить, или оскорбить, или ограбить... Нет, нет, всего лишь не встать с чужих ступенек, чтобы, может быть, дожидаться ее, а может быть, и нет, но сидеть, потому что сидится.

И это так прекрасно: вечер, листья шумят, звезды (значит, дождя не будет), тишина, гитара теплым бокком к тебе прислонилась. Воистину кифара! Впрочем, можем допустить, что у нее есть свой интерес: кто-то другой у нее, допустим. Тогда где же он? Шляется? Или, может, он дома спит? Лежит на спине с открытым ртом, и она ему совершенно не нужна?.. А если так, то нечего и церемониться, можно и подождать... Или этот самый, наоборот, влюблен в нее до беспамяतства... Тогда? Где же он тогда? Разве его место не здесь же, на ступеньках, рядом с Сытовым? Хотя, с другой стороны, почему он, Сытов, на Марусиных ступеньках не сидит?..

А между тем вечер накатился. Август — это не июль. Воздух был холоден. В доме было тихо. Может быть, она решила, что он ушел, потому и не интересуется? Почему бы ей действительно не взглянуть, не высунуться хотя бы? А если она считает, что он ушел, почему бы ему не побренькать на гитаре и в качестве намека и для личного развлечения?

И он коснулся медных струн прохладными от вечерней сырости пальцами... И тотчас в доме одно окно осветилось, и желтый ответ его упал на Сытова.

Нет, это не смешно, думал Сытов, сидеть здесь

сгорбившись да еще с гитарой. Другой, наверное, сидеть бы не стал. Он бы давно постучался...

И Сытов снова поддел струны с отчаянием и надеждой. Но она не выходила, а вместо нее возникла Маруся, словно стоит вот здесь перед ним, живая и горячая, и смотрит на него с укором.

Конечно, представлять можно все что угодно, но ведь есть и совесть, а почему-то она словно потерялась.

«Будем рассуждать таким образом: Маруся — человек легкий. Чего же мне надо? Но разве кто может определить: что и зачем? Отчего я сижу здесь в эту чистую холодную ночь, как дурак, с гитарой на ступеньках? Почему одна не выходит из дому, а другая — из головы? И словно здесь стоит, рядом, у этого вот куста? Молитвенно сложены руки, и очи страдания полны, и в сердце... И вот такая дребедень может прийти человеку в голову! Романс. Старинное баракло».

Он снова коснулся струн. Маруся качнулась у куста. Качнешься тут — холод какой! Прощай, лето...

Но Маруся сделала шаг к нему, еще один, протянула руку.

— С ума сошел?

— Нет, — сказал Сытов, — а впрочем, кто его знает?

— Сидишь на чужом крыльце... Эх ты!..

— Ты никому не говори, — сказал он, — это пройдет у меня... Гитару вот жалко.

Она взяла у него гитару и пошла прочь. А он пошел за ней. Он шел за ней легким индийским шагом и думал, что теперь олень врасплох его не застанет, а как выскочит из чащи, — тут ему и конец. И он поднял ружье повыше и выстрелил в небо, взял да и выстрелил. И больше не было ни Маруси, ни оленя, ни ружья. Та же лестница, то же крыльцо, и утро, и роса, густая, как пивная пена. Холод собачий! А возле дома мотоцикл. И мотоциклист постучал к ней в окно. Он был в сапогах, в черной кожанке на «молнии». И высок был и широкоплеч... Сытов хотел было крикнуть, что, мол, нечего в такую рань в окна, но спохватился: дом-то не его, и окно не его, и та, которая за окном, тоже чужая. А этот стучал так весело и даже отчаянно, как дятел по стволу. И Сытов решил затаиться: авось, пронесет.

Потом открылась дверь, и она сбежала по ступеням и так торопилась, что даже не заметила его, сидящего! Она поцеловала того, в кожанке, и уселась за его спиной, и обняла его за плечи.

И они покатали, сначала прямо по траве, словно Сытова и не было в этом мире, и ему захотелось крикнуть им, спросить: куда, мол, это они? Да неужели они такие счастливые?

Потом он вышел к станции в том месте, где дорога пересекает железнодорожное полотно и полчается крест. И у самого этого креста пивной ларек, а у самого ларька тот самый мотоцикл, а хозяева неизвестно где. И сосны, и платформа с пассажирами, и провода, и утро — это как насмешка над ним, Сытовым, опоздавшим на работу.

И он подумал, подбираясь к ларьку мягким индийским шагом: да гори оно все! Пе-ре-сту-па-ю!.. Вон они все смотрят на часы, боятся опоздать на работу или на свидание, а я, передовой токарь, хожу среди них, и мне легко и прекрасно, и если меня изобразить на фотографии, я получусь достойным зависти и уважения. Уважайте меня! Среди вас живет и ходит Сытов с гитарой, полный любви и других чувств, любящий вас всех, потому что он сильнее и прекраснее вас. И пусть это на одно лишь мгновение, на одно утро, но это есть.



В это время из ларька вышел худой и усатый продавец пива, взял мотоцикл за руль, как за рога, и медленно стал вводить в ларек. Мотоцикл упирался, вертел рогами — не хотел идти, но не мог побороть человека.

Но как же так его берут, чужую вещь, среди белого дня и запихивают в свою лавочку на виду у прохожих? А где же те двое, что ехали обнявшись и полные счастья? И Сытов заторопился по платформе, вглядываясь в лица. Но словно специально для

него все были парами, и все пары стояли, отворотившись одна от другой, спиной к рельсам, и тихо беседовали.

И все-таки, подумал Сытов, вот такие счастливые и плюющие на все, они ждут поезда, который их повезет, чтобы им не опоздать куда-то, и все-таки есть над ними сила в виде часов, которая им все диктует: как можно, а как нельзя. И только он, передовой токарь, позволил себе ночь на чужих ступеньках, а потом медленно идти через лес, а теперь бродить вот здесь и представлять, как мастер думает, что у него, у Сытова, может быть, ангина или перелом ноги. И только он, вертя августовскими рогами, как бык, которого в ларек не утянешь, продолжал размышлять обо всем, пока те, другие, были занятыглядением друг на друга.

И все-таки это было приятное зрелище — наблюдать любовь вокруг себя, которая текла, как время, без скандалов и шума, по самым высшим законам. И если бы, подумал он, вдруг сама платформа тронулась с места и помчалась бы, они, наверное, и не удивились бы и не шевельнулись, а стояли бы вот так в обнимку и мчались бы неизвестно куда, выражая счастье на лицах и в каждом жесте.

И тут он снова вспомнил о Марусе, которая говорила ему:

— Чего это ты каждое воскресенье с гитарой на Клязьму едешь?.. Наверное, у тебя какая-нибудь там завелась?.. Чего ты там потерял? Ездит и ездит, как дурачок... Другие в гости друг к другу ходят, в кино, в парки, мечтают о будущем...

И он представил себе, что сидит с нею рядом, перебирает ее завитушки на шее, слушает ее воркотню, и ему не хочется почему-то закричать от переполненности чувств, разбить стакан или вообще бросить что-нибудь об пол, чтобы радостным звоном стекла изобразить свое счастье. Не хочется.

Он даже начал представлять себе, как все-таки это ему захотелось, и он вскочил, и крикнул, и бросил что-то, и закружился с ней, и они вместе помчались под грохот мотоцикла. ...Но получилось, что мчится он один. И сколько он ни начинал сначала эту езду, все Маруса куда-то сваливалась...

Когда он видел тех длинноногих, в ярких платьях и браслетах, разве он завидовал тем, что идут с ними рядом? И Маруса тогда возникала перед ним для сравнения, насмешливая и строгая, которой все ясно, и было хорошо укрываться этой ясностью перед уличной неразберихой.

Однако с Марусей в обнимку на мотоцикле не полетишь, крича и ликуя, не бросишь мотоцикл у пивного ларька, не позабудешь про него, чтобы ходить неизвестно где парой и не замечать людей...

Да неужели же нельзя иначе? И чтобы головы себе не ломать? А там, в цеху, все сбились с ног, наверное, а может быть, и нет, а он здесь. И никто не в силах разгадать эту великую тайну: кому что.

Электричка налетела стремительно, словно перед тем долго подкрадывалась. И вдруг, усевшись, Сытов сразу разглядел тех двоих. Ее! Они сидели у окна. И он что-то говорил. А она слушала, и губы ее чуть-чуть шевелились. И причисана она была наспех, даже нечесаная скорее, и прядка одна пересекала ее лицо.

Но большой лоб ее на худеньком лице был все-таки открыт, и она словно несла его куда-то вперед, далеко, в неизвестность. И руки ее лежали на коленях, как у монашки. Она слушала. А этот, в кожанке, был не очень-то молод, и рука его терялась где-то за ее спиной.

Что они обсуждали, трудно было догадаться.

Зачем же Сытов всю ночь просидел на ступеньках? Чтобы этот не очень симпатичный и даже с нахальством в лице укатил бы ее вот так просто на мотоцикле? Эх, Маруся, не осталось живого места в голове! Если бы еще позавтракать, а тут на пустой желудок. И сидеть против этой нечесаной... Но (господи ты, боже мой!) просто оторваться невозможно. Вот оно как! Этот, в кожанке, говорит, а та, что рядом с ним, внимает, и ей, видно, лестно слушать его.

«Маруся! — крикнул Сытов в душе. — Разве я другого чего хотел?..»

И он опустил голову на грудь. Гитара молчала сбоку. Поезд шел и останавливался, шел и останавливался.

И вдруг словно на гитаре рванули струны. И все сместилось. Сытов ухватился за гитару, но она молчала. А там, впереди, черная кожанка мелькнула и замелькала от сиденья к сиденью мимо кричащих пассажиров, дальше, дальше... Как будто этот, с нахальным лицом, полз на коленях по проходу... И Сытов в тот же миг увидел два ее синих глаза и худенькую руку, протянутую вперед. Локоть... Плечо... Крик...

Некто в клетчатом пиджаке встал за ползущим, но толпа мешала. А парень, высокий, в фуражке, взобрался на скамью, как циркач, и того, в кожанке, кривым ударом... И снова тот пополз, и люди отхлынули к окнам, подальше, подальше... А она... Она встала перед клетчатым пиджаком, который был шире ее...

«Да что это они? — промелькнуло в сонном мозгу Сытова. — Эти двое бьют того, в кожанке, за нахальное лицо?.. Драка!» — вдруг понял он. И стал пробираться туда, поближе... А тот, в кожанке, опрокинулся снова. (Так его!) И стало слышно, как кричат. Жутко кричат. И Сытов пролез еще ближе и увидел перед собой кровавый крест на лбу того, в кожанке... И он полз со своим крестом прямо на Сытова, и уже не нахальство было в его глазах, а они были прищурены и горели, словно последним огнем, как у затравленного, когда пощады от него не жди... «Эх, гитару позабыл!» — подумал Сытов почему-то.

— Сергей!.. Сережа!.. — крикнула вдруг она. — Встань!.. Встань!

А парень в фуражке, утирая губы, нагнал этого, в кожанке, и замахнулся, чтобы ключом... «Сейчас врежет!» — подумал Сытов.

И вдруг она снова протяжно закричала:

— Сергей, берегись!..

Так закричала, что Сытова качнуло вперед. И парень в фуражке опрокинулся от его кулака на оружии каких-то, а ключ его, как воробей, упорхнул неизвестно куда, а Сытов добрался до клетчатого в пиджаке, рванул его на себя: «А ну, гляди, молодчик!» И клетчатый повалился, как соломенный.

И в этот момент Сытов перехватил ее взгляд. Она смотрела на того, в кожанке, а на Сытова — нет. «Не помнит, — подумал он, — забыла».

И вот они уже стояли рядом, он и тот, в кожанке, который успел стереть свой крест — и хоть бы что. А те, двое, полезли к выходу.

— Нельзя их выпускать, — сказал этот, в кожанке, Сергей, что ли.

— Пусть ползут, — отплюются, — сказал Сытов.

Но тут парень в фуражке обернулся и крикнул ей:

— Ну погоди, сука!

И тогда Сытов рванул на этот крик, потому что он успел увидеть два синих глаза и искаженное



тоской ее лицо, а фуражечка плыла к выходу вслед за клетчатым пиджаком...

Те двое выбрасывались из поезда с отчаянием, еще до полной остановки. Сытов работал кулаками в тамбуре и не мог себя остановить. Нароботался. Теперь семь дней тошнить будет... Одно уте-

шение — гитару пощадили. Она лежала на скамье и глухо звенела, старая подруга. Воистину кифара!

А та, с синими глазами, уже улыбалась и, улыбаясь, прикладывала ко лбу этого, в кожанке, платок, что ли... Потом она взглянула на Сытова и кивнула ему как-то туманно. «Не узнала, — подумал он, —

не вспомнила... А этот ее симпатичный такой... Они его, наверное, сзади... Понедельник — день тяжелейший...»

Приятно Сытову было ехать: она не причитала, эта, с синими глазами, и страха в ней не было и злости. А те, двое, которые выбросились, наверное, тоже переступили? И Сытов усмехнулся и тайком пощупал мускулы на левой руке — ничего, внушительно...

Он пересел к ним поближе, робко, еле себя заставил... А не пересестя не мог.

— Спасибо, — сказал тот, в кожанке, и засмеялся. — За что они вас? — спросил Сытов.

— Это мы их, а не они нас, — сказал тот, посмеиваясь. — За всякие слова, да?

Она кивнула. Сытов сидел перед ней прямо. Она оглядела его с гитарой и отвернулась к своему, в кожанке. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

Он хотел сказать: «А здорово мы их?» Но не сказал. Он хотел спросить у нее: в Москву едете? Но смолчал. Конечно, в Москву. Глупости дорожные. Чужое, чужое... А зачем он тогда рядом сел? Почему не отправился в другой вагон думать, куда они с Марусей в следующую субботу поедут? Ведь если трезво прикинуть, эта тоже длинноногая. Мало ли что нечестная... Хоть бы сказала что-нибудь, чтобы можно было глаза прикрыть спокойно, а уж если и не прикрывать, а смотреть, то на нее смотреть прямо.

Но Сытов смотрел как раз на этого, в кожанке, которого звали Сергеем, а на нее не смотрел, как она этого своего бесстыдно гладила по голове и по плечу, на удивление вагону. Вагон-то молчит, потому что стыдно... А почему стыдно, никто не знает. А чего стыдиться? Взяли бы да и помахали кулаками! А теперь стыдно — за себя стыдно: вот, мол, по углам рассыпались. И за них стыдно: чего это они в обнимку сидят? «А я их здорово, — подумал Сытов. — Самбо...»

— А вы их здорово! — сказал этот, в кожанке, Сергей. — Я уж думал, конец. — И засмеялся.

— Кулаками махать нужно, — сказал Сытов дружелюбно. («А что? Парень симпатичный...») — Они сзади, что ли?.. Внезапность?

— Они к девушке вот к этой приставали, — сказала какая-то дама.

— Надо было без слов по шее, — сказал Сытов, не глядя на даму.

— Ему нельзя, — вдруг сказала она (с синими глазами), и зябко поежилась, и погладила этого своего. — У него на груди стеклянные ценности... — И тихонечко засмеялась и снова на Сытова ноль внимания...

«Да что ж это она?!» — подумал он.

И тогда этот Сергей вытащил из-под кожанки голубые и розовые пробирки, в которых переливались пузырьки и покоились неизвестные кузнечики с лапками, сложенными на груди, и с поджатыми коленками... Они были, конечно, неживые, и вот во имя их неизвестной славы он и полз по проходу вагона с красным крестом на лбу.

Он показывал своих кузнечиков и разглядывал их на свет, а она смотрела на него, и никуда больше: ни на Сытова, ни на даму, ни в окно, где сосны пополам с березами — вид прекрасный.

Когда из куска стали рождается на свет ось или, скажем, колесо, — это ж можно петь и нести свою гордую голову по всему цеху, по городу, вдоль всей Клязьмы. Ведь этот поезд и колеса, на которых он бежит, и все, и все — ведь это под резцом лежало, и пело, и стружку вороную выпускало, и он, Сы-

тов, припадая к станку, как к пулемету, разве думал (знал, но разве думал?) о кузнечиках, плавающих в спирту, или о мухах, или о тараканах?..

А Сергей покачал пробиркой, и кузнечик — или кто там еще — плавно перекувыркнулся...

— Гриллоус, — сказал Сергей, — а этот вот пфеудонеуроптера, — и показал на маленькое что-то без головы как будто, — а это стомоксис...

Она засмеялась, глядя на Сытова.

«Не вспомнила, — подумал Сытов, — позабыла...» Стомоксис — фамилия этого кузнечика или мухи... Стомоксис... Как иностранный граф... И вот она, значит, сидела дома, давала Сытову молоко, а сама думала об этом своем Сергее, пока он там на мотоцикле носился за всякими стомоксисами и в пробирки их насыпал! И они лежали там в своих баночках, в своем спирту и требовали к себе уважения и любви (ну надо же!), как какие-нибудь родственники или гости... И он, высокий и уже немолодой, похожий на полярного летчика, брал этих стомоксисов бережно, двумя пальцами, чтобы не помять, и привозил, ей показывал... Наука? А у него, у Сытова, не наука? Наука. Так в чем же дело? Вот беда...

— Господи, — сказала Маруся у него в душе. — Пашка, убери руки! Люди смотрят...

А по вечерам где-нибудь в саду, на лавочке, или на притихшей набережной она говорила в самое ухо:

— Пашка, Пашка, черт! — И это все жарким шепотом. И она, как птичка, билась у него в руках и уже не говорила разных слов, а только: — Пашка, Пашка, Пашка...

Потом они шли по набережной неизвестно куда, а навстречу шли другие пары, тоже неизвестно куда. Вот, если здраво рассудить, как хорошо: все как у людей. И пока у тебя все так, никто тебя не тронет, слова не скажет — целуйся, гуляй, завтракай...

А эти обнимаются в деловом поезде, когда все работать едут, стомоксисов показывают, и на всех им наплевать... Также переступили? И он на мотоцикле своем к ней торопится, и мотоцикл-то у него, наверное, чтобы к ней торопиться, лихо подкатывает к крыльцу...

— Маруся! — крикнул он в душе своей. — Поедем на Клязьму ходить по траве в обнимку и чтоб про всех позабыть! Жизнь короткая, а я тебя не знаю...

— Пашка, ненормальный, — сказала Маруся, — ты что, не любишь меня больше? А?.. Ты как маленький... — И жарким шепотом: — Дай руку. Вот сюда... Ну?.. Глупый ты...

— А ты касаточка моя, да?.. А почему жизни не хватает, чтобы радоваться?..

— Ты меня до дверей не провожай: наши увидят. Ну чего за платье-то? Пашка!.. Помнешь ведь!

...А в пробирках кузнечики, лапки сложив, покачиваются. Эта на этого своего смотрит, не оторвется... Несчастье! В древности меня за лихой удар подняли бы во-о-он куда... Стомоксис... А теперь я прогул совершил, и не по пьянке и не по вздорности, а совершил. Почему же? А потому, что мне надо было поглядеть, как они на стомоксисов своих смотрят и друг на друга — и что это все значит? Вот сейчас Москва будет, и они понесут своих стомоксисов неизвестно куда... И мы распостимся. И она даже не посмотрит на меня, потому что ей глаза нужны, чтобы видеть, как этот идет со своими пузырьками на груди.

Да, для этого у нее глаза. И вся она худенькая такая, а казалась тогда, в окне, плотной и даже пышной, и на мотоцикле, когда обнимала своего Сергея, тоже... А тут худенькая. Руки тонкие, загорелые.

И лицо загорелое. А щеки даже ввалились немного. И когда улыбнулась этому своему, среди ровных, белых зубов один темный с самого края. А этому хоть бы что: он и не замечает этих дефектов, он смотрит на нее во все глаза, и ему хорошо, что она худенькая, что нечесаная, заспанная, что с краю один зуб у нее темный, и это видно... А ну, улыбнись!.. У Маруси зубы как нарисованные, и сама она спортсменка по плаванию, и платье, если она наденет, не хуже будет, чем у этой, помялось все... А вот сидит и держит его лохматую голову на своей худенькой руке, и ей тоже это приятно, что голова у него лохматая, с соломинкой какой-то, и держит она его голову не из форса: вот, мол, как я его крепко люблю,— и не для других, а для себя самой, по сторонам победно не смотрит.

...И тут поезд остановился. Незаметно приехали. Со всех сторон обступила Москва. И люди побежали.

Сытов старался выйти так, чтобы хоть в последний раз увидеть, как они идут, эти двое. Он выбрался из вагона и помнил, как Сергей кивнул ему на прощание и как она небрежно качнула ладошкой — до свидания...

Вон они идут, торопятся. А рука его все так же на плече у нее. Хорошо, что гитара цела!

И вдруг кто-то взял Сытова за локоть, мягко, но требовательно.

Это был лейтенант милицейский, рыженький такой, молоденький, весь в новом. И он крикнул кому-то:

— Давай, давай... и тех бери! Во-о-он пошли... Это они пошли? — спросил он у Сытова.

— Что? — сказал Сытов.

— Дружки твои?

— Пустите мой локоть, мальчик, — сказал Сытов очень мягко, неторопливо. — И тыкать мне не надо...

— Ах ты! — сказал лейтенант. — Не разыгрывай! — Но локоть выпустил. — Иди, иди, давай...

И Сытов пошел, прижимая к боку гитару, пошел, как нож сквозь масло, потому что публика расступалась с любопытством и неприязнью.

— Что же это случилось? — сказал Сытов. — Может, я украл что-нибудь, а сам не заметил?

— Иди, иди, — сказал лейтенант. — Слюни не распускай!

— Ах, как некрасиво! — сказал Сытов, пряча усмешку. — Это вам не подобает... Вы же такой молодой и симпатичный... Зачем это?

— Сейчас у меня протрезвеешь, — сказал лейтенант.

«Как он передо мной прыгает! — подумал Сытов. — Ему нужно показать, что он все может, все ему позволено, потому что он незаменим на этом месте, а если бы не он, то все бы перевернулось, и я, например, ходил бы на руках и всех бил бы по головам кифарой».

И они прошествовали к зданию вокзала.

«Как в магазине», — подумал Сытов, когда вошел в комнату дежурного, потому что барьер похож был на прилавок и капитан за барьером ходил, как продавец, и Сытову стало смешно про себя, и он чуть было не сказал вслух: «Двести грамм сосисочек...»

А этот, в кожанке, Сергей, тоже был здесь, стоял возле прилавка, и она, с синими глазами, стояла вплотную к этому своему, и рука его все так же лежала на ее плече.

И вдруг Сытов только сейчас понял, что платье у нее зеленое, помятое все. Почему он раньше-то не замечал?

«Сколько разных изобретений, — подумал Сытов, — чтобы я со своей досточки не сошел и на чужую бы не ступил!»

А капитан тем временем вышел.

Сытов присел на лавку, потому что от голода стало трудно стоять.

— Не рассаживаться! — сказал лейтенант, и гитара зазвенела.

Тогда Сергей подмигнул Сытову и сказал этому рыженькому, симпатичному на вид:

— Зачем же вы так строго? Мы ведь ни в чем не виноваты...

— А ты язык не распускай и встань, как положено! — сказал лейтенант, и гитара снова зазвенела.

— А как положено? — спросил Сергей, будто он совсем наивный.

— Руку с плеча убери!.. Парочка...

— Зачем же вы так? — снова сказал Сергей. — А вдруг мы не виноваты? Как же вы будете потом нам в глаза смотреть?

— Положи гитару! — сказал лейтенант Сытову. — Чего ты ее за струны дергаешь?

— Я не дергаю, — сказал Сытов.

— Дергаешь! — сказал лейтенант. — Она звенит у тебя...

— Она звенит, потому что чувствительная, — сказал Сытов. — Она не может, когда меня тычут...

А эта, с синими глазами, засмеялась, и рыженький на нее уставился...

— А мне что сделать? — спросила она.

Но лейтенант ничего не сказал, потому что вошел капитан, и Сытов подумал, что теперь этот рыженький должен стать послушным и ручным. Как ты перед ним прыгать будешь, а? А ну посмотрим...

И тут началось: всякие там фамилии, род занятий, место жительства.

— Много выпили? — спросил у Сытова капитан.

— Одну кружку, — послушно сказал Сытов.

— Что пили? — спросил капитан.

— Молоко, — сказал Сытов.

— Да вы не слушайте его, товарищ капитан, — сказал лейтенант, улыбаясь белыми зубами. — Ты брось трепаться! — сказал он Сытову.

— Ну ладно, ладно... — сказал ему капитан и — Сытову: — Шутить будете, знаете, где?

— Да не пил я! — сказал Сытов удивленно.

— А если подумать? — сказал рыженький.

А Сытов слушал все это, а сам поглядывал на нее, как она стояла, слегка приподняв плечи, как бы удивляясь всему, хотя это им вот, которые задают вопросы, следовало бы удивляться, видя этих двоих, полных любви, ни о чем не кричащих, не бьющих ничего...

«Понедельник — день тяжелый», — подумал Сытов, и ему стало вдруг легко и немного безразлично, когда он нагляделся на этих двоих и увидел их ясность и тишину перед суровым миром, который, наверное, должен был быть таким, чтобы стомокисы всякие спокойно лежали в своем спирту, поджав колени, а не выплескивались в разные стороны пополам с битым стеклом.

— Это ваше? — спросил капитан у Сытова и указал на гитару.

— Это кифара, — сказал Сытов.

И тут все выяснилось, конечно, потому что два прекрасных молодых таксиста (один в клетчатом пиджаке, другой в фуражечке), жалуясь, рассказали в заявлении, что, просто гуляя себе за городом и желая попасть домой, сели тихо, как все, в электричку, и поехали, и смотрели в окно на наш дорогой подмосковный пейзаж, как вдруг трое хулиганов



62

начали к ним приставать, да еще с кулаками, и вот отчего они, прекрасные молодые водители, выпрыгивали на ходу из поезда с кровавыми физиономиями, где и были схвачены: постовым милиционером, случайно проходившим домой со смены. И теперь им стыдно показаться на своем передовом производстве в таком виде... А три хулигана помчались

себе в Москву как ни в чем не бывало, и это в нашей стране, где рабочий класс в большом почете...

И Сытов громко засмеялся и сказал, глядя в хмурое лицо капитана:

— Вот как это устроено! Оказывается, можно все перелистать с другого конца и снова прочитать, и все будет правильно. Вот так книга!

— Какая еще книга? — спросил капитан.

— Он вам наболтает, товарищ капитан, — сказал рыженький торопливо.

А те двое не смеялись. Наверное, такая мысль давно уже была у них, и они не поразились, подумав о ней, как, например, Сытов. Действительно, а почему это он, Сытов, не хулиган? Или этот, в кожанке? Или она, с синими глазами, в помятом зеленом платье, нечесаная?..

— Третий хулиган, — это я, очевидно? — сказала она.

И капитан поджал губы, но спросил:

— В драке участвовали?

— Конечно, участвовала, — сказала она с вызовом, так, что у Сытова сердце екнуло и дух захватило.

И вдруг его осенило: почему это у них фамилии разные да еще и адреса?.. Батюшки, да она его любовница, очень просто, а не законная жена!.. А как они стояли рядом перед этим, и рука на плече!..

И Сытов заметил, что она смотрит на него, но как-то отчужденно, словно издалека. «Не узнала, — подумал он, — не вспомнила...»

— Ладно, — сказал капитан, почесывая затылок, — сейчас вернусь. Посидите... — И ушел.

Эти двое тихо переговаривались, о чем, неизвестно. А Сытов прислушивался к слабому звону гитары: она все не могла успокоиться, и на густом фоне басов вызванивали тонкие струны, как колокола.

А рыженький уже снил. (Ненадолго его хватило!) Что-то ему привиделось, наверное... Что-то он сообразил, что ли? Он уже кричать позабыл, уже не летушился, а смотрел быстрыми глазами то на Сытова, то на этих двоих, и если они, например, делали какое-нибудь движение, ну, например, он у нее локон на лбу поправляя, то рыженький говорил с широкой улыбкой:

— Может, расческу дать? Удобнее расческой...

Но они ему не отвечали, даже не смотрели в его сторону. Или Сытов, например, наклонялся к гитаре, чтобы послушать, успокоилась или нет, а он говорил торопливо:

— Звонит все еще!.. Как живая...

Но Сытов тоже на него не смотрел. Он сказал этому Сергею:

— Сейчас бы поесты!.. Что-то меня совсем подвело...

— Надеюсь, — сказал Сергей, — скоро эта комедия закончится.

— А вы потерпите, — сказал рыженький по-приятельски, — на войне еще труднее было.

Но на него опять не посмотрели.

И тут снова вошел капитан, и глаза у рыженького забегали: он ждал, что там выяснилось, чтобы знать, как себя в дальнейшем вести...

— Ну вот, — сказал капитан и швырнул на стол бумаги, — все и выяснилось... Вот беда!.. Те двое, которые на вас жалобу писали, сами, оказывается, хулиганы... — И замолчал.

А рыженький глядел на всех счастливыми глазами, а может быть, и в самом деле был счастлив, кто знает...

— Теперь, — сказал капитан, — я должен перед вами извиниться. Вы извините, пожалуйста... У нас работа такая...

— Ну как? — сказал Сергей рыженькому.

— А чего? — сказал тот.

— Вы можете идти, — сказал капитан. — Я вам сейчас справки для работы выпишу... Вы извините, пожалуйста...

— Мы, конечно, пойдем, — сказал Сергей твер-

до, — но сначала этот гражданин (это на молодого лейтенанта) пусть извинится перед моей спутницей лично.

— Чего?! — крикнул вдруг рыженький нахально.

И гитара загудела на разные голоса от его звонкого неопытного тенора.

— Ну-ну, — сказал капитан устало.

— Да чего мне извиняться? — сказал рыженький потише. — Взял, привел... У меня работа такая... Вы же сами велели.

— Ну-ну, — снова сказал капитан.

— Ну извините, — сказал рыженький этой, с синими глазами. — Извините...

А она стояла под рукой своего Сергея и глядела мимо рыженького, как будто он какой-нибудь стомоксис.

— Все на милицию обижаются, — сказал рыженький и засмеялся.

И гитара зазвенела.

— Зачем же такие слова говорить? — сказал Сытов лейтенанту. — А если вас в пивной ларек торговать поставить да еще цветочек в руки дать, вы что, лучше станете?..

— Чего?.. — не понял рыженький и быстро взглянул на капитана.

А капитан подошел к Сытову и сказал:

— Вы вот тогда насчет молока сказали, что, мол, молоко пили... Ну зачем?.. Какое еще молоко? Так, чтобы подразнить, да?

— Да пил, пил, — засмеялся Сытов. — Вчера вечером... Вот она сама мне в кружку налила и поднесла. В самом деле. Вот она (на эту, с синими глазами). — И посмотрел на нее и увидел, как у нее глаза вспыхнули, но только на миг, и снова погасли.

«Не вспомнила, — подумал он, — позабыла...»

И они вот так вывалились на площадь.

И снова этот Сергей кивнул Сытову, а она покачала маленькой своей ладонью, и они нырнули в метро...

А кругом гудели машины. И гитара протяжно гудела, согревая Сытову бок. Кифара!

И вдруг он вспомнил Марусю, про которую позабыл, и пока они там стояли, у этого прилавка, весь день и Сергей держал свою руку на плече у этой своей и, наверное, единственной, Сытов-то сам по себе был, ну если гитары не считать...

Потом он долго шел по всем улицам. Ночь уже нахлынула, а он все шел. Дождь полил, а ему хоть бы что. Даже справка в кармане, что никакого прогугла не было...

Он долго звонил у дверей, весь промокший и радостный отчего-то. Звонил, звонил, пока мужчина не спросил хрипло:

— Кто там?

— Свои, — сказал Сытов.

— Какие еще свои?

— А где Маруся?

— Уехала Маруся, — сказал голос удивленно.

— Уехала? (А ведь и вправду уехала). Когда?

— Да уж года два будет...

И в самом деле два года... И писем нет.

— А вы кто будете? — спросил голос удивленно.

— Ну Павел это... Сытов... Был такой...

— Был да сплыл, — сказал голос, и цепочка загремела, и все стихло.

А дождь все шел, все сыпал, как тогда, два года назад, когда его, Сытова, еще помнили в этом доме.

— Стомоксис, — засмеялся он, — я весь промоксис... — И пошел с легким сердцем.

Ленинград, 1965 год.



УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Осенью в Рижском художественном музее демонстрировалась выставка изобразительного искусства, посвященная 25-летию восстановления Советской власти в Латвии. Такой огромной выставки в республике еще не было. Живопись, графика, скульптура, сотни экспонатов, десятки полотен. Часть ее была обращена в прошлое; интересное, слабое, но минувшее и ставшее материалом для историков. Другая же половина экспозиции воплощала настоящее и будущее, с их задором, поиском, страстью к эксперименту. Этими качествами отмечены картины молодых живописцев и графиков, окончивших Латвийскую академию художеств сравнительно недавно. Сейчас они задают тон в искусстве Латвии. Впечатляющим доказательством их признания оказалось присуждение Республиканской премии живописцу Эдгару Илтнеру за создание двух монументальных полотен — «Хозяева земли» и «Твердые руки».

На выставке Э. Илтнер показал две новые картины — «Земля и Море» и «Парни одной лодки». Первая тяготеет к своеобразной аллегории. Изобразив мужчину и женщину на фоне морского пейзажа, художник решил выразить в этих образах идею труда, упорства в достижении цели и в то же время красоту, мягкость, душевную чуткость. Э. Илтнер стремится к постижению глубоких философских проблем, и, чтобы решить их, он упорно ищет точного выражения в живописи. В отличие от персонажей «Земля и Моря» герои его второй картины — «Парни одной лодки» — живут не на берегу чуть фантастического оранжево-зеленого моря, а на самом реальном взморье. За их спинами — бело-голубые параллели прибора и новенькие крыши рыбацкого поселка. Команда лодки — четверка: молодой паренек, почти отрок; юноша; человек средних лет и пожилой мужчина. Сильные руки гребцов сейчас праздны. Рыбаки размышляют. О чем? Угадать трудно. Но отношение их к только что высказанной кем-то из экипажа мысли разное. От восторженно-мечтательного до скептически-отрешенного. Эти различные чувства выражены живописцем весьма убедительно. Э. Илтнер стремился отразить сложность человеческих взаимоотношений, общность, соседствующую с отчужденностью, различие в темпераменте каждого и тем не менее их единение в одной команде...

Борис Берзинь не столь философичен, однако его картины оставляют не меньшее впечатление. Он мастер колорита. Ощущение безудержного веселья в его «Осеннем празднике» достигается свечением зеленого и синего в одежде танцующих колхозников. К единому, общему тону сводит он крупные плоскости коричневого, рыжеватого, серого в полотне «Художник на этюдах».

Живопись Риты Валнере, посвятившей немало своих полотен молодежи, менее материальна, но ее картины не уступают произведениям Берзиня в тонкости колорита. Нежными и чистыми увидела она героев своей картины «Песнь юности», где изображены девушка и юноша, поющие на окраине города, у старых ив.

Индулис Заринь — художник, широко известный своими тематическими полотнами, — завершил в 1965 году картину «Искра». Три рижских пролетария читают небольшой листок газеты, выпущенный Лениным в Швейцарии. Свет, льющийся из небольшого окошка, золото досок свежеструганного стола, интенсивно красный и синий цвета одежды — все это вызывает в памяти произведения мастеров XVII века.

Не только в области тематической картины лидируют недавние студенты Академии художеств: они сказали свое слово и в пейзаже — жанре, в котором работают Л. Свемп, К. Убан, К. Мелбарздис и другие. корифей латышской живописи. Недавно завершил свой «Старый город» Лаймдот Мурниек. Этот пейзаж — синтез представлений художника о небольших латышских городах, ведущих свое начало от XII века.

Л. Мурниек видит город с замковой горы: древние его строения, рыжеватую дорогу, бело-синие снега. Пейзаж запоминается не только своими декоративными достоинствами, но и тонкой передачей того чуть тревожного настроения, что сопутствует начинающейся оттепели.

Черно-белые листы молодых графиков... Г. Кроллис, Р. Скрубис, Д. Рожкаля, З. Зузе — зрелые, самостоятельные художники. Их работы отмечены ярким своеобразием. Развитие современного латышского эстампа определяется воздействием тонкого мастерства старейших художников — О. Абельте, А. Юнкера, П. Улитиса — и влиянием блестящего искусства соседей — литовских графиков. Молодые латышские граверы стремятся к монументальности композиций, широте охвата явлений, обобщенности.

г. Рига,



Г. Кроллис.

Юность. Линогравюра.

(Из цикла «Поэма о Латвии».)

● А. М. Румянцев,

член-корреспондент
Академии наук СССР



Предвидимое Завтра

Откровенно говоря, мне было бы легче написать статью, скажем, для журнала «Вопросы экономики», чем для молодой аудитории «Юности», читатель которой требует не только интеллектуального, но и эмоционального убеждения.

Есть известные слова Маркса об идее, которая становится материальной силой, овладевает массами. Эту цитату почему-то всегда прерывают на половине, между тем далее Маркс говорит, что идеи каждый человек осваивает по-своему, не только через разум, но и через чувство: *argumentum ad hominem*.

Такое обращение к разуму через сердце доступнее всего художникам слова, к которым, разумеется, я себя не причисляю.

Признаваясь в этом, я надеюсь застраховаться от возможного упрека в эмоциональной недостаточности этих заметок.

ГЕНЕАЛОГИЯ ОДНОЙ ИДЕИ

Итак, в стране произошли события высочайшего значения: октябрьский (1964) и ряд последующих Пленумов ЦК КПСС по хозяйственным вопросам положили начало экономической перестройке, по масштабам и последствиям вполне соизмеримой с экономическими реформами, осуществленными при жизни Ленина.

СТАТЬЯ НАПИСАНА ПО ПРОСЬБЕ «ЮНОСТИ»

Идея осуществляемой ныне по решению сентябрьского Пленума перестройки выдвинута не досужими экспериментаторами, а самой жизнью. В кругах ученых и практиков ее обсуждение началось еще несколько лет назад; это обсуждение было поддержано партийными организациями. В «Правде», «Известиях», «Экономической газете» развернулись острые дискуссии.

Многие уже тогда чувствовали явное неблагополучие в управлении и руководстве народным хозяйством. Нужно было найти правильный выход из создавшегося положения.

Мне пришлось в то время беседовать с директорами многих заводов. Я помню, как директор харьковского «Электротяжмаша» горько и справедливо жаловался на свои «директорские права», вернее, на их отсутствие. Заводу позарез нужна была новая лаборатория. Хотя план и выполнялся, но сотни возможностей оставались нереализованными, и, чтобы совершенствовать продукцию и упростить технологический процесс, надо было построить лабораторию. И деньги на это у директора были. Но не было прав у него, у директора.

Да что лаборатория! Директор даже ста рублей не мог перенести из одной графы в другую.

И вот несколько газетных статей явились своего рода катализаторами широкого обсуждения насущных вопросов экономики. В редакции хлынул поток писем.

Эти выступления — и опубликованные и неопубликованные — не остались без внимания. Когда к работе приступила правительственная комиссия, то все отклики, письма, статьи, реплики были собраны, систематизированы и подвергнуты тщательному анали-

зу. Все актуальное принято, преждевременное отложено.

Предложения, вынесенные на Пленум ЦК партии, были окончательно сформулированы лишь после обобщения тех экспериментов, которые проведены на различных промышленных предприятиях страны.

Идеи, рожденные опытом масс, были научно оформлены и ограничены авангардом народа — партией, и теперь, вновь вернувшись в широкие массы, становятся мощной материальной силой.

Чем же вызвана предложенная Пленумом экономическая реформа? Тут хорошо различимы две основные причины...

Хозяйство росло, и старые методы руководства становились все более неподходящими. За последние пять-шесть лет накопился и ряд недостатков и ошибок, вызванных волюнтаристским, субъективным решением экономических вопросов.

Вместе с тем перед народом, возглавляемым партией и правительством, по-прежнему стояли задачи дальнейшего повышения материального благосостояния. Для этого нужно увеличить эффективность производства за счет его интенсификации, развивать его не столько вширь, сколько вглубь, повышать степень отдачи вложенных средств от каждого отдельного предприятия, от каждого отдельного рабочего места.

При старых методах управления это было сложно, точнее же сказать, невозможно. Существовавшая в последние годы система, практически не реорганизованная еще и по настоящее время, полностью исчерпала все то положительное, что в ней было некогда заложено. А положительным была горизонтальная кооперация производства. В условиях совнархозов возникли вместе с тем и очень чувствительные недостатки.

Одним из них стал разрыв в развитии отраслей. Единые отрасли были разорваны по отдельным экономическим районам, где они развивались соответственно объективным и субъективным возможностям, заложенным именно в этом районе. Таким образом, влияние научного прогресса в разных областях не становилось всеобщим и обязательным для хозяйства страны в целом. Достижения науки распространялись крайне неравномерно, что наносило глубокий ущерб повышению технологического уровня производства всего народного хозяйства страны.

Вот в чем дело: производство оторвалось от своей научной базы. Высокие успехи науки, завоеванные и у нас и пришедшие к нам из-за рубежа, не сплелись с производством и не толкнули его к завоеванию новых хозяйственных рубежей. А поскольку современное производство является сознательным применением научных достижений естествознания, постольку возникшая ситуация и принесла явный урон народному хозяйству Страны Советов.

В результате созданного несколько лет назад управления по экономическим районам родилась цепь промежуточных звеньев между предприятием и руководством. Количество инстанций, сквозь которые нужно было пройти, чтобы решить тот или иной вопрос, не уменьшилось, но возросло.

Как только это стало очевидным, для соблюдения интересов страны были созданы Государственные комитеты. Но последние не получили прав, которыми обладали совнархозы. Тогда родился совнархоз, охвативший страну в целом, Госплан стал органом подчиненным. Все это так усложнило систему управления, что помехи возникли во всех коленах — от районных до высших государственных.

В докладе, сделанном на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, А. Н. Косыгин шаг за шагом обжаловал все

минусы, возникшие перед руководителями экономики страны. Итогом этого анализа явилась констатация следующего факта: произошло некоторое замедление темпов развития и накопления народного дохода, или, другими словами, национального дохода на рубль вложенных фондов. То есть, попросту говоря, возникло очевидное экономически неприятное явление в процессах хозяйственного организма страны.

Резюме: за последние пять-шесть лет произошло определенное нарушение в системе демократического централизма в экономике.

Ликвидировать это нарушение и восстановить здоровые нормы в экономике и постановил октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Мартковский, а вслед за ним сентябрьский Пленум положили на наших с вами глазах начало новому этапу в экономической политике СССР как в области сельского хозяйства, так и в промышленности.

ДОРОГОЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ

Внешняя суть решений сентябрьского Пленума заключается в том, чтобы перейти от совнархозовской системы к министерской.

Многие люди, а тем более неискушенные молодые люди могут подумать, что это возврат к старым формам руководства.

Но это принципиально не так.

Старая форма базировалась на том, что министерства полностью определяли деятельность всех предприятий, без преувеличений каждый их шаг. При старой, досовнархозовской системе все и вся сосредоточивалось в руках министерств. Возникали то и дело межведомственные перегородки, возникали дубль-работы в одних и тех же конечных целях, затруднялась и становилась попросту невозможной межминистерская кооперация.

Новая система — ее суть, ее призвание, ее смысл — заключается в том, чтобы, развивая централизованное руководство, вместе с тем развязать хозяйственную инициативу предприятий.

В централизованном порядке определяются лишь главные показатели деятельности. Все так называемые детальные указания снимаются — завод, фабрика, шахта или рудник получают полную свободу и возможность проявить собственную находчивость и самостоятельность в том, чтобы выполнить поставленную перед ними государственную задачу; они подсчитывают свои возможности, свои резервы; они же и определяют оптимальные методы руководства.

Старое министерство, случалось, не считало, что во что обходится. Сейчас в фокус нашего зрения поставлены экономические рычаги — такие категории и понятия, как рациональность, выгода, прибыль, хозрасчет. И это приближает нынешнее понимание и трактовку министерства к тому, что было некогда сформулировано Лениным.

Противопоставляя министров буржуазных правительств пролетарским министрам, какими они должны быть в Советской республике, Ленин высказывался в том духе, что это будет не награждение портфелями, то есть определенными административными функциями, это будет рождение нового типа руководителя — всенародного организатора, всенародного инструктора по производительности труда, по величайшей экономии и рациональности труда. Отсюда возникают и большие права, соответствующие значению работы.

Отнюдь не случайно на Пленуме прозвучали новые и столь весомо значительные слова об особой ответ-

ственности руководящих работников хозяйства и прежде всего вновь назначаемых министров.

Моя личная точка зрения заключается в том, что министерство в конечном итоге должно представлять собой хозрасчетную организацию с тем, чтобы аппарат ее не просто получал зарплату из бюджета, но работал бы за счет самоокупаемости, за счет результатов, которые достигаются в руководимой министерством отрасли хозяйства.

Нужно сделать все отрасли хозяйства рентабельными, найти формы и системы, обеспечивающие всеобщую рентабельность. Если даны определенные средства производства, если дано общественно необходимое время, исходные составные должны быть возмещены, и производство не может не быть рентабельным.

С развитием концентрации социалистического производства возникает необходимость в объединении однородных предприятий, в создании фирм, которые охватывают изнутри определенные отрасли производства.

На мой взгляд, это явится первой ступенью хозяйственно-расчетной организации отраслей в целом.

Вместе с тем директорам предприятий дана сейчас сентябрьским Пленумом возможность маневрировать в своей повседневной деятельности. Правительством утверждено Положение о предприятиях, увеличивающее степень свободы и самостоятельности низовых руководителей. Впервые за последние десятилетия директор совместно с общественными организациями может эффективно, на деле, а не на словах материально стимулировать рабочих, мастеров и инженеров, чей труд и чья изобретательность представляют наибольший интерес и наибольшую выгоду для предприятия.

...Бегло нарисовав позитивную программу начатой экономической перестройки, я невольно задумался о возможной читательской реакции, в частности о скептической реакции.

Не секрет, что многие как бы устали от реформ, и доверие к новшествам у них в какой-то степени может быть подорвано. Причем устали даже не столько от реформ, сколько от парадного барабанного боя, который всегда их сопровождал.

Но в жизни каждого из нас, как и в жизни общества в целом, рано или поздно наступает момент, когда необходимо особенно тщательно и вдумчиво отделить семена от плевел.

Сейчас наступил именно такой момент.

Часто говорят: то неправильно, это неправильно. И часто бывают правы. Но значит ли это, что допущенные неправильности и ошибки говорят о неспособности, об инертности и о бесперспективности наших людей, наших дел, нашего общества?

Вы сами скажете: нет.

Во-первых, граммы «свежих» ошибок не могут перевесить монолиты исторических побед. Я предостерегаю молодых: не заблудитесь в перспективе исторических событий.

Менее полувека назад было свергнуто самодержавие — зло, несомое им для каждого из потомков и для нации в целом, к сожалению, звучит сейчас чистой абстракцией для тех, кто родился в годы, когда уже закладывался социализм. Полувека назад было заложено общество без капиталистов, без экономического насилия и эксплуатации человека человеком. Простые люди, сделавшие все это, приобрели огромный опыт: люди духовно выросли; в процессе своей беспрецедентной титанической работы они допускали, естественно, ошибки и просчеты — без этого не могло обойтись... Но люди разбирались в своих ошиб-

ках, исправляли их и становились год от года опытнее и разумнее.

История свидетель, как много и как нетрудно найти случаи, когда преступные ошибки развития буржуазного общества или не вскрываются вовсе, или становятся достоянием масс спустя десятки, а то и сотни лет.

Мы, советские люди, не можем позволить себе такой «роскоши». Мы придерживаемся линии правды, мы против лжи. Неизбежным следствием преодоления ошибок и накопления положительного опыта является рост всеобщей честности советских людей.

Мы настолько обоснованно и глубоко уверены в правильности теоретических основ социализма, что с полным правом квалифицируем ошибки и заблуждения как неминуемый шлак, как отходы производства, которые мы отбрасываем вон и которые мы одновременно учитываем, ибо на них учимся сами и учим других.

Мы идем дорогой первооткрывателей; кто и когда гарантировал новый исторический маршрут от чрезвычайных происшествий, подстерегающих того, кто прокладывает тропу?

Заметьте: все основные последствия, связанные с культом личности, преодолены в сравнительно короткое время; но еще быстрее и эффективнее расправляются сейчас с недостатками, которые явились итогом субъективистского руководства, а попросту и по-русски говоря — определенного самодурства в хозяйственной жизни страны. Сейчас мы стоим у порога подлинно научного руководства социалистической экономикой и всестороннего развития демократического централизма, которые уже завтра уничтожат последствия волюнтаризма отдельных личностей в экономическом строительстве социализма.

МОЛОДОЙ СОХОЗЯИН СТРАНЫ

Я всегда смотрел на молодежь как на наиболее гибкое и мобильное звено общества.

Это применимо в одинаковой степени и к нашему и к буржуазному обществу. Разница в том, какое русло подготовлено отцами для энергического потока их потомков.

Несколько лет я жил и работал за рубежом. Я много ездил по странам Европы. Однажды мне пришлось участвовать в неделе марксистской мысли в Париже: был вечер в крупнейшем театре Монмартра, было три тысячи человек, забывших партер, ярусы и все проходы большого зала. Было великое и серьезное внимание, с которым слушались импровизированные дискуссии марксистов с немарксистами.

Я видел в тот вечер живую иллюстрацию напряженного интереса к проблеме марксизма, а через нее — к результативным поискам понимания жизни.

Основные законы, сложно спутанные в клубке противоречивых проблем века, раскрываются именно в ключе ясных марксистских идей. Эти идеи нужно освоить, понять, и только после этого они начинают служить путеводной нитью в лабиринте современной жизни.

Даже не усвоив позитивное начало коммунистической идеологии, молодежь Запада тянется к ней интуитивно, отталкиваясь, не принимая антигуманную сущность буржуазного образа жизни. Нестареющий лозунг, однажды поднят в период восхождения ка-

питализма, «человек человеку — волк» угнетает и отталкивает молодость, которой биологически даже присуще тяготение к романтике, чистоте, доверию и братству.

Сталкиваясь с молодежью буржуазного Запада, я испытывал чувство, которое сродни чувству крестьянина, обнаружившего в хорошем урожае множество плодов, подточенных червем.

Глетворное влияние капитализма несомненно. Оно проявляется прежде всего в среде молодежи, где постоянно атрофируется чувство уверенности в завтрашнем дне.

Это симптоматический показатель. Надежда является объективным критерием положения дел. Если нет надежды — нет цели, если нет перспективы — не может быть настоящей морали. Исчезает чувство ответственности перед обществом и перед человечеством. Такова упрощенная схема нигилизма, бытующего на Западе; такова демаркационная линия, отделяющая советскую молодежь от буржуазной.

Уверенность в завтрашнем дне, обоснованная надежда, что он будет лучше и краше сегодняшнего, — вот первая и типическая черта советских юношей и девушек, практическая недоступная их сверстнику в мире капитала, где законодательствует слепой случай.

Вдумайтесь в сущность и последствия простых на первый взгляд достижений советского общества: стало обычным, что каждый может учиться и приобрести желаемую специальность; стало даже обязательным иметь определенный уровень образования. Неполучаемо от каждого из нас чувство собственного достоинства, связанное с тем, что советский человек не отчужден от средств производства, и с тем, что ему не противопоставляется постоянно некий «хозяин».

Это культивируемое всем обществом человеческое достоинство не оборачивается человеческой униженностью даже в том случае, когда мы наталкиваемся на бюрократические препоны, на несправедливость, на порок. Есть существо явления, и есть побочные его элементы, последние мы преодолеваем и будем преодолевать впредь. Что касается сущности, сердцевины нашего общества, то оно всегда — и в эпоху революционного завоевания власти, и в гражданскую войну, и в годы индустриализации страны, и во время второй мировой войны, и в сложные послевоенные годы — неизменно стимулировало такие человеческие черты, как гуманизм, строгая мораль, оправданный героизм, творческое отношение к делу, и все эти качества рождаются не по приказу, не по внушению откуда-то извне, а путем непосредственного и естественного влияния общественной атмосферы, диктующей определенные качества каждому члену советского общества.

Из этого не следует, конечно, что наше общество свободно от таких античеловеческих явлений, как воровство, убийства, насилие; но нужно видеть вектор общественных сил. Он складывается таким образом, что создается моральный стимул для совершенствования каждого индивидуума.

Одна из доминирующих черт советского молодого человека — «шестидесятника», с которой я постоянно сталкиваюсь, общаясь с теми молодыми людьми, кому нет и тридцати лет, — это скромность.

Причем скромность эта — естественное проявление внутреннего «я», а не кокетливая маска, предназначенная для сознательной демонстрации.

Я уверен, что есть наследственные черты, переходящие из поколения в поколение, как есть наследственные черты, диктуемые генами родителей их потомкам. Этими общественно-наследственными черта-

ми советской молодежи являются революционная острота мышления, массовый патриотизм, проявившийся особенно ярко в годы революции и войн, умение работать, любовное отношение к тому, что сделано отцами, и великая скромность в осуществлении героических поступков.

В самых острых ситуациях, возникавших в последние семь-восемь лет в оценке советской молодежи, я всегда и беспелляционно был уверен в том, что советские юноши и девушки остаются достойными своих отцов и дедов — остаются нашей гордостью, величайшим завоеванием Октябрьской революции.

Не исключено, что в этой моей оптимистической уверенности мне помогала контрастная картина сопоставления наших молодых людей с их западными сверстниками.

И вот теперь, когда я выложил все то, что я думаю о вас, молодые люди, я хочу сказать вам несколько слов, которые бы мобилизовали ваше внимание и ваши силы на выполнение решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС.

От вас очень много зависит: от вашей убежденности, доверия, энергии выигрывает общество в целом и молодежь в частности; от вашей пассивности мы проиграли бы все.

Гипнотическое влияние будней отвлекает подчас от чего-то чрезвычайно важного, что совершается где-то вне поля нашего внимания. Я вспоминаю: три года назад встречались люди, озабоченные больше сдачей белья в прачечную, чем возникшим тогда Карибским кризисом.

Быт есть быт, его заедающая сила известна. И все-таки каждый из вас, читатель, признает, что есть общемировые и общегосударственные процессы, важность которых кардинальна для всего развития нашей жизни.

Одним из таких событий явились решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Если вы проглядели их, если вы не уделили им в свое время достаточного внимания, вернитесь к четко сформулированной сущности законов, по которым впредь будет развиваться советское хозяйство.

Молодежь должна глубоко и активно усвоить смысл этих решений — они в интересах ее будущего; молодежь должна принять самое творческое участие в осуществлении намеченного — это объективное требование теории и практики социализма.

Советское государство — это средство в руках хозяина (трудящихся) для управления народной экономикой. Мы все, в том числе и молодежь, и в особенной степени молодежь, являемся сохозяевами в производстве. Такие блага, как достаток, комфорт, изобилие, — в собственных наших руках. Надо учиться, надо постоянно учиться хозяйствованию, разумному и эффективному ведению дел.

Нам с вами есть на что опираться в решении этой задачи — мы опираемся на Коммунистическую партию. Это авангард народа, его «мозговой трест», это решающая и направляющая сила, столь тесно связанная с народом, что в ее решениях сфокусированы, аккумулированы все требования и чаяния народа. Партия выступает знаменосцем единства нашей всеобщей воли, устремленной к построению высшей ступени человеческого общества — коммунизма. А это не только создание всеобщего благосостояния, это и всестороннее развитие свободной личности, по которой всегда тосковали лучшие умы человечества.

Каждый из вас где-то работает. Каждый из вас, читатель, является и управляемым и управляющим. Повторяю, мы все — сохозяева нашей страны. Нам надо и впредь уметь перевоспитывать себя и друг

Друга. Надо органически чувствовать себя хозяином своего участка, беречь каждую минуту труда, каждую копейку средств. Надо быть и компетентным в своем деле и ответственным за результаты этого дела.

Объективные условия для этого налицо. В советском хозяйстве занято сейчас 35 процентов людей с высшим и средним образованием. Это отрадное явление, имеющее явную тенденцию к росту, вытекает из программы Коммунистической партии, направленной на развитие производительных сил страны и ее интеллектуального потенциала.

И все-таки следует признать, что мы еще не достигли того положения, о котором говорил Ленин.

Ленин ставил сколь скромную, столь и великую задачу: каждый рабочий должен научиться руководить не только предприятием, не только отраслью, не только всей промышленностью, но всем народным хозяйством. И каждый крестьянин должен научиться руководить не только своим хозяйством, но всем народным хозяйством. А уж о специалистах и речи нет: это само собой понятно.

Между тем у нас до сих пор любят кивать друг на друга и требовать от другого, не от себя. Но кто же этот другой? Такой же, как ты, в конечном счете это ты сам. И только в меру того, что сделал ты сам, сохозяин Страны Советов, ты можешь обращаться с требованием к другим своим коллегам по строительству коммунизма.

И вот величайший закон нашей сегодняшней жизни: осознать личную ответственность за все дела страны. Это должно быть правилом нашей жизни.

Ибо сегодня ты — молодой человек, стоящий за спиной своего отца, поседевшего в борьбе, в победах и поражениях, в революционных предвидениях и в трагических ошибках, стоящий за спиной отца, открывшего тебе самую радужную перспективу жизни, завтра ты сам станешь на его место, и весь груз ответственности за дело твоего народа, за судьбу революции и за будущее коммунизма ляжет на твои плечи!

Надо знать всю сложную историю пройденного пути. Но прежде всего коммунист должен уметь смотреть в будущее и видеть будущее. Анализируя прошлое, он должен обеспечить победу завтрашнего дня, которого ждет весь мир и приход которого преисполняет социалистическая революция.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Употребив слово «революция», я подразумеваю в нем нечто значительно большее, чем факт перехода власти из рук эксплуататоров в руки рабочих и крестьян.

Главное — это революционное преобразование общества; переход от привычных экономических, проверенных столетиями производственных отношений товарно-капиталистического общества к беспрецедентному обществу социализма, открытого научным предвидением Маркса и Ленина.

Это великая историческая задача — преобразование капитализма в социализм, и она должна являться фундаментом нашей гордости и за содеянное и за подлежащее претворению в жизнь.

В то же время революционный процесс открывается перед нами как конгломерат существеннейших вопросов совершенствования человеческих отношений

для всестороннего оптимального развития каждой отдельной личности.

Это всестороннее свободное развитие человеческой индивидуальности и есть цель и задача коммунизма. Осуществляется же она прежде всего силой коллектива. Противоречит ли одно другому?

Наши противники, да и не только они, порой примитивно представляют себе коммунизм как всеобщее хождение шеренгой с поднятыми серпом и молотом. На самом же деле коммунистическое общество — это слабое мощных индивидуальностей, развитие которых поощряется и стимулируется коллективом. Такое возможно лишь в обществе, где нет антагонизма между индивидуумами, на базе действительной, а не мнимой коллективности (примеры мнимой коллективности ежечасно являют нам жизнь капиталистического мира).

Я остановился на развитии личности, потому что это часть продолжающегося революционного процесса. Мы имеем все основания утверждать, что советское общество уже создало новый тип человека; я имею в виду его духовный и моральный облик.

Вклад, внесенный нашей страной за последнее десятилетие в сокровищницу научных и культурных достижений человечества, велик. Его невозможно объяснить лишь экономическим потенциалом советского общества. Мы и сейчас отстаем в хозяйственном отношении от США; в тридцатых годах этот разрыв был еще больше. Между тем именно в те годы уже началась полоса уникальных достижений, осуществленных советскими людьми: знаменитые беспосадочные перелеты, полярные экспедиции, рекордные вторжения в стратосферу. Затем руки советского человека водрузили знамя Победы над рейхстагом. Руки советского человека создали первые атомные электростанции, запустили первый искусственный спутник Земли, послали первый лунник. Первый космонавт был подданным СССР, как и первая женщина, побывавшая в космосе.

Этот едва ли не постоянный эпитет — «первый» — характеризует место советского человека в делах нашей планеты. Ведь все вышеперечисленное тоже является продолжением социалистической революции.

Коммунизм, идея и учение коммунизма рождены не из человеческих эмоций. Коммунизм возникает из объективных потребностей человеческой жизни. Его неизбежный приход обоснован прежде всего экономически. Это великолепно видно в наше время, особенно на примере атомной техники и освоения космоса: современные производительные силы, чтобы развиваться в интересах всех членов общества, не укладываются в рамки капитализма. Для своего успешного развития они требуют кооперации всех сил и всех средств планеты.

Такая задача под силу только социалистической экономике, существенная черта которой состоит в предвиденном развитии. В обществе буржуазных взаимоотношений есть свобода пользоваться случайностью. Наша привилегия — пользоваться общественным предвидением. Решения сентябрьского Пленума и направлены на то, чтобы усилить это общественное предвидение развития.

Предложенные Пленумом меры требуют опоры на такие экономические рычаги, которые выражены в цене, в прибыли, в платных фондах. Усиление внимания к этим категориям, продиктованное научным подходом к хозяйственным проблемам, вызвало на Западе волну разговоров о якобы намечающемся сближении социалистической и капиталистической экономики. Об этих разговорах можно сказать пого-

воркой: желание — отец мысли. Они свидетельствуют не о действительном положении дел, а о желании капитализма хотя бы таким путем укрепить свои шаткие позиции.

Сентябрьский Пленум ЦК знаменателен также тем, что он решил вопрос о созыве XXIII съезда партии. На съезде будут рассмотрены отчет ЦК за прошедшие четыре года работы и директивы к составлению нового пятилетнего плана развития народного хозяйства. Это будет научный анализ плюсов и минусов проделанной работы и научное определение дальнейших путей в деятельности авангарда советского народа, а следовательно, и всего народа, строящего коммунизм.

Идеи марксизма-ленинизма дают возможность осветить дорогу в будущее, предвидеть основные вехи на этом пути. Такая возможность — огромное завоевание. Она служит основой действенных фантазий, без которых нельзя создать ничего великого. А сколько поистине изумительного, требующего напряженной мысли, неустанного труда, патриотизма, мужества и героизма, предстоит нашему народу, а в его рядах и вам, молодые советские люди!

Нужны новые научные теории, новые невиданные машины, новые открытия на земле, в ее недрах, в космосе; нужны огромная дифференциация и такой же синтез знаний. Нужна настоящая гуманность во имя действительной коллективности. Нужно овладеть законами жизни человеческого общества, беспощадно пресекая все реакционное, изуверское, унижающее достоинство человека, отнимающее у людей право на лучшую жизнь. На этом исторически объективном пути ставит чудовищные преграды империализм во главе с США. Лицемерно вопя об угрозе «свободному миру», империализм защищает свободу для капитала, свободу насилия над трудящимися, насилия над колониями и слаборазвитыми странами, свободу всячески подавлять и разлагать человеческую личность.

Самый факт существования нашей социалистической Родины — это пламенный призыв к социальному прогрессу, это яркое подтверждение простой истины:

современному обществу не нужны эксплуататоры; трудящиеся и без них могут построить и строят уже настоящую, творческую человеческую жизнь. Вот почему участие каждого из нас во всенародной работе, укрепляя мощь Родины и подымая благосостояние народа, является вместе с тем и нашим вкладом в мировую революцию.

В. И. Ленин говорил, что на ход мировой революции мы, советские люди, будем оказывать все большее влияние прежде всего своими хозяйственными успехами, своими успехами по созданию истинно человеческого общества — коммунизма. Поэтому подготовка к XXIII съезду партии, претворение в жизнь решений мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС — это подготовка и к осуществлению будущих решений съезда, тех решений, в которых вновь отразится единство воли нашего народа, его готовность и умение осуществлять необходимые ему, как рациональному хозяину, великие планы строительства.

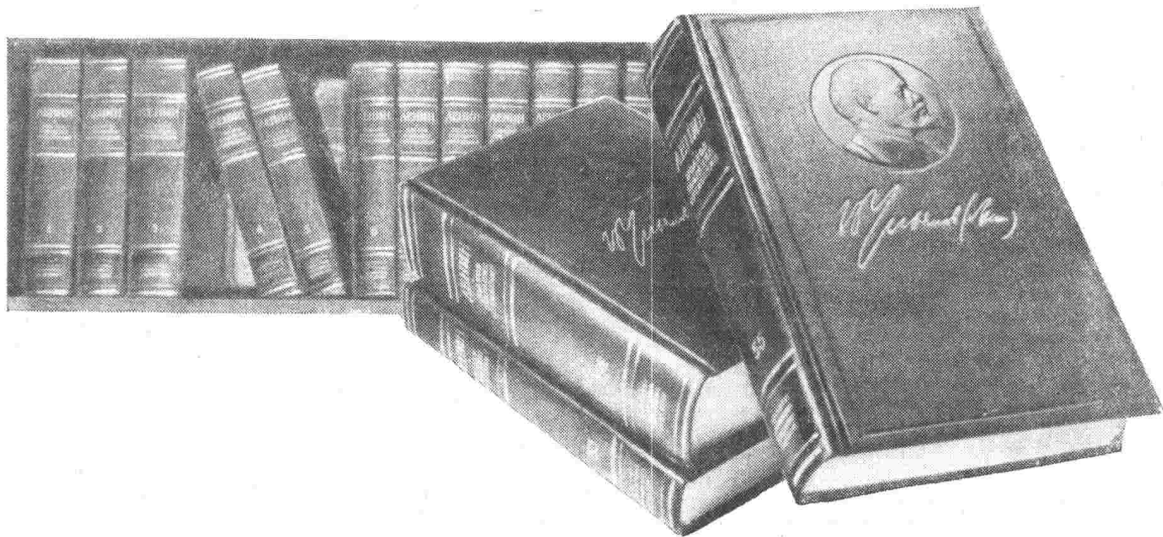
✧

Итак, поистине революционные решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС открывают ясную перспективу в завтрашний день, которую еще более углубит предстоящий XXIII съезд партии. Как и всякие решения, постановления сентябрьского Пленума не волшебная лампа Алладина, и не надо думать, что чудесным образом уже завтра само по себе все станет отлично. Программа перестройки, намеченная Пленумом, предназначена для серьезной, вдумчивой, массовой и постепенной работы.

И здесь открывается широкое поле деятельности для советской молодежи. Именно она, не зараженная косностью, бюрократизмом, низкопоклонством, призвана сыграть существенную роль в намеченной экономической реформе.

Пусть каждый юноша и каждая девушка вновь осмыслит сущность и цель начатой перестройки, чтобы осуществлять ее с тем чувством личной заинтересованности в благих для страны, для вас же самих результатах, которое уже само по себе будет залогом успеха.





● Б. Яковлев

МНОГОГРАНЕН, КАК ЖИЗНЬ...

*Заметки
о впервые
опубликованных
письмах
В. И. ЛЕНИНА*

Эти пятьдесят пять томов появились на книжных полках за 1958—1965 годы. На их строгом темном переплете выгиснен большелобый профиль самого знаменитого человека планеты. А под барельефом — стремительный, молниеносный автограф: В. Ульянов (Ленин)...

Перед нами первое Полное собрание сочинений основоположника ленинизма — подлинная энциклопедия революционной политической мысли эпохи. Впрочем, к энциклопедии чаще всего обращаются за справками. Энциклопедизм ленинского гения при всем богатстве освещенного его идеями познавательного материала истории и экономики, политики и науки, литературы и искусства обладает иными качествами. Он не только просвещает, учит, направляет. Он **НРАВСТВЕННО** воспитывает. Увлекает романтикой и драматизмом революционной борьбы, ее высокой поэзией. Отвечает на самые сложные вопросы, которые встают перед новыми поколениями борцов за коммунизм.

Еще полвека тому назад Ленин заметил:

— Нередко бывает, что представители поколения пожилых и старых не умеют подойти, как следует, к молодежи, которая по необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, не тем

путем, не в той форме, не в той обстановке, как ее отцы...

Замечание это, как и все в ленинском наследии, нисколько не устарело. Но ведь, формируясь в иной исторической обстановке, каждое новое поколение идет по следам отцов. Вооружается их опытом. Подражает их подвигам. Книги Ленина — самая правдивая летопись революции, ее свершений и трудностей, побед и поражений. И любая из многих тысяч страниц этой летописи учит мужеству и стойкости, честности и справедливости, чуткости и внимательности к товарищам по борьбе, непримиримости, а когда необходимо, и беспощадности к врагу.

Мы перелистаем лишь немногие страницы, на которых опубликованы — и нередко впервые! — ленинские письма. В них, не предназначавшихся для печати, не искаженных ни цензурой, ни непрошеными редакторами, ни, наконец, даже... стенографистками, не поспевавшими за искрометным темпом ленинской речи, мы услышим живое слово Ильича. И обращено оно прежде всего к тебе, молодой современник, к вам, родившимся в сороковых и даже пятидесятых годах и воплощающим в себе уже не только будущее, но и настоящее нашей страны, во всех неисчислимых отраслях созидательного труда современного человека...

Два изречения особенно часто вспоминаются, когда в наши дни говорят и пишут о Ленине:

**«КОРОТКА И ДО ПОСЛЕДНИХ МГНОВЕНИЙ
НАМ ИЗВЕСТНА ЖИЗНЬ УЛЬЯНОВА...»**

**и
«ПРОСТ, КАК ПРАВДА».**

Первое из них, как известно, принадлежит Маяковскому. Второе — другу Горького, рабочему-большевику Дмитрию Павлову.

Жизнь Владимира Ильича, не достигшая и пятидесяти четырех, действительно трагически коротка. Но она далеко еще не изучена до ее «последних мгновений». И уж, во всяком случае, не была известна более четырех десятилетий назад, когда Маяковский закончил поэму о Ленине.

«Прост, как правда». Да, Ленин был на редкость естествен и прост в обращении с самыми разными людьми. О сложнейших проблемах истории и современности Ленин говорил с непревзойденной классической простотой. Но слова «Прост, как правда» не надо понимать буквалистски. Из них отнюдь не следует, что он «прост» как личность, а не сложен, как сложен человек вообще и тем более величайший человек эпохи.

Ленин, как и любой из его ближайших соратников, вовсе не «прост». И столь же не проста, а порой весьма противоречива историческая правда его времени. И политика тех лет напряженнейшей классовой борьбы отнюдь не «проста, как воды глоток».

Особенно наглядно и поучительно доказывают это новые публикации ленинского наследия хотя бы лишь за десятилетие 1956—1965 годов.

Напомним, кстати, что из четырех с половиной тысяч документов, вошедших в только что изданные 46—54-й тома Полного собрания Сочинений В. И. Ленина, примерно 1 500 опубликованы лишь за названные годы.

За последние десять лет мы, таким образом, ознакомились с третьей ленинского эпистолярного наследия.

1 500 впервые опубликованных после XX съезда партии ленинских писем — это 1 500 новых страниц автобиографии Владимира Ильича. И это одновременно десятки, если не сотни, оригинальных, порой неожиданных, драматических и увлекательных сюжетов для прозаиков и драматургов, поэтов и очеркистов.

Вот для примера хотя бы совсем новый и никем еще ни публицистически, ни тем более художественно не освоенный сюжет, который можно было бы озаглавить —

«ПЕРВЫЙ КРАСНОГВАРДЕЕЦ ИЗ АМСТЕРДАМА»

В январе 1918 года Ленин пишет Подвойскому и Крыленко, которые возглавляли тогда Народный комиссариат по военным делам:

— Предлагаемое письмо получено мною сегодня от тов. Лютераана, голландца, члена левой партии «трибунистов». Я с ним познакомился в 1915 г. в Берне.

Лютераан просит дать ему денег на поездку и зачислить его в Красную гвардию России.

Просил бы, по принципиальным мотивам, удовлетворить его просьбу. Может быть, его можно бы зачислить временно к латышам или эстам, говорящим по-немецки, пока он не выучится по-русски.

В тот же день были ассигнованы деньги на путешествие Лютераана из Амстердама в Петроград. Баренд Лютераан, хотя он всего лишь на восемь лет моложе Ленина, жив и по-прежнему состоит в Коммунистической партии Нидерландов, которую он создавал вместе с другими интернационалистами, сплотившимися в годы первой мировой войны вокруг газеты «Трибуна».

Как интересно было бы побеседовать с этим ветераном рабочего движения, которому принадлежит честь стать едва ли не первым зарубежным добровольцем нашей Красной гвардии!

А разве не выигрышен этот намеченный самой историей сюжет для кинематографического или телевизионного фильма? Как содержательно мог бы рассказать о встречах и переписке старого революционера с Лениным отличный нидерландский писатель-коммунист Тейн де Фрис!

Но не менее, пожалуй, примечателен и другой сюжет, который мы назовем —

«СЕКРЕТАРЬ ЛЕНИНА»

В числе работников ленинского секретариата особенно широко известны в Смольном Мария Скрышник, а в Кремле Лидия Фотиева и ее помощницы. Был, однако, у Владимира Ильича и еще один секретарь — матрос-балтфлотец Сидоренко.

Вот что сообщает о нем Ленин 19 февраля того же 1918 года Феликсу Дзержинскому:

— Податель Сидоренко был моим личным секретарем несколько дней. Я был им вполне доволен. Уволен он был за один случай, когда в пьяном виде он кричал, как мне передали, что он «секретарь Ленина».

Сидоренко говорит мне, что он глубоко покаялся. И я лично склонен вполне верить ему; парень молодой, по-моему, очень хороший. К молодости надо быть снисходительным.

На основании всех этих фактов судите сами, смотры по тому, на какое место прочтите его...

Лютераан — первый добровольец-интернационалист Красной гвардии. Балтфлотцу Сидоренко суждено было стать первым... уволенным из советского государственного аппарата.

Судьба его неизвестна. И вряд ли ее теперь удастся выяснить документально. Вот тут-то честь и место смелому воображению художника! Он может угадать характер этого, совсем еще юного и, по ленинской оценке, «очень хорошего», хоть и неупутевого парня.

А к молодости и впрямь, как пишет здесь Ленин, «надо быть снисходительным». Но одновременно и требовательным, взыскательным, строгим, когда молодость невольна, а то и бессознательно злоупотребляет своими правами...

Подсказан самой жизнью и запечатлен в ленинской переписке и еще один сюжет. Назовем его —

«АРЕСТОВАННЫЙ В ПЕТРОГРАДЕ»

Грозной осенью 1919 года Ленин снова обращается к Дзержинскому, на этот раз по куда более драматическому поводу.

— Тов. Коллонтай, — сообщает Владимир Ильич председателю ВЧК, — пишет мне про Алексея Сапожникова, арестованного в Петрограде юношу.

Арестован-де за то, что с чужими документами пробрался в полосу военных действий.

Сделал-де он это потому, что «до болезненности любит мать», а его родители оказались отрезанными при наступлении Юденича.

Коллонтай пишет, что знает Алексея Сапожникова как «человека абсолютно аполитичного» «и притом

болезненно впечатлительного, нервного, который вступался в историю по глупости».

Коллонтай боится, чтобы его не расстреляли.

И Ленин, по обыкновению, не навязывая своих решений и рекомендаций, задает Дзержинскому вопросы:

- 1) Можете навести справку?
- 2) — приостановить решение?..

Оказаться в нелегкие дни обороны Петрограда на линии фронта, да еще с чужими или даже фальшивыми документами, непростительно и для «абсолютно аполитичного» недоросля. Но Ленин отлично знает, что в жизни возможны и такие, не совсем обычные ситуации.

Письмо это, как всегда в то время, не продиктованное, а написанное от руки, датировано 21 ноября 1919 года. В этот день Ленин много часов председательствовал в Совнарком. Участвовал в заседании Политбюро, обсуждавшем его тезисы о Советской власти на Украине. Совещался с членами Центрального Комитета партии и делегатами Второго Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока. И, видимо, уже далеко-далеко за полночь, читая накопившуюся почту, попытался спастись от неминуемого по тем дням расстрела юношу, в котором кто-либо другой увидал бы лишь никчемного «маменькиного сынка», а то и вовсе коварного бело-гвардейского шпиона или диверсанта...

Ленинский, подлинно пролетарский гуманизм никогда не был всепрощающим. Но Ленин зато безошибочно отличал врага революции от ее союзника или даже «попутчика», по терминологии тех лет. И в каждом человеке он видел личность, индивидуальность, а не статистическую единицу...

«ЗАГОНЯТЬ» ИХ ПРАКТИЧЕСКИМИ ПОРУЧЕНИЯМИ»

Впервые опубликованные ленинские документы помогают точнее установить недостоверность, мягко выражаясь, некоторых рассказов о Владимире Ильиче. Сошлемся хотя бы на широко известную новеллу Эммануила Казакевича «Враги», которая в отличие от его же «Синей тетради» решительно во всем противоположна реальной исторической правде.

Сюжетную основу новеллы составляют сугубо засекреченные ленинские поиски Мартова, якобы ушедшего весной 1920 года в меньшевистское подполье.

Но вот записка Владимира Ильича тогдашнему председателю Московского Совета, связанная с избранием в его состав (вместе, как это ни прискорбно, с еще сорока шестью меньшевиками!) якобы глупо закоспирированных Мартова и Дана:

- По-моему, Вы должны «загонять» их практическими поручениями:
Дан — санучастки,
Мартов — контроль за столовыми.

Меньшевистский лидер Федор Дан — по специальности врач. Работа на санитарных участках Москвы вполне для него естественна. Что же касается Мартова, то трудновато, пожалуй, одновременно в качестве депутата Моссовета контролировать рабочие столовые (как это было на самом деле!) и скрываться от

злостных чекистов Дзержинского на «конспиративной квартире» (как это утверждает названный рассказ!).

Но еще важнее новые ленинские публикации для раскрытия образа самого Владимира Ильича. За эти годы мы узнали столько нового о Ленине, что можно привести буквально сотни примеров. Чтобы не лишать читателей радости первооткрывательства, ограничимся лишь совсем немногими.

«НА ОСНОВАНИИ НЕМАЛОГО ОПЫТА...»

Вот, скажем, как осенью 1907 года Ленин суммирует политический опыт, накопленный им за годы первой эмиграции. Одному из своих тогдашних единомышленников он пишет:

— Я думаю, что Вы таких подлых условий, как заграничная эмигрантщина, еще не видели. Надо быть там очень осторожным. Не в том смысле, чтобы я отсоветовал военные действия против оппортунистов. Напротив, воевать там очень надо и очень придется. Но характер войны подлый. Злобное подкивание встретите Вы отовсюду, прямую «провокацию» со стороны меньшевиков... — и весьма слабую среду делового сочувствия. Ибо оторванность от России там чертовская, бездельничанье и бездельничанье психика, изнервленная, истеричная, шипящая и плюющая, — преобладают. Вы там встретите трудности работы, ничего общего не имеющие с российскими трудностями: «свобода» почти полная, но живой работы и среды для живой работы почти нет... Кто сумеет обеспечить себе за границей работу в связи с русской организацией... — тот и только тот сможет оградить себя от засасывающего болота тоски, дрызг, изнервленной озлобленности и проч. У меня эта «заграница» ой-ой как в памяти, и я говорю на основании немалого опыта...

Нужно ли пояснять, что в эмигрантском «проклятом далеке» Ленин и большевики в отличие от своих меньшевистских, эсеровских и прочих политических противников никогда не теряли связей с русской организацией революционного пролетарского подполья! Но ведь и соседство с болотом, да еще болотом тоски и дрызг, — весьма неприятное соседство. А продолжалось оно в жизни Ленина в общей сложности почти пятнадцать лет. Сколько же отняло это драгоценных сил и времени! Как мешало жить и работать во имя и на благо революции!..

На тот же личный революционный опыт Ленин опирается и весной 1914 года, когда признается в одном из писем Инессе Арман:

— ...ох, эти «делишки» подобия дел, суррогаты дел, помеха делу, как я ненавижу суетню, хлопотню, делишки и как я с ними неразрывно и навсегда связан!!

Кто не подпишется под таким откровенным, но грустным признанием?

Однако тут же, переходя на английский, Ленин пишет:

— Это еще лишний признак того, что я обленился, устал и в дурном расположении духа. Вообще я люблю свою профессию, а теперь я часто ее почти ненавижу.

Кто не знавал подчас нелегкие минуты!.. Но редко, совсем редко в подобных, казалось бы, таких прощительных случаях так сурово и беспощадно себя критикуют...

«КОЕ-КАКИЕ ЧАСТНЫЕ СОВЕТЫ»

Тем же предвоенным летом и ту же Инессу Арманд Ленин инструктирует в связи с предстоящим в Брюсселе так называемым «Объединительным» заседанием Международного социалистического бюро, лидеры которого вознамерились помирить большевиков с... ликвидаторами.

Имея в виду наиболее вероятных оппонентов большевистской делегации на Брюссельском совещании — от «самого» Плеханова до уже совсем позабытого в наши дни эсеровского говоруна Рубановича, — Владимир Ильич пишет:

— Дорогой друг! Я чрезвычайно тебе благодарен за твоё согласие. Я просто уверен, что ты превосходно выполнишь твою важную роль и дашь достойный ответ Плеханову, Розе Люксембург и Каутскому и Рубановичу (наглец!), которые едут в Брюссель в надежде устроить демонстрацию против нас вообще и против меня в частности.

Ты с делом достаточно хорошо знакома, говоришь хорошо, и я уверен, что теперь сможешь быть достаточно «нахальна». Пожалуйста, не истолкуй «в плохую сторону», если я даю тебе кое-какие частные советы для облегчения твоей тяжелой задачи.

Но какие же советы в этом случае дает лидер боевой политической партии ее делегату на поистине «Совет нечестивых»? Им тогда — после кончины Августа Бебеля — уже стало Международное социалистическое бюро Исполнительного комитета Второго Интернационала.

Наряду с важнейшими политическими директивами и неопровержимым обличением ликвидаторов — фактическим и документальным — Владимир Ильич не пренебрегает и такими деталями предстоящей полемики:

— Плеханов любит «смущать» товарищ, говоря им «вдруг» галантности... Надо быть готовым к этому для быстрого ответа — я восхищена, товарищ Плеханов, вы поистине старый волокита (или галантный кавалер) — или что-либо в этом роде, чтобы вежливо отбросить его. Ты должна знать, что все будет очень злиться (я очень рад!), увидев, что я отсутствую, и, вероятно, захотят отомстить тебе. Но я уверен, что ты покажешь свои «ноготки» наилучшим образом. Заранее восторгаюсь при мысли, как они нарвутся публично, встретив холодный, спокойный и немного презрительный отпор.

Автору этого столь темпераментного письма уже сорок четыре года. Более четверти века он в революционной борьбе и за почти два десятилетия хорошо изучил личные особенности, силы и слабости своих политических противников. Потому-то с полным знанием дела он и советует делегатке большевиков:

— Плеханов любит «задавать вопросы», издеваясь над вопрошаемым. Мой совет: обрезать сразу — Вы же вправе, как и всякий член конференции, задавать вопросы, но я отвечаю вовсе не Вам лично, а всей конференции, поэтому покорнейше прошу не перебивать меня, — чтобы превратить сразу «задавание вопросов» в нападение на него. Ты должна все время занимать наступательную позицию. Или так: я, мол, вместо ответа и для ответа (я так предпочитаю), возьму слово в очередь и Вы будете вполне удовлетворены. По моему опыту, это лучший прием с нахалами. Они трусы и сразу оседают, осекаясь.

Ленин оттачивает тактическое — полемическое оружие делегатов. Но одновременно он, разумеется, не забывает и о неизмеримо более мощном стратегическом оружии и с его помощью отстаивает основные политические и организационные идеи большевизма. Особо энергично Владимир Ильич подчеркивает:

— Мы автономная партия. Это помни твердо. НИКТО не вправе нам навязать чужую волю, и Международное социалистическое бюро не вправе. Если будут угрозы, это ОДНА ФРАЗА.

Однако в данном случае немалый интерес представляет не только идеология, но и ленинская психология страстной и непримиримой политической борьбы против ревизионистов. Вчитываешься, вдумываешься в «кое-какие частные советы» Владимира Ильича, и живо ощущаешь, до чего же взволнован он предстоящей (какой уж по счету за долгие годы!) новой политической схваткой с врагами партии.

Как не вспомнить, читая такие письма, впервые обнаруженные лишь в 1964 году, горьковские строки об «азарте юности», которым Владимир Ильич насыщал решительно все, что делал!..

Горький глубоко прав, называя подобный азарт свойством ленинской природы и отмечая при этом, что то было не корыстный азарт игрока (присущий всем иным историческим личностям!), а та поистине «исключительная бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в свое призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, — роль врага хаоса...».

ЖИВОЕ ЛЕНИНСКОЕ СЛОВО

В своих письмах Ленин предстает перед нами во всем многообразии человеческих чувств и даже настроений. Он любит и ненавидит. Радуется и грустит. Негодует и высмеивает. Сожалеет и даже... по-своему «завидует». Вот наглядный пример этой ленинской «зависти» к друзьям, располагающим большими, чем он, возможностями революционной пропаганды. Весной 1917 года, за несколько дней до Февральской революции, Владимир Ильич еще из Цюриха пишет Инессе Арманд:

— Завидую Вам... можете выступать с открытыми рефератами. Как-никак, выступая с открытым рефератом, имеешь перед собой свежих людей, рабочих, толпу, а не чиновников или будущих чиновников или горетку, запуганную чиновниками. Выступая с открытым рефератом, говоришь к массе, вступаешь в непосредственное общение с ней, видишь ее, знакомишься с ней, влияешь по-своему...

Каждое выступление перед рабочей аудиторией было для Ленина двусторонним процессом взаимного влияния. Просвещая пролетариев, Ленин-оратор одновременно учился у них. Изучал их настроения, внимательно прислушивался к репликам, вдумывался в заданные докладчику вопросы.

Но не проходит и двух недель, как Ленин, истосковавшийся по открытым рефератам, снова пишет тому же адресату письмо, на этот раз буквально раскаленное революционной страстью.

Вторая русская революция победила. Царское самодержавие свергнуто. И Владимир Ильич рвется на родину из такой тесной для него швейцарской клетки. Он выдвигает план за планом. Один рискованнее другого.

Чего стоил, к примеру, его проект перелететь на тогдашнем самолете из Швейцарии в Россию! Или выдать себя за «глухонемого шведа», не умеющего, к тому же, не только говорить по-шведски, но даже читать и писать...

— Не могу скрыть от Вас, что разочарован я сильно. — заявляет Ленин уже 19 марта. — По-моему, у всякого должна быть теперь одна мысль: скакать. А люди чего-то «ждут»!!

Я уверен, что меня арестуют или просто задержат в Англии, если я поеду под своим именем... Факт! Поэтому я не могу двигаться лично без весьма «особых» мер.

А другие? Я был уверен, что Вы поскачете тотчас в Англию... Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще бы Терпеть, сидеть здесь...

В заключение Ленин пишет, имея в виду тот швейцарский городок, где поселилась Инесса Арманд и другие русские большевики:

— В Кларане (и около) есть много русских богатых и небогатых социал-патриотов и т. п. (Трояновский, Рубанин и проч.), которые должны бы попросить у немцев пропуска — вагон до Копенгагена для разных революционеров.

Почему бы нет?

Я не могу этого сделать. Я «пораженец».

А Трояновский и Рубанин + К^о могут.

О, если бы я мог научить эту сволочь и дурней быть умными!..

Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут!

Конечно, если узнают, что сия мысль от меня или от Вас исходит, то дело будет испорчено...

Ленин неизменно пишет, как говорит, в полную противоположность тем «книжникам и фарисеям», что говорят, как пишут. И в каждом письме слышится живое ленинское слово — гибкое, меткое, порой, как и у Маркса, плебейски-грубоватое. Как далеко оно от того, лаконически выражаясь, «архи-батеньки», которым изображают Ленина многие наши драматурги...

«В 3¼ ЧАСА ДНЯ, 7 ИЮЛЯ...»

Однако в действительно критические и даже трагические минуты от сугубой, по его самокритической оценке, нервной взвинченности, в которой порой Владимир Ильич признавался друзьям, не оставалось и следа. Ее властно подчиняла себе могучая ленинская воля.

В июльские дни 1917 года, вполне готовый к тому, что его «укокошат» взбесившиеся от яростной ненависти контрреволюционеры, Ленин, оказывается, решает явиться «для ареста» из своей конспиративной квартиры у Аллилуевых, отлично сознавая всю угрожающую ему смертельную опасность.

Он пишет в Бюро Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов:

— Сейчас только, в 3¼ часа дня, 7 июля, я узнал, что у меня на квартире был сегодня ночью обыск, произведенный, вопреки протестам жены, вооруженными людьми, не предъявившими письменного приказа. Я выражаю свой протест против этого, прошу Бюро ЦИК расследовать это прямое нарушение закона.

Вместе с тем я считаю долгом официально и письменно подтвердить то, в чем, я уверен, не мог сомневаться ни один член ЦИК, именно: что в случае приказа правительства о моем аресте и утверждении этого приказа ЦИК-том, я явлюсь в указанное мне ЦИК-том место для ареста.

Член ЦИК Владимир Ильич Ульянов
(Н. Ленин).

Напомним, что вечером того же 7 (20) июля состоялось совещание членов ЦК и ряда партийных работников (Ногин, Орджоникидзе, Сталин, Стасова

и другие). Участники совещания убедили Владимира Ильича не подавать этого заявления, впервые опубликованного лишь почти полвека спустя. Ведь возле указанного Ленину «места для ареста» его наверняка поджидали бы наемные убийцы...

«ДО СВЕДЕНИЯ ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ»

В Ленине воплощалось мужество и честность пролетарской революции. Глубоко поучительно для всех, кто так или иначе активно участвует в общественной жизни, и то, к примеру, что Ленин никогда не уклонялся от публичного признания любой, даже малейшей неточности в своих статьях и речах. Особенно, когда это касалось чьего-либо доброго имени или политической репутации.

1 июня 1921 года он просит Ю. М. Стеклова «поместить петицию в «Известиях» такое письмо в редакцию:

— Мне случилось в последнее время упоминать имя бывшего меньшевика И. Майского, который был министром при Колчаке. Тов. И. Майский в письме ко мне протестует против смешения его с Мартовыми и Черновыми и указывает, что он, Майский, теперь уже член РКП и работает на советской должности в Омске в качестве заведующего экономическим отделом Сибревкома.

Считаю долгом довести до сведения читающей публики это указание тов. И. Майского.

Современная, по-старинному выражению, «читающая публика» не слишком избалована подобными письмами от авторов или ораторов, ненароком избивших того или иного товарища. А ведь И. М. Майский в то время был совсем недавним политическим противником. Да еще каким: министром иностранных дел контрреволюционного «Сибирского правительства», на что и указывал — с полным на то основанием — Ленин¹.

А вскоре он, после страстного и, по обыкновению, резкого и острого выступления против немецких «левых» коммунистов пишет Вильгельму Кёнену, Августу Тальгеймеру и Паулю Фрелиху:

— Уважаемые товарищи!

Я получил копию вашего письма Центральному Комитету нашей партии... Свой ответ я сообщил вчера устно. Пользуюсь этим случаем, чтобы подчеркнуть, что я решительно беру назад употребленные мною грубые и невежливые выражения и настоящим повторяю в письменной форме свою устную просьбу извинить меня...

Хотя Владимир Ильич считал, что «начальство не имеет права нервничать» именно потсму, что оно «начальство», начисто лишенное этой привилегии подчиненных, нервничал, порой, разумеется, и он. Но, убедившись в невольной, незаслуженной оппозиции грубоватости или даже всего лишь, по его признанию, невежливости примененных им в пылу полемики выражений, извинялся перед теми, кого они обижали.

Вскоре Владимир Ильич выступает на заседании Комиссии по тактике Третьего конгресса Коммунистического Интернационала. Назавтра он обращается в его Исполнительный Комитет «с просьбой сообщить членам вчерашней комиссии следующее:

¹ И. М. Майский с 1922 года находился на дипломатической работе, в 1932—1943 гг. был послом СССР в Англии, а в 1943—1946 гг. — заместителем наркома иностранных дел СССР. Академик.

— Мне сообщили, что мои вчерашние слова в Комиссии против — вернее, против некоторых — венгерских коммунистов вызвали недовольство. Поэтому я спешу вам письменно сообщить: когда я сам был эмигрантом (больше 15 лет), я несколько раз занимал «слишком левую» позицию (как я теперь вижу)... я также был эмигрантом и внес в Центральный Комитет нашей партии слишком «левое» предложение, которое, к счастью, было начисто отклонено. Естественно, что эмигранты часто стоят на «слишком левых» позициях. Я и раньше и теперь был далек от мысли упрекать в этом таких прекрасных, преданных, верных и заслуженных революционеров, какими являются венгерские эмигранты, столь уважаемые всеми нами, всем Коммунистическим Интернационалом.

Пусть самая доброжелательная, но резкая критика всегда вызывает сперва естественное недовольство и даже раздражение у критикуемых. Ленин знал это и умел приободрить и морально поддержать, когда они этого заслуживали, раскритикованных им (справедливо и за дело!) единомышленников.

Такие же требования, как к самому себе, Ленин неизменно предъявлял и товарищам по партии.

Из песни, как говорится, слова не выкинешь. Но ведь и в истории факта не замолчишь, каким бы неприятным этот исторический факт ни был... Остановимся поэтому в заключение на едва ли не самом драматическом из всех впервые опубликованных за эти годы ленинских документов. По-своему переключается он с той группой последних статей и писем Владимира Ильича, которые принято называть его политическим завещанием.

Итак, перенесемся на сорок три года назад, в начало марта 1923 года, дни прощальной ленинской весны, ибо следующей так любимой им весенней поры ему не суждено было увидеть.

«СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ ВЗЯТЬ СКАЗАННОЕ НАЗАД И ИЗВИНИТЬСЯ»

Уже тяжело больной Ленин 5 марта диктует стенографистке такое личное и строго секретное письмо Сталину:

— Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения.

Далеко не личный, а острополитический инцидент, который вызвал такой гнев Владимира Ильича, произошёл за два с лишним месяца до 5 марта.

22 декабря, еще 1922 года, Сталин, на которого всего лишь за неделю до этого Пленум ЦК возложил ответственность за соблюдение режима, установленного для Ленина врачами, непозволительно грубо оскорбил Надежду Константиновну, записавшую под диктовку Владимира Ильича краткое письмо по поводу возобновившего его вопросу о монополии внешней торговли. Но пусть лучше об этом расскажет сама Крупская. Полное партийного и человеческого

достоинства ее письмо в Политбюро Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС точно так же впервые опубликовал лишь летом 1965 года.

Вот что она сообщала 23 декабря — на другой день после инцидента, о котором тогда и не подозревал Владимир Ильич:

— ...по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Влад. Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с Ильичем, я знаю лучше всякого врача, т. к. знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина...

И Надежда Константиновна требует оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз». Заканчивая письмо, она заявляет:

— В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности.

Опасаясь расстроить больного Владимира Ильича, Надежда Константиновна не рассказывает ему об этом инциденте ни в декабре, ни в январе, ни в феврале. Ленин узнает об этом лишь в марте. И тотчас же диктует приведенное выше письмо, после которого Сталин, разумеется, извинился.

О сталинском ответе Ленину, однако, уже не суждено было узнать. На следующий день, 6 марта, наступило то, что в «Датах жизни и деятельности» Владимира Ильича характеризуется, как «резкое ухудшение в состоянии здоровья Ленина». А еще через три дня новый приступ болезни лишил Владимира Ильича речи. С 10 марта 1923 года величайший мыслитель эпохи при совершенно ясном сознании уже физически «ничего не мог сказать, но в состоянии был все понять». Так вспоминает один из лечащих Владимира Ильича крупнейших специалистов того времени...

☆

Мы коснулись лишь сотовой части впервые опубликованных за последние годы ленинских писем.

О новых ленинских публикациях можно написать сотни страниц, и все равно не исчерпать богатства их содержания.

Наступит время, и придут великие художники, которые посвятят Ленину и партии книги, не уступающие по художественному совершенству эпопее о войне и мире. Пока же все то, что рассказывает о Ленине история своим скупым и точным языком фактов и документов, значительнее, а порой и увлекательнее иных беллетристических домьслов.

Да, Ленин совсем не «прост», как не проста и правда. Он сложен и многогранен, как жизнь, борьба, революция, эпоха...



Невыдуманные рассказы



Рисунки Б. Свешникова.



1.

ДЕБЮТ

Ему было двадцать лет, он писал рассказы и предлагал их «Огоньку». Ему возвращали рукописи, но проходила неделя-другая — и он снова с упорством маньяка появлялся в редакции.

Так продолжалось около года. Так, вероятно, продолжалось бы и дальше, если бы однажды отчим молодого автора не прочитал его рассказы и не нашел их вполне пригодными для печати.

Тогда он взял один из последних рассказов пасынка, решительно поставил под ним свою фамилию и отправился в «Огонек».

Отчим был писатель и имел прочное литературное имя.

Редактор прочитал рассказ и тут же послал его в набор.

Когда несколько дней спустя отчим пришел в редакцию, чтобы прочесть гранки, он сказал редактору:

— А знаете, Иван Васильевич, автор этого рассказа не я...

— Кто же? — изумился редактор.

— Мой пасынок.

— Но кто он, кто?

Отчим назвал фамилию.

Редактор сделал кислую мину, но, почувствовав, что пути к отступлению отрезаны, рассказ напечатал.

Когда вышел «Огонек», автора видели то у одного киоска, то у другого, затем у третьего. Был сырой, холодный мартовский день, и лужи серой снежной каши покрывали улицы. Но дебютант не замечал непогоды. Для него светило солнце и пели птицы. Он скупал все номера «Огонька». Он боялся, что

ему не хватит экземпляров, чтобы подарить родным, знакомым, товарищам...

Рассказ назывался «Двойная ошибка».

Это было двадцать пять лет назад.

И молодой этот писатель был Юрий Нагибин.

2.

ДУЭЛЬ

В Кремлевском Дворце съездов шла опера Верди «Дон Карлос».

Я, может быть, и не пошел бы на спектакль (никак не могу принять театра, где опера передается по радио и где, по меткому выражению Н. С. Лескова, «машины сравнивали неравенство талантов и дарований»), если бы на афише не стояла фамилия Николая Гяурова, исполнявшего партию короля Филиппа: не так уж часто можно послушать лучший бас мира!

Антракт между вторым и третьим действиями я провел в артистической комнате Гяурова, беседовал с ним и фотографировал его.

В комнату вошел Алексей Гелев — исполнитель партии великого инквизитора.

Гяуров, поправляя грим, обратился к нему: — Вы уж, Алексей Павлович, пожалуйста, не давайте в дуэте слишком много звука, а то вы меня своим голосом совсем задавите!

— Ну, что ты, Коля! — понимающе воскликнул Гелев. — Как можно?!

И дуэт прошел блестяще.

Этот случай я недавно рассказал профессору Игорю Федоровичу Бэлзе.

— А у меня есть похожий случай, — сказал профессор. — Несколько лет назад я редактировал



книгу воспоминаний о Василии Родионовиче Петрове — знаменитом в свое время солисте Большого театра — и на правах редактора сборника изучал его архив. В записях Василия Родионовича я прочел забавный эпизод.

Много лет назад в Большом театре шел тоже «Дон Карлос», партию Филиппа пел Шаляпин, великого инквизитора — Петроз.

Надо сказать, что Петров преклонялся перед гением Шаляпина, а Шаляпин, в свою очередь, высоко ценил голос и талант Петрова.

Перед началом того же самого третьего действия Петров сказал Шаляпину:

— А ведь я тебя сегодня перепою, Федя!

— Нет, Вася, не перепоешь! — ответил Шаляпин.

— Перепою!

— Нет, не перепоешь!

Начался акт.

Петров, обладавший могучим голосом, завершил фразу громоподобным fortissimo, которое заглушило оркестр и заполнило весь театр — от партера до галерки.

В какие-то доли секунды Шаляпин понял, что такое fortissimo перекрыть уже нельзя. И на слова великого инквизитора король Филипп неожиданно ответил шепотом. Он прошептал свою реплику в абсолютной тишине, и от этих слов, гениально произнесенных Шаляпиным, в зале буквально повеяло зловещим холодом.

Успех был полный, и овация продолжалась несколько минут.

Когда закрылся занавес, Шаляпин шутовски сказал Петрову:

— Вот и все! А ты орешь!..

3.

ТОСТ

В 1908 году в Одессе гастролировала итальянская оперная труппа Каstellано. Давали «Севильского цирюльника». Баритон Парвис, исполнявший партию Фигаро, в знаменитой каватине вдруг захрипел и, как говорят певцы, дал «петуха». Экспансивные одесские меломаны, оскорбленные в своих лучших чувствах, стали свистать, шикать, кричать. Баритон метался по сцене, жестами показывая на горло. Но публика не унималась. В этот момент один из зрителей, сидевший во втором ряду партера, быстро встал, повернулся к публике, протер руки и начал что-то говорить. Веснушчатое лицо его было багровым от негодования.

Он несколько раз повторил какие-то гневные слова, потрясая в воздухе кулаком, и тогда огромный зрительный зал замер, и в наступившей тишине отчетливо слышалась его медленная, заикающаяся речь:

— О-ослы, п-перестаньте кри-чать!.. Вы же в-видите, что ч-человек б-болел!..

В ответ грянули аплодисменты, и опера продолжалась.

После спектакля итальянские



артисты ужинали в ресторане «Додди». Здесь же, в компании друзей, ужинал и тот человек, который два часа назад погасил скандал в театре, вступившись за большого актера.

Неожиданно к столу, за которым он сидел, подошла с бокалом вина примадонна труппы Бьянкини-Капелли.

— Сеньор, — подняв бокал, сказала она своим прелестным грудным сопрано, сказала нарочито громко, чтобы слышали все, — сеньор, я благодарю вас от имени моих товарищей... Позвольте мне выпить этот бокал за вас — истинного друга искусства... Миллеграции, сеньоре!..

И она поцеловала его в обе щеки.

Примадонне, конечно, и в голову не могло прийти, что перед ней, покраснев от смущения, стоял кумир Одессы, летчик, спортсмен, человек легендарной храбрости Сергей Уточкин!..

4.

НЕВОЗВРАЩЕННЫЙ ДОЛГ

Когда Маяковский написал «Баню», ему захотелось узнать мнение рабочей аудитории о своей пьесе. Вместе с Мейерхольдом он побывал в нескольких московских клубах, читал пьесу, беседовал со слушателями.

...Сергей Васильев — студент Центрального дома искусств имени Поленова — стоял у афишной тумбы и читал только что наклеенную афишу. Она извещала, что в клубе «КОР» (ныне Центральный дом культуры железнодорожников) Маяковский будет читать новую пьесу — «Баня».

Велик был соблазн впервые увидеть и услышать Маяковского, и Васильев на последние оставшиеся от стипендии деньги купил билет, — кто думает о деньгах в семнадцать лет?

К удивлению Васильева, большой зал клуба оказался почти пустым: были заняты лишь два первых ряда.

Но Маяковский читал так же блистательно и вдохновенно, точно зал ломился от публики, — черта, присущая только большим художникам.

В перерыве Васильев вышел в буфет.

Маяковский курил, прихлебывая горячий крепкий чай.

Васильев сел за соседний столик и неотрывно смотрел на поэта.

Юноша не надеялся, что ему удастся поговорить с ним и в тайниках души мечтал хотя бы дотронуться до него.

Маяковский, уловив на себе взгляд незнакомца, спросил его в упор:

— Ну как, нравится?

— Нравится, — ответил Васильев.

— Понимаете что-нибудь?

— Все понимаю.

— Откуда вы?

— Из Сибири... Учусь в поленовском доме искусств.

— И, конечно, пишете стихи?

— Пишу, — подтвердил юноша.

— На что же вы живете?

— Получаю стипендию.

— И большую?

— Четырнадцать рублей.

Маяковский задумался.

— Как же вы отважились истратить пять рублей на билет? — воскликнул он.

Васильев промолчал.

— Скажите честно: деньги остались у вас?.. На что вы будете жить?

Васильев признался, что у него не осталось ни копейки.

Тогда Маяковский вдруг полез в карман, вынул пятерку и, предлагая ее собеседнику, сказал:

— Вот вам пять рублей!.. Возьмите! А когда будете знаменитым — вернете!..

Васильев стал отказываться.

— Попробуйте не взять! — строго сказал Маяковский, поднялся и пошел на сцену...

— Я мечтал вернуть Маяковскому его пятерку, — рассказывал мне поэт Сергей Васильев, — но не решался это сделать. Когда в тридцатом году я работал на первой ситценабивной фабрике, я уже было совсем собрался с силами, чтобы пойти к Маяковскому и воздать ему долг, но прочел в газетах, что он застрелился...



вестью, но вдруг почувствовал, что еще плохо знаю панфиловцев, что «материала», как мы, литераторы, говорим, явно не хватает.

Съездил в дивизию еще раз.

— Написали? — спросили меня.

— Нет, товарищи, не написал, — ответил я, смущаясь. — Надо еще пожить с вами, посмотреть, поговорить...

Но и второго раза мне оказалось недостаточно. Пришлось приехать в третий раз, а затем — в четвертый. И по-прежнему без рукописи. В конце концов был дан приказ: «Больше не пускать этого корреспондента, который ничего не пишет».

Наконец летом 1942 года я засел за повесть. Получил для этого отпуск из редакции журнала «Знамя», где состоял военным корреспондентом, снял комнату на станции Быково, почти безвыездно сидел там и писал. Бывали, конечно, минуты сомнений, мне казалось, что я все-таки выгляжу «птенчиком».

Однажды мне потребовалось поехать в Москву. На даче никого не оставалось. Я боялся пожара или какой-нибудь другой случайности, которая могла бы вдруг уничтожить мои дневники, заметки, черновики и почти законченную рукопись. Аккуратно сложил все материалы, сунул их в вещевой мешок, надел его на плечи: так будет целее!

В Москве заглянул домой. Жена, провожая меня на дачу, дала с собой бидон с супом и строго предупредила:

— О, я знаю тебя!.. Ты задумаешься и обязательно оставишь бидон в вагоне...

Я дал честное слово, что не оставлю.

И вот в дачном поезде я еду в Быково. Положил рядом с собой вещевой мешок, а в ноги поставил бидон. И действительно крепко задумался. Все думал и не мог решить, как построить действие в последних главах повести. И вдруг прямо над головой услышал голос проводника:

— Быково!..

Поезд уже останавливался. Я вспомнил, что должен что-то не позабыть... Ах, да, бидон! Схватив его, выскочил на платформу. Поезд тронулся. И только тогда взметнулась мысль: «Мешок!» Он остался в вагоне. Все: записки, материалы, черновики и почти готовую рукопись книги — уносил поезд.

Я бросился к начальнику станции, он позвонил на соседнюю, на конечный пункт. Но мешок исчез. Не обнаружил я его и в бюро находок.

Что делать? Не буду описывать авторских переживаний: все ясно и так. Редакция наседала, требуя повесть. Время от времени напоминали о себе и представители дивизии. А я был банкротом...

Мне ничего не оставалось, как писать повесть заново. Но теперь она потеряла сугубо документальный характер: ведь у меня уже не было моего архива. Пришлось дать волю воображению, фигура центрального героя, сохранившего свою подлинную фамилию, все более приобретала характер художественного образа, правда факта подчас уступала место правде искусства.

Так и родилось мое «Волоколамское шоссе».

Возможно, случайность, унесшая готовую рукопись строго документальной повести, заставила меня написать совсем иное, более художественно обобщенное произведение, но другого выхода у меня попросту не было.

— А какой же вариант был лучше? — спросил я Бека.

— Трудно сказать, — ответил он раздумчиво. — Вероятно, тот, который напечатан...

5.

ПРОПАВШАЯ РУКОПИСЬ

Представляете ли вы себе, что значит для писателя пропавшая готовая рукопись, не имеющей копии? — воскликнул Александр Бек. — Я несколько не преувеличу, если скажу, что для литератора это — страшное несчастье. Это потеря детища. Между тем я пережил однажды такое горе...

— О какой рукописи идет речь? — спросил я писателя.

— О моей повести «Волоколамское шоссе».



— Впервые я побывал в панфиловской дивизии в январе — феврале 1942 года. Когда мне показалось, что я уже владею материалами будущей повести и как будто неплохо изучил жизнь дивизии, я решил ехать в Москву. Комиссар Талгарского полка Петр Васильевич Логвиненко — кубанец со светлым чубом и светлыми серыми глазами — полусерьезно-полусерьезно напутствовал меня:

— Вы побывали в орлином гнезде... Смотрите же, не окажитесь глупым птенчиком!..

Я не сразу понял смысл этих слов, хотя много думал о них. Впоследствии я догадался, что имел в виду комиссар: повесть, которую я собирался написать, должна быть достойна панфиловцев, их боевых традиций, их героического духа...

Прошел месяц. Я напряженно работал над по-

Николай
Чуковский

В ОСАДЕ



Из воспоминаний

МОЛОДОЙ ВИШНЕВСКИЙ

В самом начале тридцатых годов зимним вечером в Ленинграде, в помещении писательской столовой на Невском, никому не известный моряк прочитал нескольким случайно собравшимся слушателям свою пьесу. Я не присутствовал на этом чтении, но, когда на другой день я пришел пообедать, все завсегдашней столовой только и говорили что об этом моряке и его пьесе. Редко мне случалось видеть таких пораженных и взволнованных людей.

— Что за пьеса? — спросил я.

— Удивительный! Настоящий братишка. Слово пришел из девятнадцатого года.

— А что за пьеса?

— Какая пьеса! — повторяли кругом. — И как он читал, как читал! Слушаешь — и словно видишь все своими глазами! На стуле усидеть невозможно! А когда он читал сцену боя, он выхватывал наган из кобуры и стрелял в потолок!

— По-настоящему стрелял?

— Еще бы! Конечно, по-настоящему!

Но я был скептик. Я посмотрел на потолок и спросил:

— Где же следы пуль?

Следов пуль на потолке не было.

— Но как же так? Ведь он стрелял? — повторяли кругом в недоумении.

Я тоже пришел в недоумение, когда вдруг выяснилось, что я уже довольно давно знаю этого моряка.

В самом конце двадцатых годов я писал книжку о русском мореплавателе Крузенштерне и, знакомясь с материалом, заходил иногда в библиотеку, помещавшуюся в здании Адмиралтейства. Там я как-то разговорился с плотным, небольшим человеком, очень круглолицым, в морской форме. Он показался мне скромным и застенчивым. У него был негромкий, глуховатый голос; слова он выговаривал по-петербургски, интеллигентски, и мне подумалось,

что он, вероятно, из бывших морских офицеров, теперь скромно служащий в Красном Балтийском флоте на какой-нибудь маленькой должности по культурной части — в клубе или, может быть, в этой же библиотеке. Даже имя-отчество его — Всеволод Витальевич — звучало по-петербургски, по-дворянски. И уж, во всяком случае, в нем не было ничего от матроса-братишки девятнадцатого года. Как мог этот, очень тихий, очень скромный, казавшийся мне робким человек стрелять в общественном месте в потолок или, даже не стреляя, заставить поверить, что он стреляет? Здесь концы не сходились с концами, все двоилось, не получалось единого образа...

Так он двоился в моем сознании много лет, до конца тридцатых годов.

В тридцатые годы видел я его мало, а слышал о нем много, и то, что я видел и слышал, никак не удавалось совместить. Я знал, что он стал одним из крупнейших деятелей РАППа, и притом самым «левым» из них, самым непримиримым, постоянно упрекавшим рапповское руководство в примиренчестве, оппортунизме и соглашательстве. Я знал, что он создатель и руководитель ЛОКАФа — шумного объединения молодых писателей Армии и Флота. Я читал его пьесы о матросах и конниках революции, написанные как бы ими самими. Я читал его бешеные выступления, но я не видел его выступающим, я не видел его ни в РАППе, ни в ЛОКАФе. А там, где я изредка встречал его, он был совсем другим.

В тридцатые годы я виделся с ним мало: он жил в Москве, я — в Ленинграде. И мы встретились по-настоящему уже в Кронштадте — во время финской войны, в декабре 1939 года.

ВИШНЕВСКИЙ В КРОНШТАДТЕ

Мороз был бешеный, я окоченел в своей шинели, трясаясь в кузове грузовика, который вез меня из Петергофа в Кронштадт. Но в Политуправлении Балтийского флота — Пубалте — было блаженно тепло, и я с наслаждением отогревался в коридоре, не торопясь искать того начальника, к которому был вызван, как вдруг заметил проходившего мимо Вишневого. Он опять был в морской форме, с нашивками полкового комиссара на рукавах, и я, который тоже был теперь в морской фор-

ме, но нашивки носил куда более скромные, впервые за время уже десятилетнего нашего знакомства отчетливо ощутил разделявшую нас дистанцию. Я приветствовал его, как положено по уставу, назвал его товарищем полковым комиссаром, а не Всеволодом Витальевичем и почувствовал, что доставил ему этим удовольствие. За минувшее десятилетие он, что называется, «вошел в возраст», короткое туловище его стало шире, лицо еще круглее; небольшой, плотный, он нес свое полнеющее тело с легкостью сильного, уверенного в себе человека.

Он задал мне несколько вопросов о моей службе, и я понял, что ему приятно, что я на флоте. Он любил военный флот сердечной, очень личной любовью, и всякий человек в морской форме уже тем самым становился ему милее; впоследствии я замечал это много раз. Оказалось, он живет тут же, в Пубалте; он предложил мне зайти к нему.

Жил он вместе с поэтом Василием Ивановичем Лебедевым-Кумачом, автором текста известной песни «Широка страна моя родная».

Оба они, едва началась война, были мобилизованы и направлены в Кронштадт. Звание у Василия Ивановича было еще выше, чем у Вишневого, — бригадный комиссар. Но, несмотря на форму, на высокое звание, ровно ничего морского или военного не было в этом толстом, рыхлом, старообразном человеке с помятым, очень добрым лицом. Рядом с Вишневым, который в каждом своем движении был военный комиссар и моряк, он казался безнадежно штатским.

В зимней войне 1939—1940 года было много для нас тогда неясного, сомнительного. И Вишневым, едва мы переступили порог, стал торопливыми, короткими фразами объяснять мне мировую ситуацию. Я подивился, как не раз дивился и потом, отчетливости его политического мышления. Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты, Швеция... Роль каждой из этих держав в нашей войне с Финляндией была очерчена им с пронзительной точностью. Он знал все прошлые войны, которые когда-то — в восемнадцатом веке и в начале девятнадцатого — Россия вела на территории Финляндии. Впоследствии я не раз вспоминал сказанные им в тот день слова, что вот эта малая война — только попытка мировых держав, оставшихся в стороне, почувствовать наши силы. Слушая его, я впервые до

конца понял, что дело этим не ограничится, что большая война близка и неизбежна. Он был прав — и Гитлер и Англия прощупывали наши силы. И хотя мы победили Финляндию, и гитлеровцы и англичане пришли к выводу, что силы наши незначительны. И вывод этот был ошибочен...

Мне нужно было ехать на аэродром, и Вишневым вышел проводить меня до машины — на мороз. Зимних шапок нам еще не выдали, мы оба были в фуражках; та финская война внезапно обнаружилась, до чего слабо было поставлено у нас дело снабжения войск. Короткий зимний день уже потух, над Кронштадтом висела ночь, но небо было ослепительно озарено прожекторами. Их прямые мечи сплетались над нами в сплошной шатер, пылали голубым спиртовым пламенем. Уши у нас сразу замерзли, но Вишневым шагал твердо, по-военному, и снежок бодро скрипел у него под ботинками.

Какой-то краснофлотец налетел на нас в темноте. Вишневым строго остановил его и поставил по стойке «смирно».

— Извините, — пробормотал краснофлотец.

— Надо сказать: извините, товарищ полковой комиссар! — поправил его Вишневым.

— Извините, товарищ полковой комиссар... Я не видел...

— Ступайте!

Он был теперь весь, до кончиков пальцев, полковым комиссаром. И я подумал, что он не случайно драматург, что театр у него в крови. Именно драматург, а не актер, — в его преобразованиях не было ничего актерского, он не менял ни внешности, ни голоса, а просто создавал вокруг себя дружную пьесу и начинал жить по ее законам.

В сущности, вся судьба его, вся жизнь несла на себе печать театральности. Четырнадцатилетним мальчиком, за три года до революции, сбежал он на фронт и за мужество в боях дважды был награжден георгиевским крестом. Чуть ли не с первых дней революции он — красногвардеец в Петрограде. Стички, битвы, толпы, митинги, знамена, яростные речи, пулеметные ленты, ленты бескозырок. Потом беспримерный волжский поход революционного Балтийского флота в Каспийское море — через всю Россию с боями. Вишневым — матрос легендарного корабля «Ваня-коммунист». Потом он боец прославленной Первой Конной — кони, степи, бронепоезда. Он был дважды ранен и

дважды остался в строю. Через несколько лет после гражданской войны — литературные бои, такие же темпераментные, неистовые. Он — на самом левом фланге РАППа, «призыв ударников в литературу», речи в заводских цехах, воинские части, корабли, киноателье, командармы, актеры, литкружковцы, комиссары, наркомы, режиссеры. Он трибун первого съезда писателей. Потом испанская война — Мадрид, Барселона, Гвадалахара... Как это все поэтически броско, эффектно, что несколько, разумеется, не исключает правдивости, искренности, потому что подлинная театральность, как всякое подлинное искусство, не исключает, а как раз предполагает правду и искренность.

ВИШНЕВСКИЙ В ТАЛЛИНЕ

Именно уверенность в его убежденности и искренности заставила меня в июле 1941 года в почти уже осажденном Таллине положить немало сил, чтобы разыскать его и встретиться с ним...

В июле 1941 года я пешком пришел в Таллин вместе с группой уцелевших политработников 10-й бомбардировочной авиабригады КБФ, полностью разгромленной и уничтоженной за первую неделю войны. В несколько дней бригада потеряла все свои бомбардировщики и всех своих летчиков. Мы, уцелевшие наземные работники бригады, прибрели в Таллин нестройной кучкой, зная, что немцы идут за нами по пятам. Нас поместили на аэродроме, где мы сидели, ничего не делая и не получая никаких приказаний. Все обращения к более или менее близкому начальству ни к чему не приводили, так как оно ничего не знало и находилось в состоянии полной растерянности. А между тем немцы продолжали идти вперед и обтекали Таллин с трех сторон. В газете я прочитал статью Вишневого и понял, что он в Таллине. И вдруг почувствовал, что он единственный человек, который в этом положении может сказать мне, как поступать.

Я пошел к штабу флота, в центр города, неясно представляя себе, где искать Вишневого. И вдруг увидел его. Он прохаживался по бульвару перед зданием штаба с человеком в морской форме, которого я сразу узнал. Это был писатель Н. Я подошел к ним и поздоровался.

По их раздраженным лицам я увидел, что разговор между ними идет неприятный и недобрый. Вишневский посмотрел на меня хмуро, а Н. даже свирепо; я решил, что я им мешаю, и хотел отойти. Но Вишневский удержал меня движением руки, и мы стали прохаживаться втроем вдоль лип и каштанов.

Писателю Н. явно не нравилось мое присутствие, но он вынужден был продолжать разговор при мне. Мало-помалу я стал понимать, в чем дело. Н. получил вызов из Главного политуправления Флота и уезжал в Москву.

— Ты сам устроил себе вызов! — сказал Вишневский.

Н. ни подтверждал, ни отрицал этого. По лицу его я видел, что он все равно сегодня же уедет, что бы ни думал о нем Вишневский. Мне было понятно его состояние: я встречал много людей, которые поминутно повторяли, что Таллин попадет в окружение. В тот начальный период войны слово «окружение» наводило еще мистический ужас. Только опыт научил не бояться этого слова.

Круглое, пухлое лицо Вишневого было бледно от ненависти. Они попрощались еле-еле. Когда Н., необыкновенно важный и надменный, отошел, Вишневский, все еще с тем же ненавидящим лицом, повернулся ко мне.

— Вы тоже собираетесь уезжать? — спросил он.

Этот вопрос поставил меня в тупик, потому что мне не приходило в голову, что я могу «собирается» или не «собирается». Я сказал ему, что торчу без всякого дела на аэродроме, потому что бригада, к которой я причислен, больше не существует, и хочу знать, что происходит, и хочу что-нибудь делать.

Он внимательно и недоверчиво посмотрел на меня. Глаза у него были по-прежнему злые; рассердившись, он успокаивался медленно.

— Мы деремся, — сказал он, — и мы их остановим!

Короткими, торопливыми фразами рассказывал он мне, как дерутся краснофлотцы на острове Эзель, на Ханко. Он собирал разрозненные факты нашего сопротивления по крупицам, в твердом убеждении, что все это только начало, что все это сольется вместе и превратится в несокрушимую стену. Говорил он запальчиво и полемично, — он все еще спорил с Н. и со всеми теми, кто, видя творящееся вокруг, решил, что дело



Всеволод Вишневский.

наше плохо и что от немцев надо только уходить. Я, наслушавшись за последние дни столько отчаянного и безнадежного, внимательно его слушал, и он, поглядывая на меня быстрыми маленькими глазками, добродетельно светлел.

— Пишите, — сказал он мне, — пишите как можно больше. Пишите всюду, где можете, в больших газетах, в маленьких, в листовках. Пишите о малом и о большом, о частном и общем — обо всем, что укрепляет надежду. Мы очень, очень сильны, за нас история, за нас народная правда. Пишите!

Сам он писал в эти дни чрезвычайно много. Во флотских и общих газетах каждый день появлялись его статьи, написанные с неистовым темпераментом. Читали их жадно. В его статьях жила уверенность в том, чего тогда жаждало каждое сердце — что мы выйдем из хаоса, победим.

Бессмысленное сидение группы политработников на аэродроме возмутило его, и он повел меня к довольно высокому начальству. Начальство объяснило мне, что 10-я бригада вот-вот будет расформирована и все мы получим новые назначения. Я вернулся на аэродром ободренным. Но все произошло не так скоро и не так просто. Новое назначение я получил только спустя несколько недель, уже в Кронштадте, когда вместе с остатками нашей бригады вышел из таллинского кольца в район Ора-

ниенбаума. Мы прокрались из Таллина по суше; Вишневский ушел по морю вместе с флотом.

Переход нашего Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года — одно из самых героических и трагических событий войны. Моряки уходили на военных кораблях, гражданское население — на транспортах. Множество эстонцев уплывало на этой армаде с женами и детьми. Советская власть установилась в Эстонии всего год назад, там кипела ожесточенная классовая борьба, и все эстонцы, участвовавшие в этой борьбе на стороне революции и Советской власти, знали, что с приходом немцев им и их семьям грозит кровавая расправа. Корабли были переполнены, на палубах стояли, не было места, чтобы сесть. Пока грузили людей на корабли, немцы, прорвав нашу оборону, заняли всю верхнюю часть Таллина. Наша истребительная авиация, потерявшая аэродромы, действовала с узкой косы, вдававшейся в море. Краснофлотцы, контратакуя наседающих немцев, до последней минуты удерживали порт. Одной из этих контратак командовал Орест Цехновицер, в то время полковой комиссар, а еще месяц назад — ленинградский литератор, литературовед, книжный человек изысканных вкусов, исследователь творчества Одоевского, Достоевского и Федора Сологуба. Он поднял залегших краснофлотцев, повел их вперед — и был убит.

В этом страшном переходе кораблей, кроме Вишневого, участвовало много моих знакомых писателей. Немцы начали бомбить корабли еще на таллинском рейде и потом непрерывно бомбили в течение всего перехода. Множество судов, самых разных, больших и малых, с разной скоростью хода, шли по открытой равнине моря. На море спрятаться невозможно, а прикрытия не было, — наши истребители, обладавшие малой дальностью полета и потерявшие все свои береговые аэродромы, не могли их охранять. Зенитный огонь в те времена был не очень эффективен; немецкие бомбардировщики пикировали на медленно ползущие корабли и бомбили, почти не рискуя. Они шли по небу волна за волной, сбрасывали бомбы и возвращались за новыми. Транспорты горели и тонули. Уцелевшие корабли останавливались, спасая тонущих, и сами гибли.

Во время этого страшного перехода утонул мой приятель, поэт Юрий Инге, сброшенный взры-

ной волной с палубы в воду. Поэт Николай Браун, оказавшись в воде, проплавал больше двух часов; корабль, который его наконец подобрал, скоро сам был потоплен, и Браун опять оказался в воде; через несколько часов его снова подобрали и привезли в Кронштадт.

К счастью, Вишневский добрался до Кронштадта благополучно.

ЕРЕМЕЙ ЛАГАНСКИЙ

Вспоминая о нашем уходе из Таллина, я не могу не рассказать о Лаганском, моем спутнике. Еремей Миронович Лаганский был ленинградский литератор — журналист, очеркист, судебный репортер. Свою журналистскую деятельность Лаганский начал еще до революции. У него в жизни была заслуга, которой он очень гордился, — будучи репортером одной газеты, он в предреволюционные недели обнаружил, что императрица Александра Федоровна тайно похоронила убитого Распутина в парке Александровского дворца в Царском селе, перед своими окнами. Газета намекнула на это, и получилась сенсация, дня на три взволновавшая всю страну. Но с тех пор прошло двадцать четыре года, за которые Лаганскому не удалось создать даже самой маленькой сенсации.

Я встретил его в Таллине летом 1941 года и, помню, с первого взгляда был поражен происшедшей с ним переменой. Я знал его суетливым пожилым человеком в пенсне, которого даже невозможно было вообразить себе в военной форме. А тут вдруг оказалось, что военно-морской синий китель сидит на нем превосходно, и очень ему идет, и что человек он вовсе не суетливый, а, напротив, спокойно-медлительный, и что профиль у него какой-то торжественный, как у адмиралов на старинных гравюрах. В те дни немцы уже обтекали Таллин с трех сторон, сужая петлю, и многим казалось, что это громадная ловушка, из которой не уйти. Впрочем, поезда на Ленинград еще ходили, но их уже обстреливали, и было ясно, что это последние поезда. Внезапно редактор маленькой военной газетки, в которой работал Лаганский, получил приказание — отправить одного из своих сотрудников в Ленинград. Ясно, что того, кого отправят, окажется вне немецкой петли. Редактор посоветовался в политотделе и решил от-

править Лаганского как старшего по возрасту: Лаганскому было уже почти пятьдесят. В редакции все считали это решение справедливым, и воспротивился ему только один — Лаганский. Он ужасно обиделся. Два дня ходил он по начальству, убеждал, доказывал — и остался в Таллине, а вместо него в Ленинград был командирован другой работник, молодой человек.

Я уходил из Таллина вместе с Лаганским. Шло нас человек пятнадцать — все наземные работники нашей уничтоженной авиабригады. Только тут я оценил Лаганского по-настоящему. Не было среди нас человека более стойкого, решительного, умелого, не поддающегося панике. Он был сообразительнее, тверже и отважнее шедших вместе с нами кадровых командиров. У него было удивительное практическое чутье: как устроить ночлег поудобнее, как раздобыть обед. Он научил нас не бояться немецких самолетов, обстреливавших те лесные дороги, по которым мы брели; сам он не обращал на них никакого внимания. Ко мне он относился заботливо и покровительственно; я с трудом поспевал за ним, хотя был лет на двенадцать моложе его и гораздо крепче. Не думаю, что мне удалось бы выйти из Эстонии, если бы моим спутником не был Лаганский.

Главной его особенностью был оптимизм. Он верил не только в конечную победу — мы эту веру не теряли и в сорок первом году, — но смотрел оптимистически на исход самых ближайших событий. Он уверял меня, что немцам никогда не удастся дойти до Ленинграда и что они вот-вот будут разбиты. В августе 1941 года немцы действительно были задержаны в Кингисеппском районе, Ленинградской области, недели на две. Во время этих двух недель Лаганский был совершенно убежден, что оптимистический его прогноз уже осуществляется. У нас обоих были в Ленинграде семьи. Однако моя жена с двумя детьми уже в первой половине июля выехала из Ленинграда на восток. Лаганский, зная об этом от меня, чрезвычайно не одобрил ее поступка. Он вообще не одобрял массовой эвакуации ленинградцев, начавшейся летом 1941 года. Своей жене и дочери он запретил уезжать куда бы то ни было. Он, разумеется, не предвидел осады города и не допускал даже такой возможности, и эвакуация казалась ему проявлением паники и малодушия.

К сожалению, он оказался не-

прав: ленинградцы, уехавшие из города в летние месяцы сорок первого года, до того, как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо, и себя спасли и оказали услугу осажденным, уменьшив количество ртов. Беда заключалась как раз в том, что до конца августа, когда началась осада, успели уехать слишком немногие. Лаганский, оставив в городе жену и дочь, был неправ и заплатил за свою ошибку жизнью.

Голод в осажденном Ленинграде начался с октября. Жена и дочь Лаганского по-прежнему жили в Ленинграде на улице Жуковского в своей просторной, хорошо обставленной, но неотапливаемой квартире. Карточки у них были издивенческие, по которым не выдавали почти ничего. Лаганский жил в редакции военной газетки на Васильевском острове и питался вместе со мной в военной столовой; он получал триста граммов хлеба в день, две тарелки супа, одну столовую ложку каши, один кусочек пиленого сахара. В сравнении с тем, что получала его семья, это было колоссально. Но он не ел ни хлеба, ни супа, ни каши, ни сахара. Он завел целую систему портативных судочков и складывал в них все, что ему выдавалось; в свободные от работы часы он шел к себе на квартиру и отдавал судочки жене. Он уверял жену и дочь, что совершенно сыт, и с наслаждением смотрел, как они съедают его паек. Разумеется, он отлично знал, чем все это для него кончится. В марте 1942 года он умер голодной смертью. Удивительно, что он так долго протянул.

Жена его, Тамара Григорьевна, узнала о его молчаливом подвиге только после его смерти. Он пожертвовал жизнью ради нее, но, к сожалению, спасти ее ему не удалось. Она пережила его только на год. В 1943 году, уже после прорыва блокады, когда продовольственное положение города значительно улучшилось, она погибла от артиллерийского снаряда, влетевшего в окно ее комнаты. Случилось это вечером, дочь ее ушла в кино, и она сидела в комнате одна. Снаряд, взорвавшись, разрушил потолок и простенки, и труп ее, разорванный на несколько частей, нашли в куче штукатурки, кирпичей, досок. Союз писателей из уважения к памяти Лаганского организовал похороны. В гроб положили исковерканные куски разорванного тела. Дочь, вернувшись с похорон и занявшись уборкой квартиры, нашла не замеченную ранее голень матери.



Ленинград в дни блокады.

Фото Б. Кудоярова.

ГОЛОД

О голоде во время осады Ленинграда много написано; писал о нем и я. И все-таки кое-что осталось рассказанным не до конца.

Голод вовсе не резкое страдание, как многие думают. Если человек съедает один ломтик хлеба в день и больше ничего, самые сильные муки голода он будет испытывать через сутки после начала такого режима; дальше эти муки не только не возрастут, а притупятся. Дальше человек испытывает как бы постоянно тянущую пустоту внутри себя, как бы особого рода тоску, которую нельзя ни заглушить, ни забыть. Дальше уже возрастает не голод, а потеря сил. Силы уходят быстро, очень заметно: все то, что ты мог преодолеть вчера, сегодня уже непреодолимо. Человек оказывается окруженным неподатливыми вещами: стульями, которые нельзя ни поднять, ни подвинуть, лестницами, на которые невозможно взобраться, дровами, которые невозможно расколоть, одеждой, которую невозможно достать из шкафа, уборной, до которой невозможно добрести. Бессилье, возрастающее с каждым днем, рождает отчаяние и страх.

Пожалуй, страх перед своим наглядно возрастающим бессилием и есть величайшая из мук, причиняемых голодом. К несчастью, голод обычно нисколько не затуманивает сознания — голодающий организм, живущий за счет собственных мышц, дольше всего бережет нервные клетки мозга. Человек,

медленно погибая от голода, отлично видит и сознает все, что с ним происходит. Он с ужасом наблюдает за своим ежедневно изменяющимся телом. Юбка, когда-то узкая, теперь сваливается с бедер; груди превращаются в пустые мешочки, икры ног исчезают, весь скелет как бы вылезает наружу, — человек открывает у себя такие кости, о существовании которых он никогда прежде и не подозревал.

Впрочем, бывает иногда и по-другому — человек начинает пухнуть. Ноги распухают так, что на них не лезет никакая обувь; щеки отвисают, шея срывается с подбородком. И при этом полная беспомощность: ног невозможно поднять. Я не медик и не знаю, как на это смотрит наука, но в то время такое распухание объясняли тем, что люди пили слишком много воды; пили не из жажды, а чтобы чем-нибудь наполнить мучительную пустоту внутри.

Неправда, что человек больше всего боится своей смерти; я слишком много раз видел людей, которые боялись чужой смерти гораздо больше, чем своей. А для себя человек больше смерти боится медленного умирания, беспомощности, долгих страданий в одиночестве. Постепенное угасание от бессилия, в холоде, темноте и одиночестве — так в Ленинграде за зиму 1941—1942 года умерли сотни тысяч.

Вспоминающие об осаде всегда с восхищением пишут о том, как героически трудились голодающие ленинградцы. И все это совершенная правда. Да и как могло быть

иначе: труд был единственным спасением от одиночества, единственным средством придать существованию смысл, придать страданию цель, единственным способом принять участие в борьбе с ненавистным врагом и спасти душу от страха и отчаяния. Но мало кто понимает, что в ту страшную зиму для громадного большинства ленинградцев труд был недоступен. В городе не было угля и никакого другого топлива; немцы прервали связь с Волховской и Свирской ГЭС, и в городе не было никаких источников электрического тока. Следовательно, заводы, фабрики, трамваи стояли. Естественно, что в том производстве, преимущественно военном, которое еще кое-как продолжалось, занято было относительно очень малое число людей. Да и, кроме того, человек, который не в силах стоять на ногах, не в силах поднять руку, не может работать, как бы он этого ни хотел. И люди оставались одни в своих холодных, темных квартирах, где уже не было ни освещения, ни водопровода, ни канализации.

Морозы в тот год установились рано, с середины октября, и начали ослабевать только в апреле. Осенние бомбежки 1941 года разрушили сравнительно не так уж много домов, но выбили множество окон. Оконного стекла в осажденном городе не оказалось, и заменить выбитые окна было нечем. Люди переселялись в те комнаты и в те квартиры, где стекла уцелели. Не считаясь с родством, сидели вместе, как можно теснее, чтобы сберечь тепло. Как в девятнадцатом году, сооружали маленькие жестяные печурки, трубы которых выводили в форточки. По этим торчащим из форточек трубам можно было, взглянув на дом снаружи, определить, где еще теплится жизнь. Топили мебелью, полами, стенными перегородками, постепенно разрушая все вокруг себя. Ставили кровати вокруг печурки и, слабея, все дольше и дольше лежали на этих кроватях. Было здесь и освещение — в маленькую аптечную склянку наливали керосин или солярку, вставляли фитилек-шерстинку, и эта лампадка, как крохотная звездочка, сияла и ночью и днем. Я не оговорился, — и днем, потому что зимние дни в Ленинграде очень коротки и снимать с окон затемнение, чтобы через три часа прилаживать его снова, было для

обессиленных людей слишком трудным делом.

Так жили, так и умирали.

Массовая смертность началась уже с ноября, и умирали не только от голода. Если в человеке издавна гнездилась какая-нибудь болезнь, с которой он легко справлялся в течение многих лет, она теперь словно вырывалась на простор и убивала в несколько дней. Множество людей погибло от скоротечной чахотки. Грипп неизбежно превращался в воспаление легких, а воспаление легких неизбежно приводило к смерти. Всякого рода язвы — желудочные, кишечные — сразу же обострялись и убивали. Глотание несъедобных вещей приводило к поносам и рвотам. Отдирали от стен обои и ели присохший к ним клейстер, так как помнили, что клейстер варят из картофельной муки. Ели и бумагу, потому что бумагу ведь делают из древесины. Ели и штукатурку со стен — просто чтобы набить желудок. И начинались поносы, изнурительные, ежеминутные. Поносы были страшны еще и тем, что отнимали у человека всякое мужество, всякую надежду. Человек видел, что все то ничтожное, что ему удалось съесть, выходит из него без пользы...

В этом повальном умирании был некий порядок, зависевший от возраста и пола. Прежде стали умирать мальчики от четырнадцати до восемнадцати лет (восемнадцатилетних уже брали в армию). Молодые умирали раньше старых, мужчины — раньше женщин. Один сведущий в медицине человек объяснял мне, что мужчинам нужно больше пищи, потому что у них развитее мускулатура. Не знаю, в этом ли причина, но только хорошо помню, что в декабре и в январе умирали главным образом мужчины, а в феврале и марте стали массами умирать женщины. Вообще легко было заметить, что здоровые, сильные люди цветущего возраста гибли скорее жилистых, сухощавых старичков и старушек. По-видимому, тот минимум питания, при котором человек может жить, неодинаков для молодых и старых, для мужчин и женщин. Впрочем, все, что я видел в осажденном Ленинграде, вообще убедило меня, что женщины более стойки, чем мужчины, и физически и душевно.

Мертвых хоронили редко. В городе не было досок для гробов, не было гробовщиков, на кладбищах не было людей, способных вырыть могилу в мерзлой земле. Если после умершего оставался близкий

человек, еще достаточно крепкий, чтобы ходить и работать, то похороны совершались так: покойника, раздев, туго пеленали в простыню; превращенного в большую белую куклу, клали его на детские салазки, привязывали веревками, чтобы не упал; близкий человек — сын, дочь, мать или жена — впрягался в салазки и тащил покойника через весь город на кладбище. Подвиг этот — на морозе — требовал такой затраты сил, что совершивший его, вернувшись домой, ложился и обычно уже не вставал. Гораздо чаще с покойником поступали более просто: из теплой комнаты выносили в холодную и клали там на пол. Мало-помалу дома заселялись мертвецами. Квартир никто больше не запер — слишком трудно было бегать на стук отпирать; можно было войти в любой дом, в любую квартиру, пройти по замершим комнатам, где лежали, а иногда сидели вокруг потухших печурок мертвые.

Впрочем, нередко живые, чтобы не жить по соседству с мертвецами, просто выносили их на улицу и клали на снег на видном месте: авось, кто-нибудь похоронит. Прохожие, шагая мимо, снимали на мгновение шапки и шли дальше. Помню, однажды шел я по делу с Васильевского острова на Петроградскую сторону; по дороге туда я насчитал на улицах шесть трупов, по дороге обратно — я возвращался через Другой мост — семь.

Редакция, в которой я в то время работал и жил, помещалась на Васильевском острове, в большом доме, вход со двора. Из верхнего окна, выходящего на улицу, кто-то выбросил труп молодой женщины. Она упала на снег; странно раскинув руки, прямо перед нашей дворовой аркой, и загородила выход со двора. Мы, отправляясь из дому, осторожно обходили ее, и узенькая тропинка, протоптанная в снегу перед воротами, образовала в этом месте петлю. Так продолжалось дня четыре. Потом труп исчез. Я подумал, что его убрали краснофлотцы, работники нашей типографии. Тропинка перед воротами опять выпрямилась. Прошли месяцы, я уезжал на аэродромы, возвращался в редакцию, опять уезжал, опять возвращался. О мертвой женщине, выброшенной из окна, я давным-давно забыл. Но, выходя из редакции в теплый, солнечный день начала апреля, я внезапно снова ее увидел. Темно-коричневая сухая рука торчала из тающего снега возле самых ворот. Оказывается, ее никто не убрал,



Ольга Берггольц.

ее просто замело метелью, и мы всю зиму ходили по ней.

Ленинградский водопровод перестал работать в самые морозы, в начале января. Если не считать голода, это было наиболее страшное бедствие из всех. Были счастливые районы, например, Василеостровский, где я тогда жил; там, в нижних этажах, из некоторых кранов вода продолжала капать; у нас в доме был один такой кран, в подвале, и к нему сходились с ведрами все жильцы, которые могли ходить. Но за Невой,



Вера Кетлинская.

в центре, водопровод вдруг отказал совсем и повсюду. Воду можно было доставать только из Невы. Во льду Невы сделали несколько прорубей — одну такую прорубь пробили против Адмиралтейства, недалеко от Республиканского моста, у ступеней гранитного спуска. Никогда во всю свою жизнь не видал я ничего более страшного, чем это место. Изможденные женщины с ведрами в руках толпами спускались на лед к проруби. Вся прорубь была окружена женскими трупами, уже наполовину заметенными снегом, и, чтобы подойти к ней, приходилось шагать через мертвых. Гранитные ступени спуска обледенели от пролитой воды, и подняться по ним с полным ведром было почти невозможно. Женщины скатывались, проливали воду, опять шли к проруби, опять пытались подняться на набережную. Те, кому это не удавалось, оставались там навсегда. А по Дворцовой площади, по Невскому, по Гороховой тянулись все новые закутанные в платки тени с ведрами в руках.

Там, на Гороховой, обледеневшей от пролитой воды, я в эти страшные январские дни встретил Олю Берггольц. Я накануне вернулся в город с аэродрома и был поражен страшными изменениями, происшедшими за время моего отсутствия. Особенно тягостно было мне видеть разительные перемены, происшедшие с моими знакомыми. Я пугался, взглянув на них, и испуг отражался на моем лице и пугал их. Проученный этим, я сообразил, что мне нужно следить за своим лицом и, встретив знакомого человека, говорить ему что-нибудь подбадривающее. Вот почему, увидя на Гороховой Олю Берггольц, закутанную в платок, с почерневшим от мороза и голода лицом, я мгновенно подавив охвативший меня ужас, сказал ей:

— А вы отлично выглядите, Олечка.

Она волочила за собой пустые салазки.

— Я с кладбища, — сказала она. — Я отвезла туда мужа.

Много лет прошло с той нашей встречи, а Ольга Федоровна все не может забыть и простить мне этой моей глупой лжи, — как я ей, замученной голодом, замерзшей, только что собственными руками похоронившей мужа, сказал, что она отлично выглядит...

Во время осады и голода Ленинград жил напряженно-духовной жизнью. Даже вид его был как-то по-особенному грозно духовен.

Его здания, шпили, колонны, оторванные поземкой от земли, казались летящими по воздуху. Разбитые бомбами громадные дома громоздились кверху причудливыми арками, мостами, виадуками. Все это вместе — то за штриховкой метелей, то на дымном закате, то в мигающем блеске пожаров — представлялось грандиозным и странным видением, в реальность которого невозможно было верить. Столь же нереальны, фантастичны были люди на улицах: они брели сквозь воздух медленно и трудно, как сквозь плотную воду, и казались стаями теней. Эти странные люди-тени, существовавшие почти без пищи, поражали напряженностью своей духовной жизни.

В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков, читали поэтов; читали в землянках и дотах, читали на батареях и на вмерзших в лед кораблях, охотками брали книги у умирающих библиотекарей и в бесчисленных промерзлых квартирах, лежа, при свете коптилок, читали, читали. И очень много писали стихов. Тут повторялось то, что уже было однажды в девятнадцатом и двадцатом годах, — стихи вдруг приобрели необычайную важность, и писали их даже те, кому в обычное время никогда не приходило в голову предаваться такому занятию. По-видимому, таково уж свойство русского человека; он испытывает особую потребность в стихах во время бедствий — в разрухе, в осаде, в концлагере. Даже разговоры, которые вели между собой эти люди-тени в осажденном городе, отличались от обыденных человеческих разговоров; никогда в обыденном существовании не говорят люди столько о жизни и смерти, о родине, о любви, об истории, о совести, об искусстве, о долге, о революции, о нациях, о вечно скованном и вечно рвущемся на волю человеческом роде, сколько говорили любые два ленинградца, случайно оказавшиеся вместе.

Они отлично сознавали свое духовное превосходство, эти умирающие люди-тени, понимали величие своего подвига и были горды. Надменно презирали они врага, полагавшего, что их можно сломить голодом. Когда во вторую половину первой военной зимы благодаря Ледовой дороге появилась возможность эвакуироваться через Ладожское озеро, множество людей отказалось от этой возможности, видя в бегстве из продолжающегося боя города унижение своего достоинства, поруху своей че-

сти. В марте 1942 года в Союзе писателей я встретил старую переводчицу Анну Васильевну Ганзен. У этой женщины были очень большие литературные заслуги — в предреволюционные годы она перевела на русский язык всего Андерсена, Ибсена, Гамсуна, перевела превосходно, поэтично, и мы до сих пор издаем и читаем этих авторов в ее переводах. В тот день ее вызвали в Союз писателей, чтобы предложить ей эвакуироваться на Урал. Анна Васильевна, маленькая, высохшая старушка, похожая на щепочку, отказалась.

— Нет уж, я останусь здесь до победы! — сказала она надменно.

Выходя и увидев меня, она, усмехнувшись, тихонько прибавила:

— Я ведь действительная статская советница!

Через несколько недель она умерла.

ВИШНЕВСКИЙ В ПУБАЛТЕ

В духовной жизни осажденного Ленинграда были как бы четыре центра; вокруг четырех человек сосредоточилась она — вокруг Всеволода Вишневского, Николая Тихонова, Ольги Берггольц и Веры Кетлинской. Конечно, такое мое утверждение совершенно условно; несомненно, существовали и другие центры; да и невозможно, чтобы духовная жизнь громадного города сосредоточилась вокруг четырех человек. И все же всякий беспристрастный свидетель согласится со мной, что роль этих четырех человек в создании того удивительного гордого духа сопротивления, благодаря которому Ленинград вытерпел все муки, выстоял и победил, очень велика.

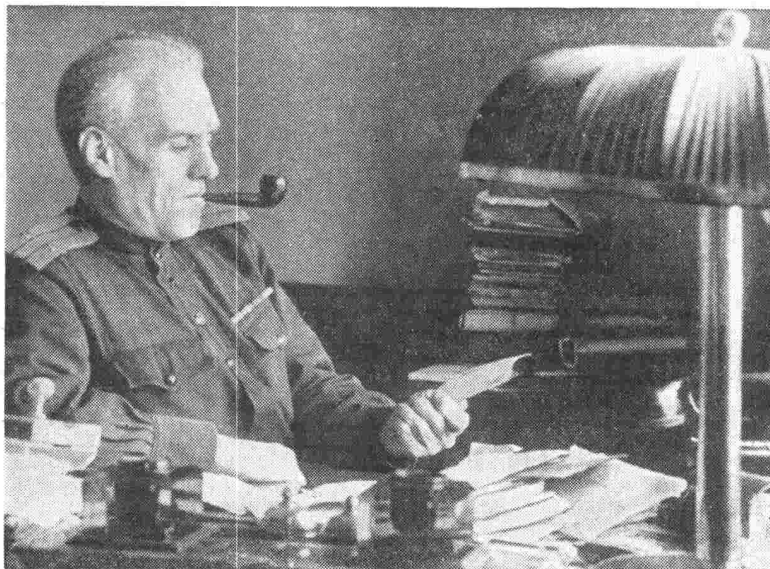
Я давно знал их всех четверых, столь разных, столь непохожих друг на друга. Всех их видел и в годы осады. Но моя собственная жизнь в те годы была изнурительно подвижной; служба в полтора года морской авиации Балтийского флота заставляла меня кочевать с аэродрома на аэродром вокруг Ленинграда; за время осады я четырнадцать раз пересек Ладожское озеро — на грузовике, на автобусе, на барже, на канонерке, на транспортном самолете, на бомбардировщике, — меня бросало то на южный берег Финского залива, за Ораниенбаум, то в Кронштадт, то на Лахту, то в Приютино, то на Новую Ладогу, то в Вологодскую область, где готовились наши запасные полки; и долгое вре-

мя я в город попадал лишь урывками — то на два дня, то на неделю. В первую половину осады только с января по апрель 1942 года удалось мне прожить более или менее оседло на Васильевском острове в редакции нашей газеты, но и оттуда я выезжал в командировки и за Финский залив и за Ладогу. Вот почему мои встречи с вдохновителями осажденных ленинградцев долгое время были эпизодичны, случайны, и я слышал их благородные голоса главным образом по радио. Проще всего мне было встречаться с Вишневым, потому что он служил в той же системе Пубалта, что и я. И всякий раз, когда мне представлялась возможность, я шел к Вишневному.

Весь первый год осады прожил он в Пубалте. Пубалт, в августе переехавший из Таллина в Кронштадт, в сентябре перебрался из Кронштадта в Ленинград, в большое здание на Васильевском острове. Но и там Пубалт пробыл всего несколько месяцев — Васильевский остров был легко достигим для немецкой артиллерии, находился под постоянным обстрелом, и в большом пубалтовском доме то и дело вылетали стекла, которые нечем было заменить. И Пубалт переехал на одну из самых дальних улиц Петроградской стороны, куда немецкие снаряды долетали реже. Вишневы переехали вместе с Пубалтом.

В Пубалте — и на Васильевском острове и на Петроградской стороне — Вишневы занимали отдельную комнату, где жил с женой художницей Софьей Касьяновной Вишневецкой. Она прилетела к нему в осажденный Ленинград, была причислена к Пубалту, надела морскую форму без знаков различия, писала маслом и акварелью кронштадтские форты и вмерзшие в лед корабли и была всем нам, литераторам-балтийцам, хорошим товарищем. По-видимому, жизнь в учреждении, в служебном кабинете мужа, была для нее не легка; и, вероятно, по ее настоянию осенью 1942 года они оба переехали в маленький деревянный домик на Петроградской стороне, неподалеку от Пубалта. Домик этот принадлежал вдове одного ленинградского художника, стоял в садике за забором и напоминал скорее дачку, чем городское жилье. В этом домике Вишневы жили по-семейному до конца осады.

Я навещал Вишневого и на Васильевском острове, и в Пубалте на Петроградской стороне, и в этом домике. Я всегда шел к нему с напряженным любопытством,



Николай Тихонов.

Фото Ал. Лесса.

предвкушая то новое, еще неизвестное, что предстоит мне сейчас услышать. Дело было не в том, что он располагал большей информацией, чем я; конечно, он иногда читал документы и сводки, к которым я не имел доступа, но, в общем, сведения его основывались на тех же газетах и радиосообщениях, что и мои; я благодаря своим постоянным разъездам порой даже лучше его знал, что действительно творится на разных участках Ленинградского фронта. Дело было в особом свойстве его мышления — в умении обобщать события, находить их общий смысл.

Он мыслил исторически, громадными величинами, и история, в том числе и та, что совершалась у нас перед глазами, для него, прирожденного драматурга, всегда была драмой. Он видел ее, как драму, — насыщенной борьбой, страстями, пламенем чувств. Я заходил, и после воинских приветствий, очень официальных — я был младше его по званию и никаких фамильярностей себе не разрешал, — он суховатым, торопливым голосом разворачивал передо мной эту драму.

Все бытовое, частное, личное почти не занимало его. Шелуха быта, заслоняющая от большинства людей мир, не привлекала его внимания. Я давно знал это его свойство — хорошее или дурное, считайте как хотите — и никогда не заговаривал с ним о простом, мелком, обыденном. Он тоже не задавал мне вопросов о моей семье,

о знакомых, о моем здоровье, о том, как я живу. В драме, которой он был захвачен целиком, действующими лицами были не отдельные живые люди, а борющиеся мировые силы — народы, классы, славянство и германизм, революция и контрреволюция, прогресс и реакция, хаос и организованная воля масс, флоты, армии, принципы, партии — совершенно так же, как и в тех драмах, которые он писал, где люди были не просто людьми, а всегда воплощением той или иной мировой силы. Для меня это свойство его ума было глубочайше интересно. Я и сам с детства был захвачен той мировой исторической драмой, которая развивалась в течение всей моей жизни и одним из самых напряженных моментов которой была Отечественная война. Мы говорили с ним часами, иногда очень спорили, и я уходил от него, став умнее. В его дневниках, которые он вел во время осады и теперь частично опубликованных, остались краткие записи об этих наших встречах; по-видимому, и для него они проходили не бесследно.

Он был превосходным оратором; я много раз слышал его выступление перед краснофлотцами и должен сказать, что он был одним из самых лучших ораторов, которых мне доводилось слышать. Говоря, он владел сердцами и умел ими повелевать. Сила его ораторских выступлений была все в том же напряженном драматизме. Красно-

флотцы слушали его не дыша и вскакивали со стульев от волнения.

Не было у него ни ораторских приемов, ни громкого, звонкого голоса, ни театральных жестов. Он начинал свою речь тихо, сухо, короткими информационными фразами. Он рассказывал факты, только факты, почерпнутые откуда угодно — из истории флота, из воспоминаний своей молодости, из сегодняшней газеты, из политдонесений, из заграничной радиопередачи, из городских толков; он развертывал целую цепь фактов, торопливо наскакивавших один на другой, и факты своей конкретностью властно привлекали внимание слушателей. А он тем временем разгорался, голос его креп, слова становились еще торопливее, он неудержимо летел вперед, увлекаемый своими мыслями, своими громадными обобщениями, и увлекал за собою всех. Борьба мировых сил, мировая драма патетически развертывалась перед слушателями, и каждый чувствовал, что и он сам причастен к великому, к революции, к истории, к Родине и что от него, как от каждого, зависит победа. Одни только штатные пубалтовские пропагандисты слушали Вишневого хмуро — им все казалось, что он нарушает инструкции, говорит лишнее, непроверенное и неувержденное, и как бы из этого чего не вышло.

Я говорил, что Вишевский никогда не задавал мне вопросов ни о моей семье, ни о бытовой стороне моей жизни. Но я этим вовсе не хочу сказать, что он был человек невнимательный, равнодушный к людям. Напротив, он был заботлив и очень внимателен к окружающим, в частности ко мне. Но интересовался он только одной стороной моей жизни — моей служебной и литературной деятельностью. С глубоким вниманием выслушивал он все то, что я рассказывал ему о морской авиации, в которой я тогда служил, и настойчиво задавал мне вопросы не только о летчиках, но и обо всех моих служебных отношениях. Ему казалось страшно важным, чтобы я писал о войне не одни лишь листовки, газетные статьи, но непременно и что-нибудь большое — роман или повесть. Моим начальникам направлял он письма, похожие на приказы, в которых требовал, чтобы мне предоставляли свободное время для самостоятельной литературной работы. Требования эти никогда не выполнялись, и не потому, что мои начальники были против, а потому,

что газетный номер не ждал и не оставлял мне достаточно времени даже на сон. Требование Вишневого — писать о войне романы и повести — мне удалось выполнить только после войны и демобилизации.

Когда я отправлялся в командировку на какой-нибудь новый для меня аэродром, Всеволод Витальевич беспокоился, хорошо ли меня там примут, покажут ли мне там все, что может меня интересовать. Он вырывал из блокнота лист и тут же писал рекомендательное письмо комиссару той части, в которую я был командирован, требуя, чтобы меня приняли хорошо и показали все. Некоторые из этих рекомендательных писем, тоже похожих на приказы, написанные мелким-мелким решительным почерком, у меня сохранились; я не передавал их адресатам, потому что всегда оказывалось вполне достаточно моего командировочного удостоверения.

«ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ПИСАТЕЛЕЙ»

Участию писателей в войне Вишевский придавал огромное и, как мне тогда казалось, преувеличенное значение. Он был таким же патриотом литературы, как и Балтийского флота. Он внимательно следил за участием в войне каждого известного ему писателя; к писателям же, не принимавшим в войне непосредственного участия, он относился с нетерпимостью, на мой взгляд,



Анатолий Тарасенков.



Всеволод Азаров.

не вполне справедливой. В системе Пубалта он, проявив много упорства и энергии, организовал «Оперативную группу писателей» — учреждение, подобного которому не было ни на каких других флотах и фронтах.

Во время войны военное начальство использовало писателей почти исключительно как газетных работников — для многочисленных военных газет, обслуживавших фронт. По-моему, оно со своей точки зрения было право. В быстро меняющейся военной обстановке газета, разговаривающая с бойцом при любых обстоятельствах, в любом месте, каждый день, была необходима и незаменима. По непосредственной важности для дела с нею не могли сравниться такие тяжеловесные формы воздействия на душу, как драма или роман. Но Вишевский был слишком художник, чтобы согласиться с такой точкой зрения; он слишком исторически мыслил, чтобы не думать о будущем, о поре извлечения уроков; он всегда гораздо больше интересовался общим, основным, главным, чем частным. Он был превосходным газетчиком, много и страстно работавшим в газетах. Но мечтал он о монументальном искусстве, способном выдержать испытание временем. Недаром он был драматургом; ведь драма — одна из самых лаконичных художественных форм, она способна собрать в один пучок идеи и образы, как увеличительное стекло собирает в пучок лучи. И Вишев-

ский создал при Пубалте «Оперативную группу писателей», веря, что эти писатели напишут о войне то, что невозможно написать, служа в газете.

Я стал членом этой «Оперативной группы» очень поздно — только в середине декабря 1942 года. До тех пор, с начала войны, я служил в наших балтийских авиационных газетах; я не стремился попасть в «Оперативную группу» и попал туда против воли — по приказу. Я ушел из нее при первой возможности; такая возможность представилась мне летом 1943 года, когда в Ленинграде начали организовывать большую газету авиации Балтийского флота и газете этой потребовались работники. Таким образом, в «Оперативной группе писателей», возглавлявшейся Вишневым, прослужил я всего полгода. Но с писателями, входившими в нее, встречался я в течение всей осады и хорошо знал и их жизнь и их работу.

Группа была организована в системе Пубалта в виде как бы особого воинского подразделения. Вишневский был начальником. В группу с самого начала входили литераторы А. Тарасенков, А. Крон, Г. Мирошниченко, Вс. Азаров, Н. Браун, Н. Михайловский, А. Зонин. За годы осады и структура группы и ее состав менялись. Вначале Г. Мирошниченко числился заместителем Вишневого, как старший по званию, — он был полковым комиссаром. А. Тарасенков считался секретарем группы и был как бы адъютантом Вишневого. Потом и Мирошниченко и Тарасенков ушли с этих должностей.

Потом в группу был принят Лев Васильевич Успенский, человек яркий, своеобразный и умный, игравший в осажденном Ленинграде крупную роль и сразу ставший в группе заметной фигурой. Потом был принят — на полгода — и я.

Вначале группа жила очень тесно и действительно напоминала воинское подразделение. Члены группы спали в Пубалте, в большой комнате, рядом с кабинетом Вишневого, на поставленных впритык койках; здесь и работали. Когда Вишневский входил в их комнату, Тарасенков кричал:

— Встать! Смирно!

И все вскакивали.

Лукавец Тарасенков, отлично знавший, как нравится Вишневному театральная сторона военной службы, проделывал это с усердием, которое мало-помалу стало раздражать его товарищей. В конце концов все они в душе пони-



Александр Крон.

мали, что они литераторы, а не офицеры, и слишком затянувшийся маскарад стал им надоедать. Вишневский тридцать раз в день забегал к ним в комнату, и всякий раз вскакивать было нелегко. Однажды Крон, услышав команду Тарасенкова, остался сидеть на своей койке. Вишневский быстро взглянул на Крона, но не сказал ничего. Они оба были драматурги, пьесы Крона с большим успехом шли в Художественном театре, а литературная субординация не так отчетлива, как военная. Вишневский ничего не сказал Крону и был с ним дружелюбен по-прежнему. Тарасенков сразу все сообразил, и команда «смирно» больше в Опергруппе не подавалась.

«Оперативная группа писателей» просуществовала долго, до конца осады, но постепенно менялась. Мало-помалу из действительного объединения писателей она превращалась в чисто формальное. То, что чувствовал я — необходимость для писателя находиться в частях, а не в Пубалте, — чувствовали и другие. Крон все время проводил в подплаве, на подводных лодках. Зонин на подводных лодках совершил два больших плавания в западную часть Балтийского моря, в глубокий тыл врага, и был награжден орденом. Поэт Всеволод Азаров, близорукий, слабый здоровьем, но очень искренний и мужественный человек, месяцами жил на кораблях эскадры; а осень 1942 года он вместе со мной провел на фронтовых аэродромах южного берега Финского

залива, за Ораниенбаумом. Лев Успенский, крупный, медведеватый, был, пожалуй, самым подвижным из всех; в сильно пахнущем желтом овчинном тулупе, с большой, тяжелой, неуклюжей пишущей машинкой в руках он кочевал с кораблей на бронепоезда, с бронепоездов на аэродромы, с аэродромов на форты, на артиллерийские батареи.

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

Лев Васильевич Успенский так же, как я, стал членом «Оперативной группы» не сразу и в течение первого года войны служил в разных частях. Впервые за войну встретился я с ним осенью 1942 года в Лебяжьем, на южном берегу Финского залива, в большом каменном белом доме, где он тогда жил в полном одиночестве. Дом этот, белея среди зелени елок, служил прекрасным ориентиром для немецких бомбардировщиков, и потому его бомбили чуть ли не ежедневно. Одно время в нем обитало командование бронепоезда, курсировавшего по железнодорожной ветке между Ораниенбаумом и Лебяжьем, но, когда с дома взрывом снесло крышу, все перенеслось в землянки, и в доме остался один Успенский, заявивший, что в землянке для него слишком тесно и душно. Я жил тогда на аэродроме в трех километрах от Лебяжьего и, услышав об Успенском, пошел его разыскивать. К белому его дому оказалось



Лев Успенский.

не так-то легко подойти — все кругом было разрыто воронками, уже полными черной осенней водой. Пройдя через вырванные взрывом двери и шагая по осыпавшейся штукатурке, я услышал стук пишущей машинки. По этому стуку я разыскал Успенского.

Он сидел за столом перед выбитым окном, в тулупе, чтобы не мерзнуть, и работал. Это был рослый, плечистый широколицый человек с седой головой. Клубы гудобного табачного дыма плавали вокруг него. Машинка у него была очень старая, большая, тяжелая, вся будто из какой-то облезлой и помятой жести. Эту громоздкую, полуразвалившуюся машинку он всю войну при всех переездах таскал с собою — она легко, ловко и привычно помещалась у него под мышкой. Из вонючего своего тулупа он тоже почти никогда не вылезал — разве только в середине лета. Я немало прожил с ним вместе, и таким он запомнился мне навсегда — в тулупе, бьющий по клавишам пишущей машинки большими, крестьянскими, желтыми от табака пальцами.

Он пошел провожать меня на аэродром. Я чувствовал себя с ним легко и славно — такой он был спокойный и веселый. Осенью сорок второго года не так часто встречались спокойные люди, а уж веселье — тем более. С самого начала он развеял меня, рассказав, что у них в политотделе есть папка, на которой написано: «Дело о целовании часового на посту». Оружейный склад в Лебяжье охраняли девушки-краснофлотцы — мобилизованные где-то на Урале комсомолки. Вечером одна такая девушка с винтовкой в руках стояла на посту у ворот склада, и к ней пристал загулявший старшина. По уставу она обязана была застрелить его, но не застрелила, и их застали целующимися. Пришлось политотделу завести «дело о целовании». Подобными рассказами Успенский веселил меня всю дорогу до аэродрома, и я хохотал — может быть, впервые с начала войны.

Когда в декабре 1942 года меня приказом перевели в «Оперативную группу», Успенский уже был там, и мы поселились в Пубалте в одной комнате, которая служила нам одновременно и спальней и служебным кабинетом. Никогда не было у меня другого такого приятного сожителя, как Лев Васильевич. Я и сейчас невольно расплываюсь в улыбке, вспоминая о нашем совместном житье. Жили мы с ним душа в душу; по-видимому, в наших характерах, в наших ин-

тересах, в наших взглядах на происходившее вокруг было много общего. Его соседство было наилучшим лекарством от всякого уныния, от всякой тоски. Он был всегда бодр, здоров, разумен, деятелен и полон юмора. Между нами с первой же встречи установились простые, шутливо-приятельские отношения. Он был года на четыре старше меня — в одних годах с Вишневым, — но возраст его сказывался только в седине, и я прозвал его «жизнедеятельным старикашкой». Это выражение очень нравилось ему, и я помню, как он, огромный, прыгал и плясал посреди нашей комнаты, высоко задвигая ноги, чтобы доказать свою «жизнедеятельность».

Во вторую зиму осады мы с ним много гуляли вдвоем по пустынным ленинградским улицам. Он так же, как и я, прожил в Ленинграде всю жизнь, но знал город несравненно лучше меня. Он знал каждый переулок, каждый дом, каждый проходной двор, каждый мостик: он рассказывал мне даже историю некоторых деревьев на Островах. Вообще, он удивительно много знал в самых разных областях. С хорошим знанием дела говорил он об оружии, современном и древнем, о военной тактике, об истории дипломатии. Меня поражала его осведомленность в ботанике — о каждом растении он мог прочитать целую лекцию. Но особенно силен был он в лингвистике; его интересовала история русских слов, и он накопил по этому вопросу огромный материал. Все, что говорится в его книге «Слово о словах», написанной после войны и имевшей большой успех, я выслушал от него еще во время наших совместных прогулок.

Живя вместе, мы беспрестанно подшучивали друг над другом. Шутки были почти бессмысленные, но смешили нас до слез, и весь Пубалт принимал в них участие. Как-то раз, уезжая в командировку, я забыл у себя на койке платяную щетку. В сущности, это был уже только символ платяной щетки, так как вся щетина из нее вылезла и осталась дощечка с двумя редкими пучками волос у одного конца и у другого. Успенский прикрепил эту бывшую щетку к большому листу картона, вывесил на стене над моей койкой и надписал на картоне крупнейшими буквами: «Щетка Чиколая Нуковского». Весь флотский народ, бывавший в Пубалте, забегал в нашу комнату, чтобы посмеяться над моей облезшей щеткой. Я ему отомстил тем, что стал писать его фамилию не Успенский, а Узден-

ский. Уезжая куда-нибудь — а я часто бывал в разъездах по аэродромам, — я отправлял ему письма, надписывая на конвертах «Капитану Узденскому». Так как письма, адресованные в Пубалт, долго переходили из рук в руки, прежде чем попасть к адресату, то скоро все узнали, что Успенский, в сущности, — Узденский. Шутки, как видите, были крайне незатейливы.

К весне сорок третьего года житье в Пубалте, в служебной комнате, нам обоим осточертело. Мы оба стали мечтать устроиться как-нибудь поуютнее. Подходящий случай представился: одна знакомая Льва Васильевича порекомендовала нам двухкомнатную квартиру на Петроградской стороне, неподалеку от Пубалта, временно покинутую каким-то уехавшим в эвакуацию врачом. Мы добились разрешения начальства, обзавелись электрическим чайником и переехали.

В сорок третьем году в Ленинграде уже настоящего голода не было. После январского прорыва блокады нам, военнослужащим, выдавали по восемьсот граммов хлеба в день. Но только хлеба. Мяса и жиров мы по-прежнему почти не получали. Сахару все еще полагалось пять граммов в сутки — одна чайная ложечка сахарного песка, которой не хватало и на один стакан чая. Мы с Львом Васильевичем, большие любители чаепития, особенно страдали от нехватки сахара.

Очутившись в чужой, брошенной квартире, мы прежде всего внимательно осмотрели ее. За время голода у нас, как у всех ленинградцев, выработалась бесплодная привычка — куда бы мы ни попали, прежде всего посмотреть, не осталось ли здесь чего-нибудь съедобного. Конечно, это было идиотство — искать съедобное в квартире, где никто не жил полтора года. Квартира была полна посуды, мебели, портьер, ковров, но все это нельзя было съесть и потому представлялось нам существующим напрасно, зря занимающим пространство. Лев Васильевич торопливо выдвигал ящики комода и с разочарованием задвигал их.

Но один ящик он не задвинул.

Весь ящик был полон туго набитыми кульками из белой бумаги.

К каждому кульку была приклеена этикетка, а на этикетке стояла таинственная латинская надпись, четко выведенная чернилами от руки. Надписи были разные, но содержимое кульков казалось на вид одинаковым — маленькие белые твердые шарики. Нам стало ясно, что это лекарства,

запасы которых хранил вехавший врач. Может быть, даже яды. Безусловно, яды, потому что всякое лекарство, употребляемое не в пужной дозе и без указания врача,— яд.

Словом, кульки нас разочаровали. И все же они отчего-то не выходили у нас из головы и странно тревожили. На другой день Лев Васильевич опять выдвинул ящик, вынул один крошечный шарик из кулька и сунул в рот. Я с боязнью и надеждой следил за выражением его лица.

— Сладко,— сказал он. — И никакого привкуса.

— Как никакого привкуса?

— Просто сладко, и больше ничего.

Осторожно попробовал и я — сахар, чистый сахар!

— А ведь врач-то был гомеопат! — воскликнул Лев Васильевич. — Гомеопатические лекарства действуют только в малых дозах. Чтобы они не действовали, очевидно, нужно их принимать помногу.

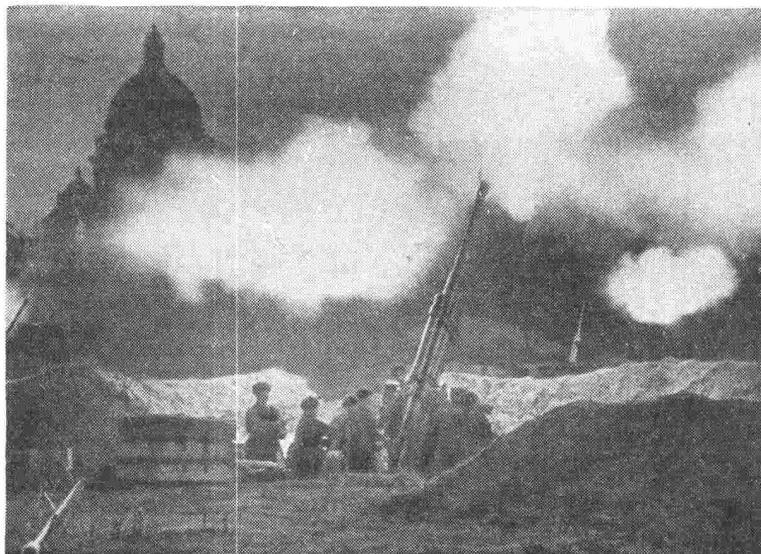
Он захватил целую щепоть пилюль и отправил их в рот. Я ждал, не начнет ли он корчиться в муках. Но он только облизнулся.

Он налил горячего чаю в стакан, бросил туда две чайных ложки пилюль и размешал. Пилюли растворились без остатка, чай стал сладким.

И началась наша новая, счастливая жизнь. Мы пили сладкий чай вволю, ничем себя не ограничивая. Мы довольно долго опасались, прислушиваясь к себе: нет ли каких-нибудь симптомов отравления? Но симптомов не было. По-видимому, человек, изготовлявший из сахарной пудры эти пилюли, распределил свои яды в таких малых дозах, что обнаружить их было невозможно. И мы постепенно опустошали кулек за кульком, прославляя гомеопатию.

РАСКИНУЛОСЬ МОРЕ ШИРОКО

Восажденном, полувымершем Ленинграде Вишневному удалось написать пьесу и поставить ее на сцене. Уже одно это было удивительной духовной победой — и Вишневого, и актеров, и зрителей. Пьеса эта была музыкальной комедией, опереттой, почти буффонадой, и называлась она «Раскинулось море широко». Вишневский написал ее не один, а совместно с ближайшими своими друзьями того времени — Кроном и Азаровым.



Ленинград в дни блокады.

Фото В. Кудоярова.

Выбор жанра — музыкальная комедия, — не свойственного ни Вишневному, ни Крону, был обусловлен тем, что труппа театра «Музыкальная комедия» была единственной профессиональной театральной труппой, уцелевшей в Ленинграде ко второй половине 1942 года. Во всяком случае, так объяснял мне этот выбор Вишневский в то время. Обстоятельство, как видите, случайное. Но надо признать, что этот выбор жанра оказался на редкость удачным и своевременным. Зрители — участники трагедии — вовсе не хотели видеть трагедию в театре. Да и любая театральная трагедия показалась бы бледной и жалкой по сравнению с той трагедией, которая совершалась вокруг на глазах у всех. И дурашливый спектакль — почти любительский, почти импровизация, — с танцами, с пением, с простодушным сюжетом, с незатейливой веселостью, пришелся по сердцу и жителям города и бойцам, его защищавшим. Прямой агитации в спектакле было мало, но агитационное значение его было огромно: это был дерзкий вызов врагам: вот вы держите нас в ловушке, вы обстреливаете нас каждый день, вы сотни тысяч людей уморили голодом, а мы под самым вашим носом пляшем и шутим!

На премьере я не был, я смотрел уже рядовой спектакль во второй половине декабря 1942 года. Играли в помещении Александринского театра — в самом

прочном из театральных помещений города, способном выдержать взрыв артиллерийского снаряда. Спектакль начинался в три часа дня, чтобы зрители успели разойтись по домам до комендантского часа. Театр был полон. Зрительный зал — красно-золотой, памятный с детства — был набит мужчинами в шинелях и женщинами в ватниках. Никто не раздевался — внутри был такой же мороз, как снаружи. Великолепный этот театр был таким же, каким я помнил его в двадцатом году, — тогда в нем была такая же стужа и такие же зрители. И так же, как тогда, было ощущение праздничности, легкости, трогательного торжества искусства. В фойе сохранился пустой ларек с надписью «Мороженое». Смешно и жутко было видеть эту надпись: неужели существовало такое время, когда продавали мороженое, да еще всем желающим? Как тогда, как в двадцатом году, я смотрел на танцующую балерину Н. Пельцер и думал: бедняга, до чего же тебе холодно!

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ТРЕТИЙ

Новый, 1943 год встречал я вместе с Вишневым, Успенским и Кроном у Веры Михайловны Инбер в квартире главного врача больницы имени Эрисмана на Петроградской стороне. Главным врачом этой больницы, пре-

вращенной в госпиталь, был муж Веры Михайловны — доктор Страшу. Кроме нас, на встрече было несколько умных немолодых суровых врачей с мужскими повадками и голосами. Спокойно и уверенно встретили мы Новый год. Мы уже знали о разгроме немцев на Волге. Ленинград еще был в осаде, но мы уже твердо предчувствовали, что и здесь вот-вот что-то совершится. Осада длилась уже почти полтора года, и к этому времени совершенно выяснилась бессмыслица ее для осаждающих, полная их неспособность совладать с Ленинградом. Веселились мы от души. Пили заблаговременно припасенную водку, однако больше налегали на хлеб. Играли в какую-то игру с записочками. Доктор Страшув, открывая бутылку, поранил себе руку; брызнула кровь. Одна из врачей немедленно сделала ему перевязку — с быстротой и виртуозностью, которая может выработаться только у человека, перевязавшего на своем веку тысячи раненых.

Уже дней через десять после этой встречи я был в глубоких слегах под Шлиссельбургом. Неистовый гром орудий, неистовый вой метели, черкая от людских толп Нева, горы трупов, наших и немецких, покалеченные, безрукие леса, грязные остатки домишек в снегу, замерзающие раненые, пельханное ожесточение, охватывшее каждую душу, — и неистовое ликование. Блокада была прорвана. В кольце осады — вдоль южного берега Ладожского озера — образовалась узкая брешь.

Осада, уже не полная и потому окончательно потерявшая всякий смысл, продолжалась еще целый год. Здесь проявилась бездарность стратегической мысли немцев: не умея перестроиться, не умея понять, что произошло, они только сковывали свои собственные силы. Потеряв превосходство в авиации, они усилили обстрел города из тяжелых орудий, разбивали то дом, то трамвайный вагон, убивали случайных прохожих на улицах, но все это уже было только проявлением бессильной злобы, ничего не способной изменить.

Никогда за все время своего существования Ленинград не был так прекрасен, как в 1943 году. От трехмиллионного населения в нем осталось только семьсот тысяч —

все другие умерли или уехали, — и пустыньность подчеркивала неправдоподобную его красоту. Небывалое по торжественности и мощи сочетание зданий, небес и вод околдовывало душу. Даже развалины в этом городе были прекрасны. А когда пришла весна и ночные зори запылали в уцелевших стеклах бледным и сложным северным огнем, из всех садов, дворов, скверов и пустырей полезла такая яркая и пышная зелень, какой я никогда до тех пор в Ленинграде не видел.

Мы с Вишневым оба были старые ленинградцы, и любовь к родному городу сближала нас. Когда я заходил к Вишневу, он говорил мне о странной одухотворенности этого города, о всемирности того, что в нем происходило. Построенный когда-то в пустыне, говорил он, Петербург оказался прообразом всех наших будущих великих новостроек. Все ограниченное, мешанское, тупое, себялюбивое не прививалось на его камнях. Все, что думалось и совершалось в нем, имело всемирное, всечеловеческое значение. Пушкин! Декабристы! Белинский! Гоголь! Чернышевский! Достоевский! Первоартовцы! Девятое января!

Именно здесь, в этом городе, началась Октябрьская революция. Здесь говорил и писал Ленин. Именно здесь впервые в истории был пробит тот извечно казавшийся несокрушимым панцирь насилия и рабства, сковывавший весь человеческий род. Росток новой жизни пророс впервые здесь, здесь он укрепился и превратился в лес, который скоро охватит всю планету. А осада! Это чудо, равного которому не было во всей истории человечества. И прежде всего духовное чудо, чудо, свидетельствующее о неслыханной духовной мощи.

Я как-то сказал ему, что этот город за двести сорок лет своего существования ни разу не был взят врагом. Его не взял ни шведский король Густав III, объявивший, что он на месте памятника Петру поставит памятник Карлу XII, ни Наполеон, собиравшийся из Москвы идти на Петербург, ни английский адмирал Непир в 1853 году, ни Юденич в 1919-м.

— Это единственный большой город на европейском континенте,

который никогда никем не был взят, — сказал я.

Вишевский взволновался и сразу стал подсчитывать, сколько раз большие европейские города за последние два с половиной столетия сдавались неприятелю. Париж — три раза, Берлин — два раза и непременно сдается в третий. В Риме были австрийцы, дважды были французы. Варшаву захватывали раз шесть, Вену Наполеон брал столько раз, сколько хотел. Наполеон был в Мадриде и даже в Москве, хотя это плохо для него кончилось. Ленинград никогда никому не сдавался...

Осенью 1943 года меня приказом вызвали из Ленинграда и перевели в другое место. Это оторвало меня от товарищей, с которыми я прошел первую половину войны, разлучило меня и с Вишневым. Потом — до самой его смерти — мы встречались с ним мало и редко. Как впоследствии выяснилось, мы оба были в конце войны в Берлине, но и там не видались. Да и совпадение было короткое: он попал туда раньше меня, и, когда я приехал, он уже уезжал.

Признать, никого бы мне так не хотелось повстречать в Берлине, как Вишневого. Для нас, перенесших ленинградскую осаду, падение Берлина было особым торжеством. Наш город осаждали два с половиной года, пытали всеми муками, которые только может измыслить человеческое воображение, но мы не сдались. И вот мы в Берлине, который не продержался и двух недель...

Я знал, что Вишевский с его обостренным чувством драматизма истории должен был ощущать это особенно сильно.

Всеволод Витальевич умер через четыре года после окончания войны. Он тоже остановился с бешеного хода. В гробу он лежал, как живой, в форме русского морского офицера, которую он так любил и которой так гордился. Моряки говорили над ним речи, военно-морской оркестр играл траурный марш. Фадеев и Тихонов стояли в почетном карауле. И мне было жалко его до боли, жалко, что он ушел, не досмотрев ту единственную драму, которой он с детства отдавал все силы своей души, — драму истории, драму революции.





● Л. Бобров

НАУКА
И
ТЕХНИКА

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО?

Рисунки И. Оффенгендена.

Необычные эксперименты проводились во второй половине восемнадцатого столетия в Вене, в доме № 261 по Загородной улице.

...Посреди зала стоит большой ушат с водой. В воду опущены магнитные стержни. Вокруг ушата, в полумраке, молчаливо, как истуканы, плотным кольцом сидят люди. Это пациенты доктора медицины Месмера. Каждый из них касается стержня, а затем пальцев своего соседа. Так велит Месмер; надо, чтобы поток магнитных «флюидов» усиливался, переходя от тела к телу. Откуда-то доносятся нежные звуки стеклянной гармоники и пряный аромат восточных благовоний...

Дверь открывается, и в зал входит человек в фиолетовой мантии. В руках у него сверкающий жезл. Доктор Месмер! Все взгляды с надеждой обращены к великому магу. И маг начинает священнодействовать. Плавные взмахи жезлом. Легкие прикосновения рукой. А главное, взгляд — пристальный, пронзительный, заставляющий цепенеть...

И больные, представьте, частенько выздоравливали! «Вот она, целебная сила магнита!» — торжествовал Месмер.

В 1774 году Французской академией была учреждена особая комиссия во главе с Антуаном Лораном Лавуазье и Бенджаменом Франклином, дабы проинспектировать врачебную практику Месмера. Проведя серию проверочных опытов, комиссия категорически отказалась признать какую-либо целебную силу за магнитом. Успехи Месмера комиссия объяс-

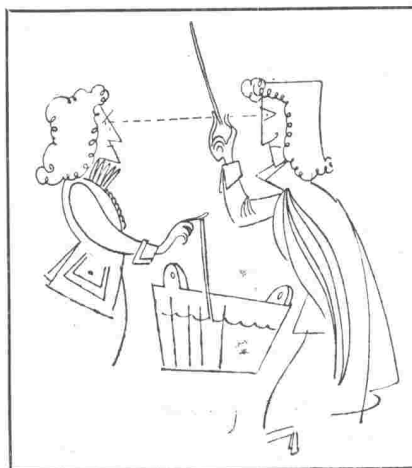
нила действием воображения пациентов, ибо понятие «гипноз» в те годы еще не было известно.

Открытие Месмера было закрыто. Но ирония истории воистину неистощима!

«Из многочисленных публикаций японских ученых следует, что ношение на руке небольших магнитных браслетов благотворно сказывается на кровяном давлении людей».

Это выдержка из статьи ученых — профессора В. Классена и кандидата химических наук В. Миненко. И напечатана она не в восемнадцатом веке, а в наши дни. Правда, ученые оговариваются: «Возможно, что это только реклама. Но...»

Давайте посмотрим, что скрывается за этим многозначительным «но».



В тридцатые годы советские физики Р. Я. Берлага и Ф. К. Горский провели серию интересных опытов. Они наблюдали, как выпадают кристаллы из растворов, находящихся по соседству с магнитом. И процесс кристаллизации, оказывается, шел иначе, чем в отсутствие магнитного поля! Позже сотрудниками Харьковского инженерно-экономического института было твердо установлено, что кратковременное, в доли секунды, воздействие слабым магнитным полем изменяет почти все физико-химические свойства воды: и величину поверхностного натяжения, и вязкость, и электропроводность, и даже плотность.

В одном из автомобильных хозяйств Харькова радиаторы сотен автомашин были покрыты толстым белесым налетом. После того, как шоферы вместо обычной воды стали заливать воду, прошедшую магнитную обработку, накипь исчезла. Причем метод обработки донельзя прост: в трубу, по которой струится жидкость, вставляется кольцо с вмонтированными в него небольшими магнитами.

Спрашивается: какое это имеет отношение к нашему с вами здоровью? Да ведь человеческий организм на две трети состоит из воды! А разве кровеносные сосуды не трубы, по которым течет-переливается вода с растворенными в ней солями и взвешенными в этом растворе органическими веществами? Аналогия остается неполной, если не вспомнить, что соли кальция способны отлагаться и на стенках артерий, особенно там, где образуются жировые бляшки. Так бывает при атеросклерозе, а ведь

сердечно-сосудистые заболевания дают наибольший процент смертельных исходов...

Теперь поразмыслите: магнитный обруч на руке или на голове опоясывает кровеносные сосуды. Не «облагораживает» ли он соленую алую жидкость, циркулирующую в наших артериях и венах?

Конечно, любые определенные выводы и тем более рекомендации тут преждевременны. «Но,— подсаживают ученые,— если вспомнить приведенные выше строго доказанные данные о резком возрастании способности воды растворять труднорастворимые соединения после магнитной обработки, то от этого вопроса нельзя просто отмахнуться».

И это далеко не все!

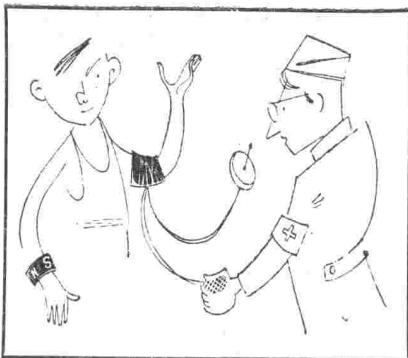
Место действия — Пермь. Время — начало сороковых годов нашего века. Действующие лица — советские ученые. И еще раненые, доставляемые сюда с фронтов Великой Отечественной войны. Драматические эпизоды борьбы за жизнь наших отцов. Как они далеки и по времени, и по расстояниям, и по методам от наивных фарсов, игранных прямыми последователями Месмера в XVIII столетии! Но что это? Зачем в госпитале магниты? Неужто для лечения людей?!

Вот именно: для лечения. «Магнитное поле угнетает нервную систему,— считают профессор Пермского медицинского института М. Р. Могендович и его сотрудник кандидат медицинских наук Р. Г. Скачедуб.— Этим можно объяснить, что действие магнита уменьшало боли у раненых». Уральские ученые впервые доказали, что в магнитном поле более активными становятся лейкоциты — белые кровяные шарики, защищающие организм от микробов. Под действием магнита рассасывались некоторые небольшие злокачественные опухоли у животных.

Несколько лет назад магнитное поле стали применять в лечебных целях в Бухарестском институте бальнеологии и физиотерапии. Румынские врачи сообщают, что это сказывается благоприятно при некоторых болезнях — паркинсонизме, параличе после полиомиелита, полиартрите, хроническом бронхите.

Магнит лечит!

Ну, а коли так, чего ж тогда медлить? Быть может, не теряя времени даром, запустить в массовое производство магнитные кольца, браслеты, ожерелья, пояса? И продавать их числом: поболее, це-



ною подешевле, прямо с аптечных лотков, словно очки, носите, мол, на здоровье!

Судите сами.

Не так давно в американскую прессу просочились кое-какие сведения о секретных экспериментах, проводившихся в лаборатории Национального института здравоохранения, что в штате Мэриленд. Подопытными животными служили обезьяны породы резус. Их организм наиболее близок по своей анатомической и физиологической конституции к человеческому. В медных клетках с направленными антеннами сидели обезьяны, с любопытством взирая на людей в белых халатах. Перед клетками, на почтительном расстоянии от антенн, стояли военные врачи, представители управления, занимающегося специальными видами вооружения. Но вот приготовления окончены. Лаборант подходит к щиту, включает рубильник, и... через несколько минут все животные погибают.

Их убило сильное электромагнитное поле.



Электромагнитное? А при чем оно здесь? Мы же говорили до сих пор о влиянии на организм постоянных магнитов!

Все это не так просто.

Сейчас мы знаем: у любого организма импульсы возбуждения передаются изменениями электрохимических потенциалов. Иными словами, система нервных волокон не что иное, как сеть телеграфных проводов, по которым бегут электрические депеши. Между тем закон электромагнитной индукции, открытый Фарадеем, гласит: всякое изменение внешнего магнитного поля индуцирует в проводниках электрический ток, сила которого зависит не от напряженности магнитного поля, а от скорости ее изменения. Значит, приближение или удаление постоянного магнита должно порождать токи в нервах. Разумеется, неважно, что перемещается — сам магнит или же животное в поле этого магнита: движение относительно! Другое дело, токи, введенные постоянным магнитом, слабы. Во всяком случае, гораздо слабее, чем при включении или выключении электромагнита. Но все равно говорить о чистом «биомагнетизме» неправильно. Скорее речь идет о биоэлектричестве или уж, если хотите, об электромагнитной биологии.

Стоит подвести к изолированной мышце даже слабое напряжение, скажем, присоединив к ней полюсы батарейки от карманного фонарика, она незамедлительно встрепенется. Но сколь бы упорно вы ни колдовали вокруг нее с магнитом, пусть самым что ни на есть сильным, она не шелохнется. Не шелохнется, хотя нерв остается проводником и в мертвой мышце (точнее сказать, в лабораторном препарате, когда ткань уже отсечена от тела подопытного животного). Не шелохнется, хотя ток, несомненно, возникает, просто не может не возникнуть! Чем же тогда воспринимается магнитное поле? Органом, какого нет у изолированной мышцы? Глазами? Ушами? Носом? Кожей? Или барабанными перепонками? А может, природа одарила свои творения пресловутым шестым чувством, покамест нам неизвестным?

Проверить свои и чужие предположения взялись кандидат биологических наук Ю. А. Холодов и его коллеги с кафедры физиологии высшей нервной деятельности МГУ. Работой руководил профессор А. Г. Воронин.

Выбор экспериментаторов пал на рыб, и неспроста.

Днями и ночами плывут европейские речные угри через всю Атлантику к берегам Нового Света, достигая Бермудских островов. Там они мечут икру. И умирают. А вылупившиеся из икры личинки пускаются одни в обратный путь — к берегам своих предков. По дороге угренок подрастает и — надо же! — на четвертом году жизни поднимается в верховья тех самых рек, откуда начали свой дальний вояж его родители-эмигранты. И такие одиссеи совершают не только угри. Какие же компасы ведут животных по тысячеверстным маршрутам? Вроде бы морские создания не проходили ни географии, ни навигации, а путь знают не хуже правых лодманов!

Многие ученые склонны думать, что рыбам, как, впрочем, и некоторым иным путешественникам из царства фауны, помогает ориентироваться магнитное поле Земли. Но в таком случае должны существовать чуткие биологические механизмы, улавливающие слабое поле гигантского магнита, которым является наша планета!

Каково же было наше удивление, рассказывает Ю. А. Холодов, когда безглазые рыбы стали воспринимать магнитное поле не хуже зрячих!

Нет, решили было ученые, сетчатка тут ни при чем, как вдруг... слепые рыбы продемонстрировали свою способность реагировать на свет!

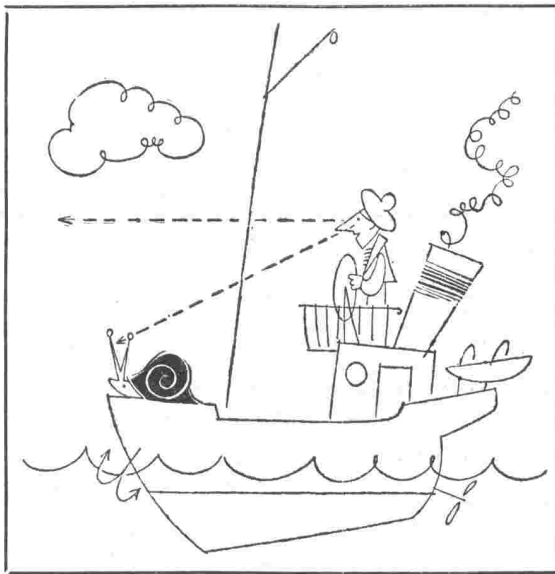
Тогда было принято решение перерезать нервы, соединяющие мозг с особым рыбьим органом, которого нет у других позвоночных, так называемой боковой линией. Нет, магнитный рефлекс не утратился! Удалили обонятельный отдел мозга — магнитное поле воспринималось по-прежнему. Отсекли средний мозг — немного ослабел световой рефлекс: он стал таким же, как у ослепленной рыбы. Удалили мозжечок — исчез звуковой рефлекс. А магнитный все держался.

И лишь после того, как повреждали промежуточный мозг, световой и магнитный рефлексы исчезли напрочь.

Теперь, казалось бы, все ясно: магнитное поле воспринимается промежуточным мозгом. Увы! Та-

кой вывод неправомерен, ибо регистрировались в ответ на действие магнита двигательные реакции рыбы, а вовсе не те процессы, которыми управляет промежуточный мозг. А управляет он вегетативными функциями (расширением или сужением кровеносных сосудов, сердечным ритмом и так далее).

Вот тогда-то и пришла на выручку современная электрофизиология.



Правда, в целях удобства пришлось перейти к сухопутным кроликам. К лопухой голове косоглазого присоединили контакты — и вот уже перо самописца вычерчивает автографы электроэнцефалограммы. Стоит включить электромагнит, питаемый постоянным током, как через пять—десять секунд в электроэнцефалограмме животного появляются изменения — такие же, как при переходе от бодрствования ко сну. Значит, действительно магнитное поле оказывает тормозящее действие!

Однако ученых влекла к себе другая загадка: они искали орган шестого чувства.

Магнит прикладывали к задним лапам. К животу. К голове. И ничуть не удивились, узнав: да, именно голова наиболее чувствительна к магнитному полю! Но ведь голова — это и глаза, и уши, и нос, и язык, и кожа!

Ничего не оставалось делать, как перерезать все нервные коммуникации, связывающие органы чувств с мозгом.

И вдруг сюрприз! Объединенный от каналов связи мозг восприни-

мал магнитное поле куда более чутко, чем мозг нормальный, неизолированный...

«Мы-то искали орган чувств, с помощью которого воспринимается магнитное поле, а на поверку вышло, что этим деликатным делом занимается сам мозг, минуя органы чувств, которые ему только мешают», — делился с читателями своим открытием изумленный Ю. А. Холодов.

В опытах с рыбами Холодов применял магнитное поле в сто эрстед, примерно в полтора раза превосходящее земное. Однако при уменьшении напряженности дело не шло лучше. При десяти эрстедах рефлекс совсем не проявлялся. Тогда силу поля подняли до десяти тысяч эрстед. Не помогло! Оставалось заключить, что магнит в сравнении со светом или звуком несравненно более слабосильный раздражитель, сколько ни умножай его хилую мощь. Как рыбы могут при такой слепоглухоте к магнитным «флюидам» ориентироваться по магнитным силовым линиям Земли, уму непостижимо. Что же, гипотеза магнитной навигации животных лишена всяких оснований?

Посмотрите и убедитесь сами.

В равномерно освещенном ящике сидят болотные улитки. Их много, иначе трудно выявить закономерность. Им разрешено выползти из своего убежища через воронкообразный туннель, обращенный к югу. Медленно, как им и положено, рогатые обитательницы лабораторного коттеджа покидают общежитие, таща на спине свою хрупкую витую палатку.

Нет ничего проще, как проследить маршруты этих тихих туристок. Наблюдением за ними занялся американский ученый Ф. Браун.

Оказалось, что расписанию улиточных рейсов свойственна строгая геометрическая правильность, причем «координатной сеткой» служат силовые линии земного магнитного поля.

Выявив эту закономерность, ученые взяли да подложили под порог общежития прямолинейный магнит, который давал чуть более сильное поле, чем земное. Магнитный брусок укладывали то вдоль, то поперек пути, то наискосок; напряженность поля тоже варьи-

рвала в широком диапазоне. Пятьдесят одну тысячу маршрутов нанесли исследователи на карты за три года наблюдений, и что же? Улитки реагировали на все магнитные вмешательства человека, всякий раз корректируя свой курс по новой, сместившейся сетке магнитных координат. Происходило так, будто каждая улитка имела по две направленных антенны для улавливания магнитных «флюидов», причем не только направленных, а и вращающихся: одна делала обороты в суточном ритме, другая — с периодичностью смены лунных фаз. Значит, где-то в организме улиток запрягана стрелка компаса! Но вот что удивительно: когда искусственное поле было больше естественного не в полтора-два раза, а пятидесятикратно, чувствительность «магнитных антенн» заметно снижалась. Недаром, видеть, в заголовке статьи Ю. А. Холодова об опытах с рыбами звучит нотка изумления: «Магнитное поле — странный раздражитель». Воистину странный!

В 1948 году доктор Дж. М. Барнети помещал мышат в магнитные поля, которые превосходили земное во много тысяч раз, то есть были сильными, как и в опытах Холодова. И грызуны перестали расти. А самцы погибли. Правда, удаленные из искусственного магнитного поля самки нормально развивались и вскоре принесли здоровое потомство.

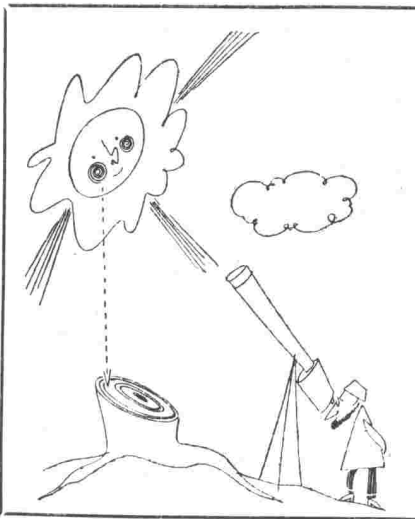
В другой раз в поле той же напряженности очутились взрослые мышки, которые готовились стать мамашами. Пришло время — на свет появились хвостатые детки. Они оказались меньше нормальных. И оставались таковыми всю жизнь. А в более сильном магнитном поле зародыши погибали еще во чреве матери.

Вот вам и магнитные браслеты!

Еще один факт, тоже весьма странный. У мышей искусственно вызывали рак. А потом посадили их в магнитное поле вместе с другими, здоровыми. Здоровые погибли все до единой, а больные нет! Наконец, из оставшихся в живых «омагниченных» пациентов некоторые полностью выздоровели.

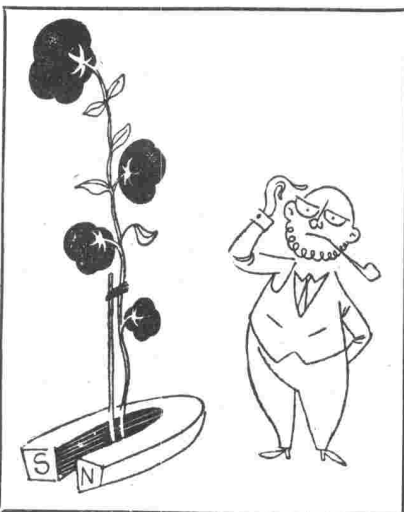
Чудеса да и только! А у ученых голова идет кругом от вопросов. Может быть, магнит неодинаково действует на различные породы мышей? Но где тогда истоки этих различий? И как тут уловить общую закономерность, если мышей магнит убивает, а рыбам хоть бы что?

Интересно было бы посмотреть, как к этой странной стихии отно-



сятся представители царства флоры.

А. В. Крылов и Г. А. Тараканова укладывали семена кукурузы «воронежская-76» и пшеницы «краснозерная» на картон. Затем смачивали и направляли их будущими проростками к магнитным полюсам Земли — часть к южному, часть к северному. Так вот, те зерна, что смотрели на юг, проросли намного раньше. Мало того, стебли и корни у них вытягивались и толстели куда скорее. А проростки семян, обращенных к северному магнитному полюсу, постепенно изгибаясь, упрямо поворачивали — куда бы вы думали? Вниз, к земле? Вот и ошиблись: параллельно поверхности почвы,



прямохонько к южному магнитному полюсу! Магнитное воздействие оказалось сильнее гравитационного.

Канадский агроном Питтман заметил, что при ориентированном расположении зерен пшеницы в направлении север—юг урожайность увеличивается на несколько процентов.

Американские исследователи недавно сообщили, что искусственное магнитное поле не только увеличивает урожай помидоров, но и ускоряет их созревание.

Известный итальянский селекционер Альберто Пировано опубликовал с полсотни работ, где утверждает, что действием магнитного поля ему удается изменять наследственность у растений.

Кому из нас не приходилось сиживать на спиле дерева? Между тем далеко не всякий прикасался к срезу внимательным взором исследователя. Чему ж тут удивляться: пни — явление распространенное, малоперспективное во всех смыслах.

А вот советский ученый Н. Ф. Шведов подметил семьдесят лет назад интересную особенность: некоторые годовые кольца у деревьев гораздо толще, чем другие. И такое чередование отличается определенной повторяемостью, совпадающей с одиннадцатилетней цикличностью в поведении Солнца. В чем тут дело?

Колебания в ширине колец на срезе дерева имеют ту же ритмичность, что и максимумы солнечной активности, а они проявляются каждые одиннадцать лет, когда наше дневное светило становится беспокойным, когда солнечный лик особенно часто озаряется вспышками небывалой яркости и особенно густо покрывается темными пятнами-оспинами. Каждая такая оспина в отдельности представляет собой воронкообразное завихрение с поперечником в десятки тысяч километров. Из этого огненного водоворота, как из сопла, бьет фонтан заряженных частиц. Гигантские облака ионизированного газа, достигая земной ионосферы, насыщают ее свободными электронами, начинают балламутировать магнитное поле, искажая привычную картину магнитных силовых линий.

Так вот, кольца, выросшие за эти «смутные» годы, всегда массивнее, чем в пору спокойного Солнца, как, например, сейчас (последний максимум пришелся на 1958 год, следующий ожидается в 1969 году). В периоды магнитных бурь на обильных кормах буино плодятся насекомые, прожорли-

вые вредители лесов и полей. Исходя из этой закономерности, член-корреспондент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук Н. С. Щербиновский разработал систему долгосрочных прогнозов возможных нашествий саранчи. Другие ученые сообщают о периодических вспышках в размножении мышей и прочих грызунов. Описаны даже случаи, когда несметные полчища зверьков, переходя дороги в поисках новых охотничьих угодий, оставляли целые железнодорожные составы.

Итак, магнитные бури растениям и животным на пользу?

Не будем торопиться с выводами.

В ноябре 1963 года трое американских ученых: Ч. Бачмен, Г. Фридман и Р. Беккер — взяли таблицу магнитных возмущений, непрерывно отмечаемых каждые три часа обсерваторией в городе Фридериксбурге и Геодезическим бюро департамента торговли. С другой стороны, они получили из приемных покоев восьми крупнейших психиатрических госпиталей США сведения о том, сколько больничных коек занято и в какие дни. И обе кривые бесстрастно засвидетельствовали: в периоды магнитных возмущений количество психических расстройств увеличивается. Такую же зависимость удалось выявить и для частоты смертных случаев в различных лечебницах.

В наши дни собран солидный статистический материал об обострении сердечно-сосудистых заболеваний в период магнитных бурь. На многих наших курортах организованы специальные службы, оповещающие врачей о приближении магнитных бурь.

Фактов много, объяснений мало. Но все же кое-какие объяснения есть.

Вот что говорит, например, кандидат биологических наук А. С. Пресман: «Что же касается факта влияния магнитных бурь только на больных людей, то здесь мы сталкиваемся с особой ситуацией. Ведь управляющие системы в организме здорового человека полностью обеспечивают его приспособляемость... к изменениям в окружающей природной среде. Но при заболеваниях деятельность этих систем может быть ослаблена или даже нарушена, и челове-

ческий организм становится более чувствительным к внешним воздействиям».

Примечательное и, я бы сказал, смелое утверждение! Начать хотя бы с того, что автор говорит не о какой-то там гипотетической причинной связи между волнениями на Солнце и беспокойством врачей за своих пациентов, а о влиянии магнитных бурь на человека как о непреложном факте.

Прочем, если магнитные поме-

академику В. М. Бехтереву и специально назначенной им комиссии. В молодые годы Бехтерев работал в парижской клинике Шарко и на всю жизнь сохранил интерес к действию магнита на истеричных больных. Комиссия удостоверяла результаты нескольких опытов. Один из них свидетельствует, что при неглубоком гипнозе и слабом вследствие этого проявлении внушенных галлюцинаций магнитное поле не ослабляет, а, наоборот, усиливает внушенные галлюцинации.

Итак, вопреки заключению комиссии, обследовавшей деятельность Месмера, магнит влияет на сложное психическое естество человека.

Разумеется, многие сообщения требуют самой тщательной проверки. Не склонны и мы с читателем принимать все за чистую монету. Эксперимент — вот что рассудит споры, разрешит сомнения.

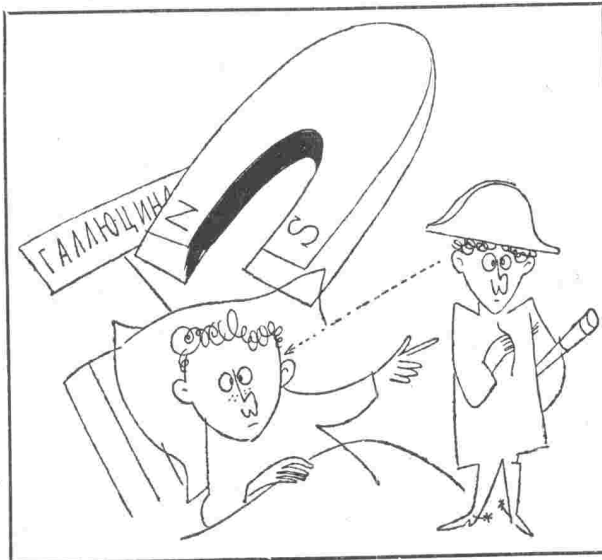
И такие эксперименты особенно важны сейчас, когда к слабым естественным электромагнитным полям добавились мощные искусственные.

Когда заработали радиопередатчики, электромагниты, электромоторы, биологов стало интересо-

вать воздействие на организм мощных искусственных электромагнитных полей. Советские ученые первыми заметили, что сантиметровые волны с небольшой энергией (настолько слабые, что даже не разогревали ткани) замедляли сердцебиение, понижали кровяное давление, приводили к истощению нервной системы. К счастью, физиологические функции нарушались ненадолго — через две-три недели все приходило в норму. Но эффект был налицо!

От отдельных разрозненных наблюдений пришлось перейти к серьезным систематическим исследованиям.

Работники радиостанций, долго пребывавшие в зоне действия сильных электромагнитных полей, жаловались на недомогание, общую слабость; ухудшалось зрение, изменялся состав крови. Наконец специальные испытания показали: людям, которые облучались сантиметровыми волнами, слышались звуки! Чудилось, будто они возникают где-то в области затылка. Чтобы создать такое впечатление, достаточно облучить висок, при-



хи встречаются в телефонные разговоры, связываются в телеуправление ракетой или промышленным автоматом, приводя к несогласованности в работе, даже авариям, то почему бы им не подстрекать к саботажу целые узлы сложной кибернетической системы, именуемой человеческим организмом? Тем более, если здоровье уже подточено недугом...

Великая тайна магнита продолжает смущать ученых. И не только физиологов. Психологов тоже.

...В 1919 году в одной из петроградских клиник начались гипнотические сеансы. Приближение магнита к голове испытуемого приводило к тому, что внушенная галлюцинация исчезала или ослабевала. Магнит удаляли — гипнотические сны обретали прежнюю отчетливость. У меня был очень сильный подковообразный магнит, который удерживал груз в полтора килограмма, — вспоминает об этих экспериментах профессор Л. А. Васильев. — Мне удалось продемонстрировать эти явления

чем электромагнитное поле может быть весьма и весьма слабым.

А в 1961 году по физическим лабораториям США были разосланы анкеты с вопросом: как действует на сотрудников постоянное магнитное поле? («Постоянное» здесь следует понимать условно, ибо люди, несомненно, двигаются в этом поле и, таким образом, меняют его напряженность по отношению к себе.) Ответы гласили: магнитное поле до 20 тысяч эрстед людьми не ощущается. Лишь те, у кого были стальные вставные зубы, чувствовали металлический привкус во рту.

Подытожив наблюдения, ученые сделали вывод, что увеличение энергии электромагнитного поля мало сказывается на результатах воздействия.

В то же время не подлежит сомнению, что слабые магнитные поля влияют на организм. Мало того, их воздействие подчас сказывается еще сильнее, когда энергия поля падает. Ясно, что в биопсихомagnetизме первую скрипку играет не энергия поля. Что же?

Этот вопрос окончательно еще не решен наукой.

«Электромагнитное поле,— предполагает А. С. Пресман,— оказывает влияние на информационные процессы в организме, а энергия поля служит только средством осуществления этого влияния».

Так, смысл предупреждения: «Осторожно! Магнитная буря» — не изменится, произнесете вы фразу еле-еле слышно, шелестящим шепотом, или же во всю Ивановскую — голосом зычным, как нерихонская труба. Эффект будет один, лишь бы вас поняли. Энергия звуковых сотрясений воздуха тут ни при чем.

Но какую информацию может нести магнитное поле?

Вращение Земли вокруг ее оси обуславливает ежесуточное изменение температуры, давления, влажности, освещенности, фона космической радиации. Комплекс этих условий, стойкий в своей извечной ритмичности, вызвал к жизни волнообразность физиологических процессов внутри живых организмов. Задолго до того, как



Фалес Милетский впервые разбил год на 365 дней, задолго до появления письменности, даже человеческого разума, природа вручила живым существам календарь, заставив «читать» его с чувством, с толком, с расстановкой, пунктуально отмерять времена года, месяца, сутки.

Речь идет о биологических часах — о регуляторах биоритмов, этих «волн жизни», строго соответствующих колебаниям в магнитном режиме биосферы. Земное поле, сигнализируя живым существам о своих циклических изменениях, передает исчерпывающую информацию о времени дня и ночи, месяца и года. И если даже утратится всякая иная информация (скажем, если животное очутится в помещении без окон, где круглосуточно горят лампы, установлен постоянный микроклимат), магнитный «анкер» все равно не перестанет поддерживать равномерное тиканье биологического «будильника». Интересно, что основной тип биотоков мозга — альфаритм — характеризуется той же частотой, что и недавно открытые

пульсации земного магнитного поля — около десяти герц (колебаний в секунду). Полагают, что это не случайное совпадение.

Ну и что ж с того, если все именно так?

Периодически изменяющиеся электромагнитные поля различных частот могут навязывать биологическим процессам несвойственный им ритм, иначе говоря, вводить в организм вредную информацию. Это нарушает нормальные биологические процессы. Тогда начинаются аварии, способные привести организм к катастрофе.

Всем известно, что инфракрасные лучи вызывают хаотичные колебания атомов. Сантиметровые же волны, падающие на организм, «раскачивают» частицы в едином ритме, словно солдаты мост, идучи нога в ногу. Разумеется, тепловой эффект и тут и там налицо. Тем не менее, навязывая ионам и молекулам несвойственный им ритм движения, радиоволны могут внести дезорганизацию в распространение биотоков в нерве.

Но почему обязательно дезорганизацию? Ведь можно сделать наоборот: так подобрать электромагнитное поле, чтобы оно поддерживало порядок в физиологическом и психическом хозяйстве организма! Разве мало случаев, когда магнит оказывал благотворное влияние на живое?

Придет время, когда человек, досконально разобравшись в явлениях био- и психомagnetизма, поставит магнитное поле на службу здоровью.

Электромагнитной биологии нужны энтузиасты и скептики. Разумеется, не такие энтузиасты, которые готовы тотчас использовать на практике еще не исследованное явление. Но и не такие скептики, как члены комиссии Французской академии, выплеснувшие месмеризм за борт науки вместе с драгоценными крупинками истины. Кстати, та же академия отвергла и громоотвод Франклина, и паровое судно Фультона, и противооспенную прививку Дженнера...

Электромагнитная биология ждет нового пополнения.



ПИСЬМО

НА «ГРАЖДАНКУ»



Я получил задание: написать репортаж о службе молодых десантников. Командированный «Юностью» в Н-ское подразделение, я познакомился с жизнью воинов-парашютистов. В числе моих новых знакомых оказался и Володя Шмелев, москвич. В десантных войсках он служит около двух лет. Володя не ходит в отличниках боевой и политической подготовки, но и на гауптвахте не сидел. В общем, обыкновенный солдат.

Однажды я застал его в ленинской комнате: Шмелев писал на «гражданку». Он писал другу, который призывался в армию и спрашивал совета, стоит ли ему проситься в десантные войска. Володя дал мне прочитать несколько страничек. Письмо показалось мне любопытным, и я попросил у автора разрешения опубликовать его вместо задуманного прежде репортажа. Разрешение это я получил. Вот это письмо.

Сергея, привет!

Не свихнулся ли ты слегка от вольной московской жизни?! Ведь чтобы ответить на твои одиннадцать вопросов, мне нужно целый роман писать и выслать тебе письмо бандеролью.

Насчет технических вопросов скажу одно: мате-

риальная часть в наших войсках сложная и разнообразная, так что не бойся всё перепутать по своей радиотехнической специальности. Во всяком случае, когда тебя пришлют для прохождения службы, просись в мастерские: твоя квалификация от этого только выиграет.

Но ты все-таки даешь — одиннадцать вопросов! Я из-за тебя сегодня не пошел в кино, сижу и писательством занимаюсь. А картина, говорят, ничего — «Пепел и алмаз», — но жертвую ради тебя. Завтра наш взвод на неопределенный срок посылают на учения, и нужно успеть написать тебе сегодня, так как там будет не до писем и не до твоих вопросов.

Так вот — читай меня внимательно.

Тебя скоро, как ты по старинке выражаешься, «забреют», и ты по этому поводу слегка раскис. Старик, что за детские огорчения! Лекцию тебе читать не собираюсь, но, сам понимаешь, надо отслушать. Закон есть закон, в Конституции записано, значит, надо.

Честно тебе говорю: через службу в армии не только надо — через нее полезно пройти. Эта школа стоит всех других. Твои вопли: «три года кошке под хвост», «там у вас отупеешь и все переполнешь» — это типичное заблуждение штатского пиджона. Все от тебя зависит — отупеть и выбросить время кошке под хвост можно и на «гражданке». А здесь, в армии, тебе как раз этого и не дадут.

Конечно, Серега, тебе будет трудно, как и мне было, как любому. Особенно в самом начале, когда направят в карантин, и потом, когда будешь проходить курс молодого бойца. Там за два месяца происходит просто резкий перелом всего уклада жизни.

Я не говорю о физических нагрузках — это ты переживешь, — а вот для нашего брата сложнее другое: железная дисциплина, режим и беспрекословное подчинение начальству. Я помню, как на «гражданке» ты поссорился с директором своего завода, что-то ему возражал, доказывал, и тебе за это ничего не было. Здесь, в армии, «приказ начальника — закон для подчиненных». Это я цитирую тебе Устав, ты еще попотеешь, зазубривая его статьи и параграфы.

Не подчинись — наряд вне очереди, «губа» или еще более строгое наказание. Но подчиниться все равно заставят, как бы ты ни артачился.

Тут главное — понять, что подчиняться надо не «через силу», не по принуждению, а с охотой и желанием. Ведь, попав в армию, ты получаешь совсем новую роль в жизни, и она целиком подчинена одному — чувству долга. Вся сущность солдатской службы я выложу тебе одним словом — «ответственность». Ответственность за каждый свой шаг, чего нет, конечно, в такой степени на «гражданке».

Хоть и не часто, по случается, однако, когда первоходки на «губу» влетают по собственному легкомыслию и расхлябанности. Ты меня знаешь, в казарменный образ жизни я не влюблен, но таких ребят я все-таки не понимаю, это в них еще детство, и даже не детство, а просто глупость играет.

Надо знать, куда ты попал. Приходится многим поступиться, но ведь и в армию призывают не для того, чтобы развлекать и услаждать себя и окружающих.

Скажу честно, новичку кажется сначала, что в армии много излишних строгостей, но это только кажется, а кроме того, из многих надо действительно «выбить» лишний гонор, разболтанность, безответственность.

После «гражданки», где ты был хозяин сам себе, расставаться со своей «личной свободой» — самое трудное. Но это сначала. А потом не только привыкаешь, но попросту осознаешь, что так и надо, что это и разумно, и оправданно, и для дела лучше.

Прыгал ли я с парашютом? Спрашиваешь! Я же в десантных войсках. Прыгал я уже одиннадцать раз, и это — самое интересное в нашей службе.

Представь, после длительного изучения материальной части, тренировок на земле, бесконечных укладок и переукладок парашюта, после инструктажей и стольких разговоров о прыжках нас везут наконец на аэродром. Там на травке стоят «АН-2». Нас разводят по кораблям, взлетаем, делаем круг над зоной приземления, зажигается лампа, воеет сирена — и по одному, друг за дружкой, очертя голову прыгаем.

Ты всегда был любителем острых ощущений — так эта служба для тебя. Первые прыжки делали мы с 600—800 метров с поршневыми самолетами. А потом прыгали со скоростных турбореактивных. Тут вообще тысяча и одна ночь.

Кстати, программой предусмотрены и ночные прыжки. Это, скажу тебе, занятие не для слабонервных, хотя эти прыжки и с принудительным раскрытием парашюта. Прыгаешь, ничего не понимаешь, летишь в каком-то нокдауне, пока тебя не дернет — раскрылся купол парашюта. Тут приходишь немного в себя, висишь себе в воздухе, хорошо, даже покурить можно бы, но это не разрешается. В общем, когда опускаешься, состояние очень приятное, даже, я бы сказал, не с чем сравнить. Висишь, потом в воздухе разглядишь товарищей (ведь прыгаем группой, чтобы кучно приземлиться), реплики отпускаешь, бывает даже, напеваешь что-нибудь. Это от радости, от сердца отлегло, что парашют не подвел. И вдруг снизу, с земли, дежурный офицер кричит в мегафон: «Приготовиться к приземлению, не забывайте, ноги вперед!» А ты-то думал, что лететь до земли еще долго-долго. Понимаешь, это надо любить: небо, высоту и все такое.

Ты спрашиваешь: страшно ли это — прыгать? Для кого как. Я, например, боюсь. Вернее, не боюсь, а что-то бегаю по спине такое прохладное, мелкое, называемое мурашками. У меня навязчивая идея — увидеть свою физиономию в тот момент, когда я отделяюсь от самолета. Но это, сам понимаешь, невозможно. А потешная, должно быть, рюшечка! Все-таки, как ни совершенен и ни безотказен парашют, а черт его знает, раскроется он или не раскроется, или еще что-нибудь. У нас за мою службу было несколько случаев, когда от страха ребята вели себя, как безумные. Забываются в угол, вцепятся в скамью, тут сирена ревет, надо быстрее прыгать, ведь самолет с каждой секундой относит все дальше от зоны приземления, в общем, обстановка накалена, выпускающий сержант выходит из себя, а «отказчик» (так этих ребят называют) упирается, глаза безумные, и ты ему

хоть трибуналом грози, хоть чем, он на все согласен, лишь бы не прыгать. Таких мало, да и те в конце концов все-таки прыгают, и бывает, распрыгаются так, что после сами на аэродром рвутся. Тут нужно просто преодолеть в себе психологический барьер, да и выпускающий иной раз его преодолеть поможет, этак «по-отечески» подтолкнув тебя в спину.

Я говорю, что если на все твои вопросы отвечать подробно, то целый роман получится. Я знаю, что ты ждешь ответа на свой главный вопрос, а я тебя все томлю и томлю. Успокою сразу: в нашей части не было ни одного смертельного случая при прыжках, а прыгали, наверное, многие тысячи человек, если не больше.

Конечно, разные бывали случаи, но все обходилось благополучно. Вот, например, не так давно были затяжные прыжки, раскрытие через сорок секунд, по секундомеру. Летят друг за дружкой 10 человек. Один не выдержал, дернул за кольцо раньше времени, и в его открывшийся купол сверху врезался другой и «погасил» купол. Хорошо, что первый не растерялся — схватил его, выпутал из строп, и так они вместе приземлились на запасных парашютах. Был еще случай... хотя, ну тебя к черту, я и так не успею написать тебе до отбоя.

Видел фильм «Прыжок на заре»? Ну так вот, так мы и служим. Кстати, фильм снимался на нашем аэродроме.

Главное, не теряться. Все зависит от тебя самого. Как поется в нашей самодельной песне:

Чтобы не пришлось любимой плакать,
Помни о кольце, парашютист.

Не так давно мы участвовали в больших маневрах с имитацией атомной бомбардировки — об этом в «Красной звезде» очерк можешь прочитать. Вот это, скажу я тебе, была работка! Нас выбросили ночью, в условиях абсолютной темноты, на остров. Сбрасывали с самолетов на многокупольных парашютах самоходки, машины. Грохот, скрежет, стрельба. И потом этот самый пресловутый «атомный» гриб. Знаешь, можно сказать, что я психологически уже участвовал в термоядерной войне, все было так, как в боевой обстановке, единственное — что это было понарошке: пиротехника, холостые снаряды. Но я пережил несколько щекотливых минут, когда забываешь, на самом деле все так или это только имитация, — в такие минуты очень хочется, чтобы человечество энергичнее боролось за мир.

Впрочем, такие мысли приходят потом, а на маневрах тебя захватывает такая уйма новых впечатлений, что думаешь только о том, чтобы делать все, что положено.

Я-то тебя знаю, тебя картинками батальон не прельстишь. Но ведь и ты понимаешь, что все это — я о военном деле говорю — необходимо знать и уметь делать для того как раз, чтобы пользоваться плодами мирной жизни, которые все мы так любим.

Ты, небось, подумал: «Смотри, как заговорил. Или уж в сержанты выбился?» Да нет. Но ты знаешь, Серега, армия действительно сильно меняет человека. Конечно, и на «гражданке» я бы за два года другим стал, но тут, сам не пойму, серьезней, что ли, делаешься или, вернее, по-особенному быстро взрослеешь. Меняешься страшно. Время начинаешь по-настоящему считать и ценить. И многое другое пересматриваешь в себе.

Ты спрашиваешь, что придется делать, кроме прыжков с парашютом. «То, что положено по Уставу», — тебя удовлетворит такой ответ? Подъем у нас

в 6.30, отбой в 22.30. Шестнадцать часов чистого времени — неужели ты думаешь, что старшина не найдёт, чем тебя занять?

Ну ладно об этом. Помнишь, как Витек на Химкинском пляже выламывался перед нами, что у него классическая фигура, а мы, мол, хилыки в сравнении с ним? Так знай, Серега, я теперь вполне тяну на Витькино сложение. Тут у нас в смысле физической подготовки особый род войск: специальные полосы препятствий, специальные тренировки, специальные спортивные снаряды (и такие, на которых тренируются космонавты). Я уж не говорю о волейболе, баскете, легкой атлетике. Вообще, если ты подаешь надежды как спортсмен, в армии создадут все условия: не захочешь, и то станешь атлетом. Кстати, в программу подготовки десантников входит в обязательном порядке овладение приемами самбо, защитой от нападающего с ножом... Может, и в гражданской жизни покадобится, правда?

Вообще за три года в наших войсках ты научишься многому из того, что пригодится на «гражданке». Вот, например, наша полоса препятствий — ты должен заминировать и разминировать зону (подрывное дело), проехать на машине за рулем (автодело), войти в связь с КП по радию (радиодело), обезоружить и допросить «пленного», а про умение преодолевать преграды я уж не рассказываю (полный мужской комплекс). За один кросс можно похудеть на 5—6 килограммов. Впрочем, тебе-то с твоей комплекцией как раз интереснее, как обрести мясом. В этом отношении привес гарантирую (я и сам не пойму, какой тут секрет, харчи, конечно, не ресторанные, а ходим все, как говорят наши ребята, что из села, «в теле»).

А последний твой вопрос меня рассмешил: «Можно ли взять с собой саксофон, разрешают ли у вас играть на этом инструменте?» Ты как некоторые иностранцы, которые спрашивают: «Правда ли, что по улицам Москвы ходят медведи?» Да бери с собой, ради бога, свой сакс, играй в свободное время, никто тебе слова не скажет. А старшина муззвода Казлаускас, пожалуй, и в оркестр возьмет. Я понимаю, тебя беспокоит, не будешь ли ты ущемлен в своих музыкальных пристрастиях. У нас тут у многих транзисторы — вся музыка эфира к нашим услугам. А некоторые скидываются на магнитофон.

Вот сейчас я пишу тебе в комнате отдыха, а из окон казармы несетса джаз — совсем как из окон «Аэлиты». Есть в части даже солдатское кафе — стойка, черный кофе, музыка. Очень похоже на наше любимое с тобой кафе «Сокол» — мебель модерн, оформление что надо. Только, разумеется, нет девушек. Я предвижу на твоём лице выражение крайнего разочарования. Но не отчаивайся, ведь тебя будут пускать в увольнение... В соседнем клубе есть с кем потанцевать. Но, как сам понимаешь, не это главное в армейской службе.

Я уже писал, что здесь особенно ценишь время. Свободного (личного) времени, конечно, меньше, чем на «гражданке», но сделать успеваешь даже больше. Я, например, подготовился к экзаменам за десятый класс, а книг перечитал столько, сколько прежде не прочел бы и за пять лет. У нас большая библиотека.

Ты не написал, когда тебя призывают. Я после инспекторской проверки надеюсь получить отпуск (10 суток), так что мы еще встретимся, может быть, до твоего отъезда. А если не увидимся, просись в военкомате в десантные войска. По-дружески говорю тебе, Серега, не пожалейся.

Как у тебя с Ритой? Передавай ей взаимно привет.

Будет ждать? Ну вот, станешь ей слать из армии бесплатные письма — вот тебе еще одно преимущество солдатской службы: не будешь тратиться на марки.

Ну, пока, старик.

Твой ВОЛОДЯ.

✱

Месяца через два после того, как привез я в редакцию письмо Володи Шмелева, иду по Силикатному проезду и узнаю, что здесь, рядом, с платформы Пресня, отправляется эшелон призывников.

Мне некого было провожать, но я вдруг почувствовал, что имею к этому событию какое-то отношение.

Я про Серегу вспомнил.

Вышел к перрону. Перед трибуной, где полковник держал речь, стояли сотни три новобранцев. Бог мой! Модные пальто, «пирожки», шляпы со стильно загнутыми полями, эти по-особому повязанные шарфы, саквояжи, рижские сумки... Мне припомнилось, как наш, 35-й год призывали в армию. Стояли мы на сборном пункте смиренные, стриженные, одетые в самое плохое (все равно ведь форму скоро дадут), телогреечки, рюкзачки, а то и деревянные чемоданы. И девчонок тогда на проводах было всего пять или шесть — писанные красавицы привели, а остальные так и не успели еще завести; тогда было отдельное обучение, да и вообще время было другое. А сейчас смотрю — за трибуной толпа провожающих девчонок раза в два больше, чем строй призывников — или уж на одного по две теперь?

Оркестр грянул туш. Кое-кто в строю под эту музыку отплясал несколько «па» — холодно было, ветер.

После полковника выступил генерал. Он говорил о нелегком солдатском труде, о событиях во Вьетнаме, о напряженной международной обстановке, о готовности каждого отдать жизнь, если агрессор нападет на нашу Родину.

Потом выбежали пионеры и декламировали стихи.

Я все смотрю на призывников: Серега... Сергезай — здесь ли он, а если и здесь, как же я его узнаю? По футляру для саксофона?.. А хорошо бы перекинуться с ним парой слов, спросить о письме Володи. Впрочем, чего уж, через сутки он и сам узнает воинскую службу...

Ребята посерьезнели, прониклись, так кажется, каким-то новым для себя чувством. Я вижу, как некоторые совсем еще неумело пытаются держать равнение, шикуют на тех, кто острит, подает из строя знаки своим девушкам. Что-то изменилось... Без пяти минут солдаты...

Конец митинга. Объявляется посадка. Строй новобранцев мгновенно сливается с толпой. Как тут искать Серегу, спрашивать, — до меня ли тут?!

Девчонки плачут на перроне. Некоторые просто режут. А некоторые изо всех сил сдерживаются, чтобы не расплылась тушь.

Мамы... Ну, они у всех сыновей одинаковы. Рядом с ними мужья — отцы новобранцев, много отцов: ведь уезжают призывники послевоенного, 46-го года рождения...

Гудок, поезд трогается. Меня оттесняют от окна, из которого выглядывает молоденькое лицо новобранца, совсем еще мальчишка.

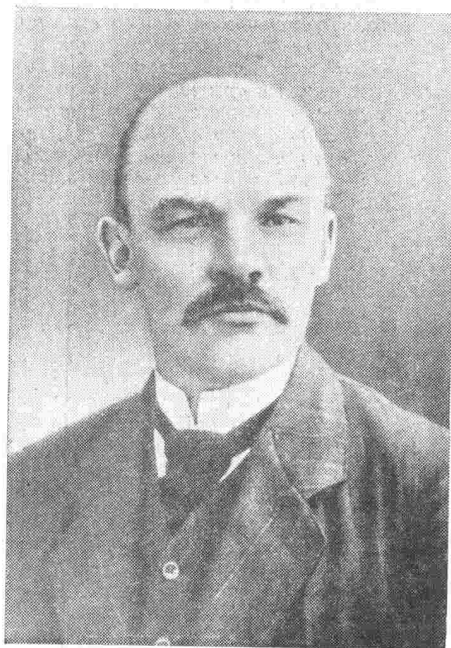
— Мама, мама, ну что ты плачешь, ведь не на фронт же еду...

Мама часто-часто кивает, утирает слезы и еще долго стоит на перроне.

А. ВАСИНСКИЙ

ДОМ № 3 НА КУДРИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Разыскивая в течение нескольких лет разные документы, связанные с жизнью и деятельностью замечательного русского скульптора Анны Семеновны Голубкиной (1864—1927), я заинтересовался ее встречами с революционерами. Мне удалось найти



В. И. Ленин.

бывшего пропагандиста-агитатора и начальника боевой Коломенской дружины в 1905 году Георгия Алексеевича Николаева. Георгий Алексеевич, ныне заслуженный врач республики, живет в Москве. У него я выяснил, что в марте 1906 года на конспиративной квартире в доме № 3 по Кудринскому переулку, у площади Восстания (прежде Кудринская площадь), состоялось собрание московских большевиков, в котором был В. И. Ленин.

Тот факт, что в первой половине марта 1906 года происходило заседание Московского окружного комитета РСДРП(б), в котором участвовал В. И. Ленин, был известен, но где, в какой квартире, — не установлено.

Я пошел посмотреть эти места. Дом № 3, двухэтажный, с мезонином, стоял еще в 1964 году. Теперь он снесен.

Г. А. Николаев (в то время у него была партийная кличка «Гошка») рассказал, что в тот день он пришел на собрание вместе с Николаем Осиповичем Сапожковым (партийная кличка «Николай Васильевич») в дом № 3 на второй этаж через парадный ход. На лестничной площадке их встретили хозяин дома Петр Григорьевич Барков и его жена. Они проводили пришедших в зал, где уже было несколько человек. Из находившихся там Николаев узнал только Зинovie Яковлевича Литвина — партийная кличка «Седой».

Заседание не открывали, кого-то ждали. Наконец в зал вошли двое, они прошли через черный ход. Один из них — среднего роста, бритый, с усами, с выразительным, умным и волевым лицом, поздоровался со всеми за руку и, присев к столу, сразу заговорил.

Николаев не знал, кто это. Только после заседания ему сказали, что это Ленин. Ленин пробыл недолго, но у Николаева осталось сильное впечатление

от речи, от всего облика Ленина. Ему запомнилась мысль о необходимости усиления пропаганды и агитации. Выслушав мнение членов Московского окружного комитета, Ленин тихо встал и ушел.

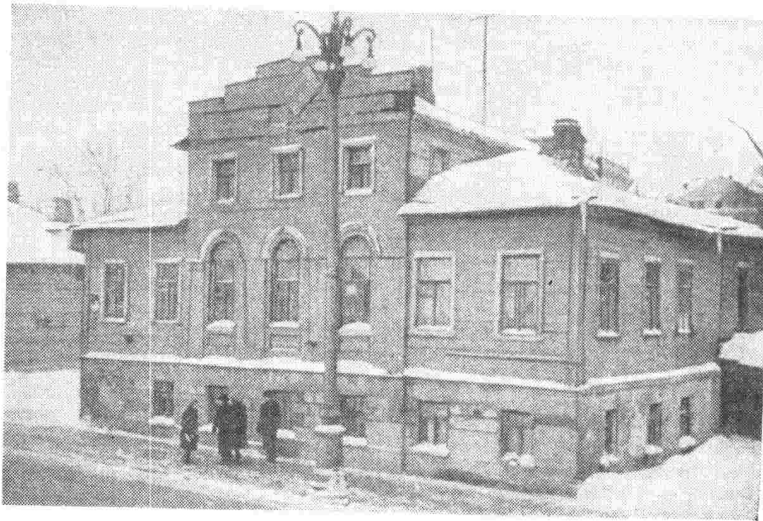
— Эта встреча, — сказал мне Николаев, — одно из самых значительных событий моей жизни.

Возможно, что со временем отыщутся еще участники этого собрания, которые смогут дополнить сообщение Г. А. Николаева.

После собрания Сапожков обещал Николаеву, что вскоре на этой же квартире познакомит его с известным скульптором А. С. Голубкиной. Он говорил о ней как о вер-



П. Г. Барков и его жена — хозяйка дома.



Дом № 3 на Кудринской площади.



Г. А. Николаев.

ном товарище, на которого можно положиться, она всегда делает все, что надо.

Николаеву приходилось возить к Голубкиной в город Зарайск, где она жила, прокламации и листовки Российской социал-демократической рабочей партии (большевики).

В марте 1907 года Голубкина была арестована, заключена в одиночку Зарайской тюрьмы. Она там объявила голодовку в знак протеста. Начальник Зарайской тюрьмы секретно сообщил Рязанскому жандармскому управлению, что Голубкина не принимает пищи, ведет себя дерзко, называет его «зверем».

За распространение прокламаций РСДРП, призывающих к свержению царского правительства, к захвату помещичьей земли, Московская судебная палата приговорила Голубкину к заключению в крепость.

С. ЛУКЬЯНОВ



Скульптор А. С. Голубкина.

ДЕЖУРСТВА В ТОТ ВЕЧЕР НЕ БЫЛО

Он работает в комнате милиции метро «Спортивная». Как здесь говорят, обеспечивает матчи, то есть не дает болельщикам превратить свои страсти в проступки.

Невысокого роста молодой человек, из особых примет имеет только большой нос.

В воскресенье мы отправились с ним на место событий: миновали дачи и наконец выбрались к яме, где сторела машина, захваченная преступниками. Зачем они ее подожгли?

— На руле была кровь,— сказал Павел.— Может, они хотели уничтожить улику...

...Выбравшись из перевернутой машины, эти двое стояли на шоссе и «голосовали», подняв финки.

Промчавший мимо «газик» резко затормозил за поворотом. Из него выскочил человек и исчез в придорожных кустах. Через несколько минут он появился из-за кустов за спинами «потерпевших аварию» и крикнул:

— Стой, стрелять буду!

Те бросились в лес. За ними метнулся преследователь. Все трое скрылись за деревьями. На шоссе осталась горящая машина.

Так представились эти события отдыхающему подмосковного санатория, который вышел погулять перед ужином.

Один из убийц показывает так: — Когда мы влезли в кабину машины, Акимов сказал: «Теперь я буду давить всех, кто попадется мне по дороге». Я его отговаривал, но он отказался слушать. Машина от ресторана рванулась в лес. Мы рыскали из стороны в сторону. На большой скорости вылетели на шоссе, резко затормозили и перевернулись. Акимов поджег. А тут крик, милицмейская фуражка. Ну, мы в лес, чтобы удобнее...

Следователь мне сказал:

— За три предыдущих дня они ограбили магазин, раздели одного и порезали другого человека. Очень агрессивные типы.

И, наконец, рассказ самого Павла Беспрозванного:

— Я был только в милицмейской фуражке, без кителя. Дежурства в тот вечер не было, на попутной машине я ехал в Химки к приятелю. У местечка Черные Грязи на шоссе вышла женщина: «Стойте!» Сказала, что в ресторане бандиты. Режут посетителей. У них ножи, обрез. Смотри, бегут от рестора-

на четверо. Один перемазанный в крови. Я без оружия. Но тут на шоссе показался сержант милиции на мотоцикле, вооруженный. Говорю: «Вы преследуйте их на мотоцикле, а я наперерез, лесом». «Ладно»,— говорит. А эти четверо уж разделились: двое пошли, не торопясь, в лес, а двое влезли в стоящую у ресторана машину, выбросили оттуда шофера и пассажира; пассажир держится за плечо, вроде удар ножом. Завели мотор, поехали. Я остановил первый попавшийся «газик» — и за ними. Они перевернулись на шоссе, подожгли машину, ну, а дальше ты знаешь...

— Почему же они бросились бежать? Они могли бы двинуться к тебе, а ты ведь был без оружия... Охота на охотника...

— Они чувствовали себя преследуемыми, и надо было только не дать им опомниться. Лес был небольшой — рожица. Я расставил по углам трех своих попутчиков, даже не знаю, кто они, кажется, грузчики из Москвы, съездил в санаторий и привел отдыхающих. А потом в деревню, собрал народ.

— Как твои случайные попутчики согласились охранять лес? Ты



Комсомолец Павел Беспрозванный. Недавно Управление общественного порядка города Москвы наградило его именными часами.

Фото С. Васина.

что, не объяснил им, чем это грозит?

— Наоборот, объяснил. И отдыхающих предупредил: в лесу опасные преступники.

— И много народу пришло?

— Человек шестьдесят. А потом еще из деревни: всего, наверное,

человек двести. В общем, через два часа эти типы сдались.

— Но ты же понимаешь, что им было нетрудно прорвать цепь невооруженных людей. Что было бы, если бы они выскочили из лесу с финками?

Паша улыбнулся.

— Но... они же не знали, кто окружает лес.

— А куда делся сержант на мотоцикле?

— Я его потом встретил, спросил, почему он не преследовал, он сказал: был занят чем-то...— Павел оборвал фразу и отвернулся.

— А ты думаешь в таких случаях об опасности?

— Не знаю, моя первая мысль — задержать. А то ведь уйдут. — И он вопросительно посмотрел на меня.

Мы всегда оцениваем степень риска: если пьяный в троллейбусе пристает к старушке, — это одно. Если в темном переулке к мужчинам подошли пятеро грабителей, — это другое. В первом случае мы заступимся, не раздумывая, во втором — оценим противников и еще подумаем, как поступить разумнее. Я имею в виду, конечно, не трюсов.

Для Павла нет вопроса: что делать? У него только один вопрос: как делать? Вопрос о технике исполнения.

— Я немножко знаю самбо.

— Но все же ты попадал в критические ситуации?

— В Запорожье грабили магазин. Я получил удар рукояткой нагана по голове и потерял сознание...

— И чем же все кончилось?

— Задержал.

— Но...

— Это моя работа.

А. ПЕТРОВ

ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ

Когда очередной номер журнала с этой статьей выйдет в свет, Ирме будет уже не восемь с половиной. Может быть, девять. Может быть, чуть больше девяти лет.

Во всяком случае, когда я, будучи несколько месяцев назад в Тбилиси, впервые услышал о ней, ей было восемь с половиной.

— Робертино Лоретти нечего делать с ней рядом! — горячо, по-грузински, убеждал меня Заур Читава, неофициальный импресарио Ирмы.

Два слова о Зауре. Он инженер в области радиоэлектроники, бывший чемпион республики по классической борьбе и фанатик музы-

ки, обладающий одной из самых больших фонотек в стране.

— Она поет «Мистер Паганини!» — кричал мне Заур. — «Мистер Паганини» никто не может петь, кроме Эллы Фитцджеральд! А Ирма поет! Нота в ноту! Она знает более тысячи песен!..

Я слушал Читава, слушал Котика Певзнера — руководителя эстрадного оркестра «Рэро», слушал музыкантов, слушал немусыкантов: «Ирма — фантастика».

Я не слышал только самой Ирмы. И, да простят меня мои тбилисские друзья, я верил им, но делал для себя скидки. Ну, хотя бы скидки на темперамент.

В конце концов, мало ли способ-

ных детей в Союзе. А к так называемым вундеркиндам я всегда отношусь с предубеждением. Мне кажется, что вундеркинд — это прежде всего плод горячей родительской любви плюс некоторые способности ребенка плюс наболеванность...

Чехословацкая, болгарская, грузинская пресса уже отреагировала восторженными статьями на Ирму. Я читал эти статьи. Мне принесли их Заур Читава. Если верить журналистам, речь шла об изумительном явлении. Но на статьи в газетах и журналах я тоже привык делать скидки...

Ирма пела перед футболистами тбилисского «Динамо», и они пода-



Забыты куклы...

рили ей мяч с автографами. Красиво, но еще не убедительно. Правда, на этой встрече присутствовали космонавты Быковский и Титов, которые тоже высоко оценили талант девочки. Но ведь как с музыкальными авторитетами я не знаком ни с Быковским, ни с Титовым...

И вот я пришел домой к Котику Певзнеру. Певзнер только что написал новую песенку, специально для Ирмы. Меня несколько удивило, что он волновался: «Хорошо, если ей понравится... Она ведь поет далеко не все...»

Через некоторое время привели Ирму. Ее привел папа.

Она еще не начала петь, а у меня в горле уже стоял комок. Почему? Глаза... Я таких глаз у детей не видел. Глаза взрослого человека, который преломляет окружающее через свою собственную призму. Да еще какие-то грустные, глубокие, тихие. А в остальном — ребенок: бантики, косички, коротенькое платьице, штанишки из-под платьица, смущение при виде незнакомого человека...

Меня поразила манера обращения отца и Певзнера с Ирмой.

— Ты сегодня можешь петь?

— Могу. (Убежденно, по-взрослому.)

— Горло не болит? (Не «горлышко», а «горло».)

— Нет.
— Тебе нравится песня?
— Да! (Без колебания, с улыбкой.)

— Не высоко петь?

— Высоко.

— А так? (Певзнер модулирует.)

— Вот здесь удобно. (Ирма прикасается пальчиками к клавишам рояля, указывая удобную тональность.)

— Попробуем?

Кивает головой.

— Вот тебе текст. Все понятно?

И Ирма исполняет в первый раз услышанную песню. Они занимаются с Певзнером, а мы с отцом Ирмы идем в другую комнату.

Отец Ирмы — Агули Петрович Сохадзе — кандидат технических наук, доцент Грузинского политехнического института.

— Я меньше всего думал, что у Ирмы появятся музыкальные способности, — говорит он. — В семье у нас музыкантов-профессионалов нет. Жена преподает английский язык в университете. Брат мой — инженер. Он просто очень любит музыку и коллекционирует итальянские песни. Правда, с этих песен все и началось...

— А что именно? — спрашиваю я.

— Когда Ирме было два с половиной года, мы снимали дачу под Тбилиси... Ирма и другие дети гуляли в саду. Вдруг я услышал, как чей-то детский голос поет песенку газетчика. Поет абсолютно правильно, хотя и выговаривает не все слова. Я не поверил, когда узнал, что это Ирма, и попросил ее повторить. Представьте, она повторила всю песню, а заодно и целую сорокаминутную магнитную ленту брата с записями итальянских песен. Так вот и началось.

Мы продолжаем беседу. Ирму никто не заставляет петь. Никто не спекулирует ребенком из родительского тщеславия. Но заставить ее не петь нельзя...

Сейчас она во втором классе музыкальной школы для особо одаренных детей...

Ирма сыграла мне свое сочинение для фортепьяно — «Сказку». Честное слово, в этой «Сказке» что-то было!..

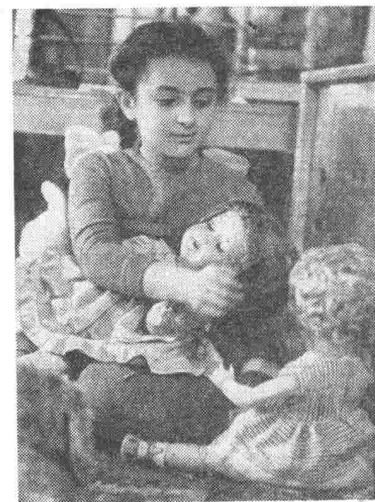
В сентябре этого года я слышал Ирму с эстрадным оркестром «Рэро» в московском саду «Эрмитаж».

Я слышал, как она поет «Мистер Паганини» и еще около десятка песен на разных языках.

Я не мог отделаться от ощущения, что все это нереально. Я был шокирован. Шокированы были все слушатели: одни — больше, другие — меньше. Я заставил послушать ее всех, кого я знаю... Все приходили несколько скептически настроенные, а уходили ошарашенные и молчаливые.

Вы прочтете эту статью. Либо я сумею убедить вас в том, что Ирма Сохадзе — уникальное явление в музыке, либо вы поверите мне на слово, либо в вас зародится совершенно закономерный скепсис. Могу сказать одно: послушав Ирму Сохадзе, вы будете, захлебываясь, рассказывать о ней всем своим друзьям и знакомым, так, как это сейчас делаю я. Потому что хочется, чтобы Ирму Сохадзе знали все.

Если не ошибаюсь, маленький Моцарт в четырехлетнем возрасте сочинял фортепьянные пьесы, се-



Забыты песни...

милетный Семюэль Решевский давал сеансы одновременной игры сильнейшим шахматистам Америки. Это, безусловно, феномены. Я причисляю к феноменам Ирму Сохадзе.

Конечно, все может быть! Может быть, эти строки относятся к началу жизни великого музыканта. А может быть (есть и такие примеры), все это лишь эпизоды детства будущей заурядной певицы. Ведь и так может быть. Но в таком случае и писать и читать эти строчки было бы чертовски грустно.

Арк. АРКАНОВ



Людмила Белоусова и Олег Протопопов в рекомендациях не нуждаются. О знаменитых олимпийцах написаны сотни статей; их портреты обошли все газеты мира. Но сами спортсмены еще ни разу обстоятельно о себе не рассказывали. А ведь их путь к Олимпу опровергает все каноны, сложившиеся в большом спорте.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов побывали недавно в редакции «Юности», и в этом номере мы печатаем стенограмму беседы с ними. Беседу ведет спортивный журналист Герард Еленский.

«Полпуда

ГРАЦИИ

Рассказывают Людмила Белоусова
и Олег Протопопов

Фото О. Неелова.

— ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ С ВОСЬМИ, А ТО И С ПЯТИ ЛЕТ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ МИРОВОГО ПРИЗНАНИЯ. ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ?

Она. Мы с Олегом получаем много писем. Ребята лет десяти и старше жалуются: «Пришел в секцию, а мне говорят, что уже поздно...»

Я начала заниматься фигурным катанием в шестнадцать лет. Помню, увидела шумевший фильм «Серенада солнечной долины», и мастерство знаменитой Сони Хенни, героини фильма, буквально потрясло меня. Мы жили около парка ЦДСА, каток был под боксом, и я каталась на хоккейных коньках. Заняться фигурным катанием я не надеялась, но однажды у ворот детского парка Дзержинского района появилось объявление о приеме в секцию фигурного катания. Мне повезло: секцией руководил Самсон Глязер, добродушный человек и большой энтузиаст фигурного катания. Он принимал всех. Выслушав меня, он сказал:

— Прошу вас, барышня, на лед.

Я вышла на каток и сразу шлепнулась. Но затем немного освоилась и даже сумела прокатиться на одной ноге. В тот памятный день, 22 ноября 1951 года, мне исполнилось шестнадцать. Моим первым тренером стала Лариса Яков-

левна Новожилова. Я старалась изо всех сил и через три года выполнила первый спортивный разряд и в одиночном катании и в паре. И тут познакомилась с Олегом. Но об этом пусть он расскажет. У него лучше получится.

Он. Я тоже начал заниматься фигурным катанием почти в шестнадцать лет. В начале 1948 года я пришел в ленинградский Дворец пионеров — хотел играть на рояле. Но меня не приняли, сказали, что я музыкально неграмотен, не подготовлен, не различаю высоту звука и тональность. Я думал: куда пойти? И пошел в кружок ударников и стал играть на ксилофоне. Странно, пианисты сказали, что у меня нет слуха, а я играл по слуху «Жаворонка», «Турецкий марш»... При Дворце пионеров была секция фигурного катания. Однажды я забежал в сад, где находился павильон Росси, и там, на залитых льдом дорожках вокруг клумбы, занимались фигуристы. До этого я катался на коньках, как и все мальчишки, цепляясь крючком за машину. Катался на хоккейных коньках, прикрученных веревками к валенкам.

В таком виде я и пришел на занятие секции, попросил разрешения покататься. Нина Васильевна Лепнинская — мой первый и последний тренер — отметила, что я хорошо делаю шниц-пируэты — вращение на носке, что у меня

центровка хорошая. Словом, меня приняли, и я стал перед выбором: или на барабанах палками бить, тремоло обрабатывать, или заниматься фигурным катанием. Коньки перетянули. Мне пришлось, правда, кататься в ботинках 37-го размера — мне нужен был тогда 39-й номер, но таких ботинок во Дворце пионеров не было, — однако желание кататься было сильнее боли.

Через год я занял второе место на юношеском первенстве страны в одиночном катании. А осенью пятьдесят первого меня призвали из девятого класса во флот.

— ИЗ ДЕВЯТОГО КЛАССА?

Он. Да, в школе я был переростком, потому что во время войны не учился. Блокада, затем эвакуация в Среднюю Азию. В 1945 году, когда мы вернулись в Ленинград, я пошел тринадцати лет сразу в третий класс.

— ЗНАЧИТ, КРОМЕ ПОЗДНЕГО СТАРТА, У ВАС БЫЛ ЕЩЕ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРЕРЫВ В СПОРТЕ?

Он. Почти что так. Вначале я служил в Североморске, а там негде было заниматься фигурным катанием. Год спустя, когда меня перевели в Ленинград, я иногда

вырывался в город: отпустят два раза в неделю — слава богу, спасибо за это!

Если смотреть с сегодняшних позиций, это были не тренировки, а просто катание для души, развлечения. Ведь сейчас мы тренируемся четыре часа ежедневно, с восьми вечера до двенадцати ночи. А тогда: в семь часов получаешь увольнение, пока доберешься до стадиона — восемь, на тренировку час-другой — и бегом на корабль. Тренируешься в неделю какие-то четыре часа!

Она. Во время его службы мы и встретились.

Он. В пятьдесят третьем году к первенству Советского Союза готовились лишь две пары. И ленинградские фигуристы мне посоветовали: попробуй выступить с Маргаритой Богоявленской, все равно третье место будет вашим.

Мы за неделю подготовили какую-то программу. Потом удалось убедить начальство отпустить меня в Ярославль, и там я получил диплом, честь по чести, что на первенстве СССР я занял третье место. Мой диплом произвел большое впечатление в части, на самом же деле это была фикция: во время катания мы часто теряли друг друга. Окажись на чемпионате пятнадцать пар, и были бы мы на пятнадцатом месте. Но бумажка в нашем мире еще играет огромную роль. Диплом и стал для меня «путевкой в жизнь». Отношение к моим занятиям несколько изменилось. В 1954 году мне позволили даже поехать в Москву на месячный сбор.

В Москве я с Людмилой и познакомился. Случилось это так. Сбор проходил в том самом детском парке Дзержинского района, где Людмила начинала кататься. Однажды на катке образовалось «окно» — не пришла какая-то группа. Я, конечно, мигом надел коньки — и на лед. А там уже каталась Людмила. Каток маленький, девять на девять метров, никак не разведешься. Мы зацепились руками и давай «дурака валять» — крутиться вокруг друг друга. С того случайного вращения и началось наше совместное катание.

Кто-то из присутствующих тогда спросил: «А вы что, уже давно катаетесь в паре? Года два? Вы так легко все делаете...» Многие говорили: «Ребята, вы не бросайте, у вас получится». Но я — в Ленинграде, а она — в Москве! Я не знал, как перевестись в Москву. И тут «повезло» Миле: она кончила в пятьдесят третьем году школу



и не попала в энергетический институт.

О н а. Я сдавала в МЭИ, но получила тройку по математике и смогла попасть лишь в заочный Институт инженеров железнодорожного транспорта. Но мне хотелось быть полноправным студентом, и я поехала в Ленинград с надеждой попасть на очное отделение. Если бы я не получила ту тройку по математике, кто знает, была бы пара Белоусова — Протопопов?

— ТАК ВЕРНЕМСЯ К НАЧАЛУ БЕСЕДЫ: В КАКОМ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ВОЗРАСТЕ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ЗАНЯТЬСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ?

О н а. Наши тренеры смотрят на зарубежные школы. Но у нас другая система...

О н. ...Другая цель спорта!

О н а. За рубежом родители стремятся как можно раньше отдать ребенка в школу фигуристов, чтобы он быстрее мог получить спортивный титул и сразу уйти в профессиональное ревью...

О н. ...вернуть затраченные на учебу деньги!

О н а. Поэтому там уходят из спорта очень молодыми, как только получают титул, звание.

О н. А в ревью работают еще лет двадцать! Австрийцу Фердинанду Лемансу за сорок. А американцу Дикю Баттону сколько? Лысина уже! А он все катается, деньги собирает. А прыгает так — дай бог каждому молодому фигуристу так прыгать!

— ЗНАЧИТ, НАЧИНАЯ И В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ВЕРШИН?

О н. ...имея определенные данные!

О н а. Чем старше становится человек, тем мастерство выше. Я по себе чувствую, что сейчас катаюсь лучше прежнего.

— НО ВСЕ-ТАКИ НЕ ПОЗЖЕ КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО НАЧИНАТЬ?

О н. С нашей точки зрения, претупление делает тот, кто говорит десяти — пятнадцатилетнему школьнику: «Ты уже стар для фигурного катания».

О н а. Очень важно, когда начинающий фигурист тренируется вполне сознательно.

О н. Человек должен сначала самостоятельно приспособиться к конькам, и, когда он будет с ними на «ты», только тогда его можно обучать фигурному катанию. Тре-

нировка фигуриста — это сложный, прежде всего мыслительный процесс, который требует постоянной сосредоточенности, внимания. Сегодняшнее фигурное катание требует высокого интеллекта. Но у нас не на это делают ставку. Прежде всего так называемая перспективность. А что это значит? В шесть лет принимают в секцию, а в девятнадцать уже списывают, как, например, списали Таню Лихареву! Да разве перечислишь все жертвы пресловутой теории «перспективности».

— КАЖЕТСЯ, БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА ВАС ТОЖЕ СЧИТАЛИ НЕПЕРСПЕКТИВНЫМИ?

О н. Даже перед прошлогодним первенством Европы в Москве ответственный секретарь федерации фигурного катания Сергей Павлович Васильев заявил, что если бы Белоусова и Протопопов не были олимпийскими чемпионами, то был бы поставлен вопрос об их пребывании в сборной, об их перспективности. Но мы выиграли первенство Европы, а затем в Америке и первенство мира.

А к Олимпийским играм, знаете, как нас «готовили»? На чемпионате Европы 1964 года нам досталось второе место. Хотя мы были настроены по-боевому, произошло непредвиденное — Люда наехала на шпильку, оброненную предыдущей спортсменкой, и упала. И вот перед отъездом в Инсбрук на сборании олимпийской команды старший тренер сборной Георгий Константинович Фелицин заявил: «Ну что, я считаю, что Белоусова и Протопопов останутся на Олимпийских играх в лучшем случае на том же уровне, что и на первенстве Европы».

И даже когда мы вернулись из Инсбрука с золотыми медалями, Фелицин продолжал уверять, что наш выигрыш — это случайность, что девяносто восемь процентов было за то, что мы не выиграем.

Нам предсказывал поражение и сотрудник Центрального научно-исследовательского института физкультуры Яков Смушкин. Он высчитал на электронной машине (исходя, конечно, из «перспективности»), что кривая роста спортивных результатов у наших соперников идет вверх, а наша кривая имеет тенденцию спада. Он сказал нам накануне отъезда в Австрию: «Понимаете, ребята, как ни жаль, но вы в лучшем случае можете бороться на Олимпийских играх за третье, четвертое место».

Теперь, встречая Якова Смушкина, я всегда его спрашиваю: «Ну, как твоя электронная машина?»

— КТО ПОМОГАЕТ ВАМ ГОТОВИТЬСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ?

О н. И вы помочь можете. Мы ни к кому не стесняемся обращаться за помощью, даже к людям, не имеющим никакого отношения к фигурному катанию. В шестьдесят втором году, например, мы впервые заняли второе место на чемпионатах мира и Европы. А кто нас тренировал? Нас тренировал на катке ЦСКА шофер — залищик льда Саша Смирнов. Он гимнаст 1-го разряда, играет в любительском джазе на трубе. Мы работали одни, и он видел, что порой мы ругаемся, спорим, — близилось соревнование, а у нас многое не получалось, и мы нервничали.

И этот парень подходил к нам и говорил: «Не волнуйтесь, у вас ничего получилось, только здесь глассандо, музыка требует плавности, а вы делаете слишком резкое движение». Или: «Вы, Олег, в прыжке ведете ногу широко, а у Люды колени сближены, поэтому у вас широкий прыжок, а у нее короче».

Мы к нему очень привыкли, и он к нам тоже. Отработает свою смену до ночи, а наутро, в 6 часов, опять приходит на каток. Ему бы отдыхать, но у нас тренировка... Нам порой было трудно заставить себя повторить всю композицию целиком. Но Саша говорил: «Давайте, ребята, надо посмотреть, как все выглядит...» Тяжело нам было, но для него делали.

Я потом сказал тому же Васильеву: «А вы знаете, кто нас тренировал? Шофер». А он: «Только никому об этом не говорите, а то разнесут...»

— ПОЧЕМУ ЖЕ НЕТ У ВАС ПОСТОЯННОГО ТРЕНЕРА?

О н. Это длинная история. В Ленинградском «Динамо» нашим тренером числился Петр Орлов. Работать он с нами почти не работал: «неперспективные». Иной раз придет на тренировку, покричит: «Вы — мои солдатики, вы — моя глина, что захочу, то и сделаю из вас! Захочу, и останетесь неоконченной симфонией!» Так что мы старались все делать сами.

Потом мы перешли в «Локомотив», но там секция была очень слабенькая, а тренера вообще не было. Опять пробивались самостоятельно.

В последние годы нам помогает

экс-чемпион страны Игорь Москвин. По-настоящему он нам помог перед Олимпийскими играми, когда мы наконец настояли, чтобы его вызвали на сбор! А так Игорь живет и работает в Ленинграде, а мы только ленинградцами числимся, потому что тренируемся большей частью в Москве. У нас в Ленинграде дом, мы учимся в Ленинграде, но там до сих пор нет искусственного катка, подходящего для фигуристов.

— КАК ВЫ ТРЕНИРУЕТЕСЬ? РАСКРОЙТЕ СВОИ СЕКРЕТЫ.

Он. Мила надевает на тренировках пояс, который весит десять килограммов. Мы называем этот пояс «полпуда грации».

Она. Конечно, трудно кататься с десятью лишними килограммами, но, когда снимаешь этот проклятый груз, чувствуешь себя словно невесомо! Легко бегается, высоко прыгается.

Он. Если хотите, все трудности, все злоключения, которые нам с Милой пришлось преодолеть, — это те же «полпуда грации».

— КАК ВЫ ДОБИВАЕТЕСЬ СОГЛАСИЯ НА ТРЕНИРОВКАХ? Я ЧИТАЛ ОЧЕРК, В КОТОРОМ ОЛЕГ БЫЛ ВЫВЕДЕН УЗУРПАТОРОМ...

Она. Я более спокойная. Он более нервный.

Он. Порой мне кажется, что она занимается не с таким рвением, как я, и это меня будоражит, и я кричу: «Делай, черт возьми, энергичнее!» Но в том-то и вся прелесть парного катания, что мужество партнера сочетается с грациозностью партнерши. Если бы мы были оба, как сверчки, на один лад, неинтересно было бы смотреть. Возьмите швейцарскую пару Йонер: она очень живая, а он телепочек. Она на него все время покрикивает. В спортивной паре мужчина должен быть мужчиной.

— ТАК КАК ЖЕ, МИЛА, ОЛЕГ ВАС ВСЕ-ТАКИ ОБИЖАЕТ НА ТРЕНИРОВКАХ?

Она. Часто я его тоже обижаю. Но как только мы покидаем каток, все обиды, конечно, забываются.

— ОЛЕГ, КАК СКЛАДЫВАЛОСЬ ВАШЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ КРЕДО?

Он. Моя мама — бывшая балерина, и я с детства вращался в мире искусства. Слышал многих знаменитых певцов, видел хороших бале-

рин. Склонность к музыке у меня с детства. После блокады мама работала на эстраде. Я часто сидел на репетициях — ждал маму. И когда я говорил тому или иному музыканту: «Вы фальшивите», — на меня не обижались. Напротив, все говорили маме: «Агния! Ты преступница, отдай своего сына в музыканты!» А она отвечала: «Никогда, не хочу, чтобы он был оркестрантом!» Вот я и не стал им! Но, как вы уже знаете, пытался. А музыку я люблю по-прежнему. И, когда мы с Милой катаемся под любимую мелодию, мы забываем, есть ли кто-нибудь вокруг нас или нет. Мы и музыка — вот все, что есть. Мы выбираем в основном классику. Мои любимые композиторы — Лист и Рахманинов.

Когда мы исполняем «Грезы любви», зрителю интересно, потому что он видит нечто такое, что можно только подглядеть. Мы никогда не работаем на публику, не хотим лезть ей в лицо: смотрите, какие мы красивые! Это было бы не подлинное фигурное катание, а навязанное выучкой изощрение. Подобная дешевка всегда была нам чужда.

— КАК ВЫ СОЧЕТАЕТЕ МУЗЫКУ И ЧИСТО СПОРТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ?

Он. Порой приходится совмещать совершенно несовместимые вещи. Вы видели наш показательный танец «Размышления» Массне. Он длится 4 минуты 42 секунды. И всего лишь одна поддержка. А впечатление больше, нежели от спортивной программы, где делаем девять поддержек. Вот и начинаешь задумываться, в чем смысл: в этих спортивных элементах или в чем-то ином?

Мы готовим, например, новую программу и видим, что с художественной точки зрения почти все закончено и выражает музыку, а в то же время перед нами дилемма: где-то двойной прыжок надо сделать, иначе скажут, что у нас нет сложности.

— НЕ СЛЕДУЕТ ЛИ ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ? КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

Он. Немецкий термин катания «Eiskunstlauf» очень точно выражает содержание фигурного катания.

Когда в Западной Германии обсуждался проигрыш Килиус и Боймлера на Олимпийских играх, один известный спортивный ком-

ментатор устроил пресс-конференцию с этими фигуристами, которые утверждали, что они катались лучше нас. Комментатор анализировал записи двух телепрограмм — их и нашей. 1-я минута. «Да, они хорошо сделали», — соглашались наши соперники. «А вот ваша первая минута». «Да, у нас тут была неточность». 2-я минута. Вот 3-я минута. И так до 5-й минуты, пока наши соперники не признали, что мы катались чуть лучше.

Но затем Боймлер вдруг сказал: «А мы все-таки лучше делали, потому что мы показали больше спортивных элементов, а они больше балетных». Тогда этот комментатор заметил, что «Eiskunstlauf» (художественное катание) — это не «Eissportlauf» (спортивное катание), и сюда нельзя вставлять все что попало.

Вот к чему мы сейчас приходим. Надо, чтобы трудность программы оправдывалась всем ее содержанием.

А пока что получается? Вы можете делать все что угодно, но обязательно должны быть прыжки, поддержки! За это хватаются фигуристы, которые не могут выразить своими движениями всю глубину музыки, — штопают прыжками дырки... Пока, по мнению судей, наша показательная программа «Грезы любви» и «Размышления» недостаточно трудна, чтобы идти в зачет. Но в художественном отношении она на три, если не на пять голов выше нашей спортивной программы.

— ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО СОВЕТСКИЕ ФИГУРИСТЫ, ДОБИВШИЕСЯ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В ПАРНОМ КАТАНИИ, ДО СИХ ПОР ОТСТАЮТ В ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ И В ТАНЦЕ?

Он. Это прежде всего проблема льда.

Она. Одиночники не могут отрабатывать на полу обязательные упражнения. Как и танцоры.

Он. Да и нам уже при сегодняшнем уровне фигурного катания тренироваться без льда все равно, что пловцу тренироваться в ванне.

— ПРОБЛЕМА ЛЬДА — ЭТО ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННЫХ КАТКОВ, ТАК ВЕДЬ?

Он. У нас много говорят о массовости спорта, и этой массовостью объясняют победы на ме-

ждународных соревнованиях. Но поверьте мне, что победы Белоусовой и Протопопова не отражают действительного уровня развития фигурного катания в нашей стране. О какой массовости можно говорить, если даже в таком городе, как Ленинград, где зародилось русское фигурное катание, где жил наш первый олимпийский чемпион Николай Панин (да и сейчас Ленинград поставляет лучших фигуристов страны), нет искусственного катка нормального международного размера! А каток 16 на 16 метров, который находится в бывшей церкви, — разве это каток?

О н а. Надо, чтобы каждая детская спортивная школа имела свой искусственный каток. А у нас всего лишь одна такая школа — в Москве, на стадионе Юных пионеров. Наше парное катание сейчас признано на международной арене. Но нас обойдут, если не будет смеяны...

О н. Когда копают урановую руду, перекидывают многие тонны породы, чтобы получить граммы. Так и в спорте. Чтобы отобрать талантливых фигуристов, нужен прежде всего лед и годы труда на нем.

— НА КАКИХ КОНЬКАХ ВЫ КАТАЕТЕСЬ?

О н. К сожалению, на английских, потому что наши, советские, не отвечают требованиям, предъявляемым к ним фигурным катанием. Рабочие Ленинградского конькового завода на наши претензии отвечают вполне резонно: «Мы можем сделать коньки лучше английских, и сталь для этого в СССР есть превосходная и мастера есть квалифицированные. Но каждый конек экстра-класса нужно «облизать», немало повозиться с ним, затратить во много раз больше труда и времени, чем на конек, предназначенный для массового катания. Однако на производстве нет соответствующих расценок для изготовления коньков экстра-класса, а за гроши никто не будет работать». Каждому ясно, что на изготовление коньков высшего качества должны быть повышенные расценки. Но в различных ведомствах, стоящих над заводом, сидят такие бюрократы, что переубедить их невозможно. Твердят одно и то же: «Эта продукция должна быть дешевой» — и все тут. Вот на заводе и делают штамп и выпускают ширпотреб. А на ширпотреб

невозможно рассчитывать на успех на международной арене. В итоге вся сборная СССР катается на английских коньках, которые приобретаются на валюту.

— ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ПОМИМО СПОРТА?

О н а. Я учусь в Институте инженеров железнодорожного транспорта на пятом курсе.

О н. А я в педагогическом институте имени Герцена, на отделении физического воспитания.

О н а. Но вот беда: мы живем в Ленинграде один-два месяца в году...

О н. ...На лекции мы не ходим, а приехали в Ленинград — сразу два экзамена, десять зачетов... Поблажек нам не дают и зря пятерки не ставят... А потом, не считите за хвастовство, но, чтобы добиться того, чего мы добились в спорте (не могу сказать при этом, что мы идеал, до идеала нам далеко, как до Луны), потребовался и труд и знания. Нам пришлось самостоятельно проработать многое из области биологии, физиологии, психологии, механики, физики, искусства...

— КТО ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ ФИГУРИСТОВ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ИМПОНИРОВАЛ ИЛИ ИМПОНИРУЕТ?

О н. Для нас и поныне остается эталоном мастерство американцев Дика Баттона и Давида Дженкина, немки Ины Бауэр, канадцев Дональда Джексона, Барбары Вагнер, Роберта Поула. Все они очень музыкальны. Смотришь — и душа замирает.

А как часто бывает? Смотришь — фигурист из кожи вон лезет, стараясь чисто выполнить сложнейшую комбинацию. Он все делает ловко, грамотно. Все на месте, кажется. Но я не вижу чего-то самого главного.

О н а. У него в душе пустота.

О н. Да, ловко, грамотно, но не художественно. Как часто еще исполнительское мастерство фигуриста сводится лишь к эстетизации духовного убожества (духовная бедность обязательно сказывается в движениях!), к навязанному выучкой изяществу! Есть тысячи мастеров спорта, но кто-то должен быть первым, и первый тот, у кого выше культура, кто сможет проникнуть другому человеку в сердце. Это было, есть и будет.

На стендах «ЮНОСТИ»



МИКРОСКУЛЬПТУРА ИГОРЯ МОРОЗОВА

Скромного автора работ, представленных на 3-й странице обложки этого номера «Юности», нелегко было найти после того, как некоторые из них случайно попались мне на глаза.

Радиомонтажник Игорь Морозов делает их в минуты отдыха из того материала, который у него постоянно под рукой. Несколько кусков проволоки и паяльник — вот и все, чем оперирует Игорь Морозов.

Интересно через миниатюрные композиции, сделанные терпеливой рукой, заглянуть в мир молодого человека. Если вы зайдете в нашу редакцию и внимательно разглядите то, что сделано И. Морозовым, перед вами раскроется его мир. Сначала занимательной стороной — небольшие доходчивые сюжеты: боксеры, танцоры, оркестр, бильярд. Потом — звери, крокодилы, жирафы. Вдруг — Дон-Кихот и Санчо-Панса. И, конечно, любовь. Какая-то еще затянущаяся ребячья игра, но все живо, лаконично и уверенно — и уже потребность законченной мысли, ирония и даже философия.

Я бы не хотел, чтобы мои слова об этой своеобразной микроскульптуре привели Игоря к выводу, что он законченный скульптор; ему еще нужно многому учиться и постоянно работать, чтобы смелый полет мысли переселился в умелую руку мастера, а это процесс не простой.

Пока он переживает первые радости творчества, может быть, и не вполне представляя весь сложный путь формирования художника. Хочется пожелать молодому человеку пройти этот путь достойно.

В. ГОРЯЕВ

ВОЗЬМУТ ИЛИ НЕ ВОЗЬМУТ

Фельетон-пародия

Рисунки В. Карасева.



ственники героев подобных очерков, превращаясь по вине авторов в бесплотные, схематичные персонажи.

Во многих газетах мы читаем: «...с глубоким волнением собравшиеся прослушали...», «это был волнующий рассказ...», «взволнованно, с большим чувством управдом говорил о захлавлении двора...» и т. д.

Во всяком случае, в штампованных, сусальных очерках порой столько «волнений», что и десятой доли этих волнений хватило бы для возникновения устойчивой, необратимой гипертонии...

У меня появилось желание написать небольшую пародию на очерки и статьи такого рода. И я назвал эту пародию

«ВОЗЬМУТ ИЛИ НЕ ВОЗЬМУТ»

У парикмахерской № 17 с утра необычное оживление. Идет очередной набор молодежи в школу парикмахеров. Со всех концов родного города стекаются сюда наши замечательные парни и девушки. Повсюду слышатся добрая шутка и залихватский смех. Где-то звучит гармошка...

В дверях парикмахерской появляется первый счастливчик. По румянцу на его щеках, по счастливому взгляду да по растерянному виду можно смело сказать: «Приняли!» Поздравления, объятия! Откуда-то появились цветы... Качать его! Ур-раа! И вот уже зазвучала задорная песня «Забота у нас такая...»

С хорошей, доброй завистью смотрит на счастливчика Петр Фомкин, коренастый, широкоплечий, высокий, приземистый юноша со светлыми волосами и голубыми искристыми глазами. Сейчас его очередь... Посмотришь на

него, и сразу ясно становится — наш парень!.. Наш! Из тех, что не пасует перед трудностями, не философствует понапрасну, а если надо, так и в пляс первый пойдет. Вот он стоит сейчас перед дверью в парикмахерскую, перед дверью в жизнь! Тихий, застенчивый, скромный и от волнения кусает губы, ногти, локти... Все кусает! А ему есть что кусать!.. Он стоит и волнуется! Возьмут или не возьмут?

«Следующий!» — раздается из-за двери мужской-женский голос. И он делает шаг. Первый шаг в зрелость! Счастливого пути!..

А на углу сквера, под тенистой акацией, пряча в усы скупые мужские слезы, волнуется за сына отец Петра — Назар Фомич Фомкин, сам без малого тридцать пять лет прослуживший во флоте. Парикмахером. Еще бы не волноваться! Шутка ли! Счастье-то какое! Петька в люди выходит!.. Уж не сон ли это? И щиплет Назар Фомич свою бороду, и щеки щиплет, и бока... А ему есть что щипать за свою нелегкую счастливую жизнь... Помнит он суровую гражданскую войну, когда в его тихий, мирный домик ворвались пьяные петлюровцы и, дыша в лицо перегаром, заорали матом: «Брей! Брей, парикмахерская морда!!» Отказаться значило провалить подполье... И он сбрил! Много волос повывезло с тех пор... Э, да что там!.. Возьмут или не возьмут?..

А в одном из залов городской консерватории, волнуясь за племянника, покусывает свой старый смычок дядя Петра — профессор консерватории, лауреат международных конкурсов Филипп Фомич Фомкин.

С детских лет таил он мечту

Довольно часто я читаю в наших газетах очерки и статьи, написанные с большой долей сентимента и голубизны. Герои этих очерков переживают и волнуются порой по самому незначительному поводу, а порой и без повода. «Переживают и волнуются» близкие и дальние род-

стать парикмахером, но сердце и гражданская совесть сказали ему: «Будь лауреатом!» И он стал! Возьмут или не возьмут?.. Пусть хоть племянник осуществит то, что не удалось ему!

А в синем солнечном небе нашей Родины с нимбом вокруг головы, волнуясь, порхал прадедушка! Возьмут или не возьмут? Всю свою сознательную жизнь прослужил прадедушка цирюльником его императорского величества и до сих пор служил бы верой и правдою, кабы не револю-

ция, до которой ему, к несчастью, не довелось дожить...

А на тихом зеленом кладбище близ Севильи ворочался с боку на бок в своем гробу, гремя костями, севильский цирюльник Фигаро... Возьмут или не возьмут?.. Эта мысль не давала ему спокойно спать.

Где только не побывал Фигаро! И тут был и там был, а в нашем городе не был... Спи спокойно, дорогой Фигаро! Петра Фомкина обязательно возьмут!..

А кое-где в кое-каком пивном

кабачке сидело недобитое отребье. И думало отребье и волновалось. Еще бы не волноваться! Ведь если все люди отдадут свои волосы в руки таких, как Петр Фомкин, никогда не сбудутся мечты отребья о мировом господстве. Напрасно волнуется отребье! Мы знаем, кому доверить свою шевелюру!

Лишь один человек не волновался — автор этого очерка. Его одного не мучил вопрос: «Возьмут или не возьмут?» Возьмут! Такой очерк в его газету возьмут!

● П. Смольников

МОЯ БРИГАНТИНА

...Я медленно закипаю. И сталкиваю со стола стакан. Он разлетается в мелкие дребезги. Но моя Варенька и ухом не ведет. Тогда я опрокидываю на пол хрустальный бокал — подарок тещи. К нему мне разрешали прикасаться только по большим праздникам. Хрустальное чудо с печальным звоном разваливается на куски. Жена испытующе смотрит на меня.

Я встаю и достаю фарфоровый сервиз, который за шесть лет ни разу не был в употреблении. На него разрешается только молиться. Сервиз я расколачиваю по частям. Об угол стола.

С остальными вазами, вазончиками и прочей украшательской трещухой я кончаю за пять минут. Варенька улыбается и подает мне топор.

Засунув рукава, принимаюсь за мебель. От зачехленных кривоногих стульчиков, треугольного обеденного стола и от монументальной кровати, в необъятных просторах которой без путеводителя легко заблудиться, остается грудка мореной щепы.

Передохнув, подступаю к пузатому буфету, гордости всей нашей родни (ближе чем на три метра меня к нему не подпускали). И превращаю его в гору лучины: для растопки.

Через полчаса от обстановки, вызывавшей тихую зависть всей родни, остаются только воспоминания и извещения мебельных магазинов, которые коллекционирует теща.

Потом дочь бежит к однокласснику Вовне и приносит рогатку. С кровожадностью папуаса я расстреливаю люстру ценой 328 рублей 30 копеек. За ней теща в свое время охотилась полгода и привезла на двух грузовиках.

— Так ee! — обнимает меня Варенька. — Что еще осталось?

— Ничего! — устало говорю я. И мы с упоением начинаем петь:

— В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса...

— Наша бригантина! — радуется Варенька. — Без нают первого класса. Без парикмахерской. Без буфета...

— Без теплого туалета! — встала дочь.

Мы сидим на обломках грошевого уютя, и счастливые слезы текут по нашим лицам, обещая новую жизнь.

Эту картину мне рисует воображение в новогоднюю ночь, когда я запираюсь от Вареньки в ванной и вздрагиваю от воинственных раскатов ее голоса:

— Варвар! Выйди только! Я тебе покажу, как сервизным ножом черный хлеб резать!

И она стучит кулаком в дверь.



● ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС. ПЫЛЕСОС.



Углекопы.

На стендах
"ЮНОСТИ"

Творчество
Игоря МИХАЙЛОВА.

ФИГУРКИ ИЗ МЕТАЛЛА.

(См. заметку В. Горяева
на стр. 110)



Хоккеисты.



Крокодил.

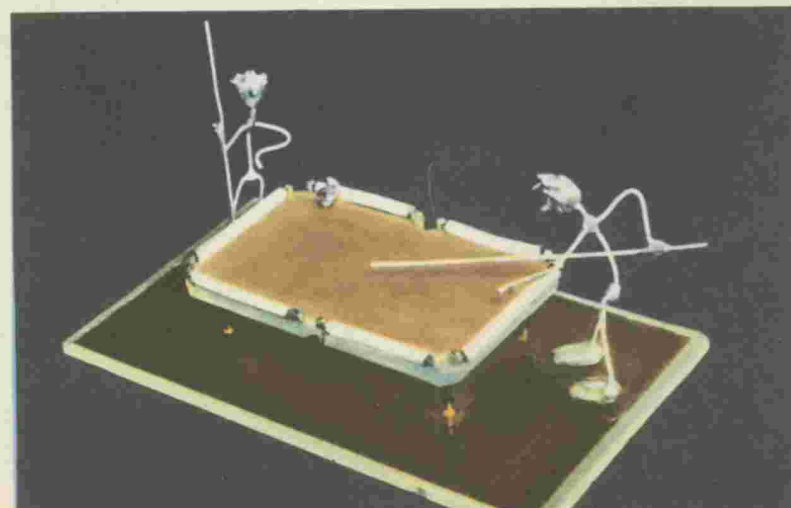


Рыболов.



Бой быков.

Бильярд.





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120